



ИГОРЬ КОВАЛЕНКО

УЛЕБ ТВЕРДАЯ РУКА







ИГОРЬ КОВАЛЕНКО

УЛЁБ ТВЕРДАЯ РУКА

**ИСТОРИКО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ
РОМАН**



МОСКВА, "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ", 1978



К $\frac{70302-109}{078(02)-78}$ 243-78

СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ



ДИНАТ И КУЗНЕЦ











Глава I

братимся к тем далеким временам истории человеческой, когда подобно нам одни были скупы на пустые речи меж собой, а другие, напротив, болтливы без меры, когда земля и вода были богаты не только сутью своей, но и, как нынче, заботами людей и потом их, когда правда боролась с ложью, а справедливость — с бесчестьем, когда оружие решало все и разумное слово тоже, случалось, решало, когда люди знали и ненависть, и любовь, и горе, и радость, и нежность, и месть...

Но с чего начать повесть о жестоком, жестоком средневековье?

Начнем же так.

Ненастным весенним днем 958 года после полудня по влажным плитам аллеи, ведущей от Большого дворца византийских императоров-василевсов к Медным воротам, главному выходу в город из Священного Палатия*, неторопливой походкой имущего, без слуг и оружия шел, сутулясь, человек. Еще молодое, но уже бесцветное его лицо выражало глубокое раздумье.

Так, погруженный в мысли, он приблизился к крепостной стене, где, широко расставив ноги, упираясь длинными щитами в землю, в позах незыблемой мужской силы и недремлющего покоя стояли закованные в латы стражники из Великой этерии** — избранные воины властителя империи.

У нижних ступеней башни, не дожидаясь, пока у его груди скрестятся копья, он извлек из складок богатой своей одежды небольшой четырехугольник пергамента, предъявил начальнику стражи. Тот внимательно и долго

* Палатий — крепость, обитель императора.

** Охрану столицы Византии (и дворцов) несли воины-наемники особого огромного отряда, состоявшего из большой (Великой) этерии, средней этерии и малой.

разглядывал документ, после чего, прикоснувшись губами к подписи логофета дрома *, воскликнул:

— Патрикий ** Калокир, проходи!

Тотчас же наверху, в башне, раздался визгливый звук сигнальной трубы-буксина, и двое солдат, откинув задвижку массивной боковой калитки, выпустили Калокира за ворота.

С Босфора дул хлесткий ветер. Грохот бьющегося о волноломы прибоя смешался с шумом начинающегося дождя. Низкие, тяжелые, как стон, тучи заволокли небо, мрак опустился и на залив, и на малые холмы за Константинополем, и на сам город, лежащий на возвышенности полуострова.

Теперь уже Калокир почти бежал. Кутаясь в плащ, он пересек площадь Тавра, затем, держась левой стороны улицы Меса, устремился к принадлежащему ему дому, который находился в противоположном конце этой главной улицы столицы, в сорока шагах от площади Константина.

Калокир вошел в свой дом. Редко посещал он свое городское жилище. Взглянул в окно, туда, где за пеленой дождя смутно вырисовывались высокие зубчатые стены крепости Священного Палатия.

— Христос Пантократор, сохрани и возвеличь! Славься, Предвечный!

Вызванный появлением господина переполох вскоре прекратился, слуги разошлись по закуткам, чтобы предаться молитвам.

Не каждому дано верить в себя, но всякий может верить в бога. Каждый думал о себе, и чем большее рвение проявлялось в восхвалении и ублажении всевышнего, чем громче были вопли кающегося, тем сомнительнее была его совесть.

Калокир не оставлял на себе синяков неистовым крестным знаменем, ибо в отличие от остальных верил не только в бога, но и в себя.

Небо в конце концов сжалилось, гроза и ветер стихали.

Уже различимы были мелодичные переключки бронзовых досок храмовых звонниц, звавших к вечерне. Ули-

* Логофет дрома — высокий придворный чин.

** Патрикий — представитель верхушки византийского чиновничества, чин первого класса.

цы и площади огромного города оживали, заполнялись конными и пешими. Торговцы сладостями и их вечные спутники — нищие возвращались на углы и паперти. Все смелей и смелей постукивали повозки, а военные патрули вышагивали по мостовым, не столько наблюдая за порядком, сколько заботясь о том, чтобы не забрызгать свои панцири.

На окнах подняли тростниковые, украшенные шелковыми лентами занавески, но скудный уличный свет уже не мог рассеять мрак комнат. Зажгли свечи.

Калокир, сидя в главном зале дома, хлопнул ладонями. Откинулся тяжелый полог, и в двери, согнувшись в почтительном поклоне, появился старый евнух. Судя по расшитому хитону* и изящным медным браслетам, это был баловень динаата**.

— Сарам, теплую воду в бассейн, — устало бросил Калокир, — и обед тоже пусть подадут вниз.

— Да, господин, — раздался в ответ еле слышный писк.

— Ох заклевали б их вороны, ни крошки во рту с утра... — проворчал под нос Калокир, расчесывая костяным гребнем жидкие свои волосы.

За спиной динаата послышалось нечто похожее на вздох сочувствия. Калокир обернулся, вскинув брови.

— Ты еще здесь?!

— Бегу, господин, бегу, — быстро ответил Сарам, сломившись так, что едва не уткнулся носом в щиколотки собственных ног, — но разве у Единственного и Всесильного, Божественного, да пребудет в вечном расцвете его щедрость, владыки нашего не нашлось вина и хлеба для достойнейшего из мудрецов Фессалии и Херсона?

Интонация, с какой был задан вопрос, почти нескрываемая ирония и насмешка в адрес «щедрого владыки» явно пришлись по душе Калокиру. На губах молодого динаата даже мелькнула кривая улыбка.

— То выше нас, грешных.

— Да простит меня господин, — осмелев окончательно, елеинным голосом произнес Сарам, — пусть готовят коней на утро?

— Нас ждут другие дела. Не в Фессалии.

* Хитон — длиннополая одежда.

** Динаат — землевладелец, вообще человек, выдающийся властью и богатством.

— Разве господин не вернется в кастрон *?

— Коня пусть приготовят. Завтра отправлюсь на берег смотреть корабли.

— Будет, как велено, мой господин.

— Сейчас, за трапезой, ни песен, ни музыки, ни массажистов — никого. Мне надо думать... Ступай!

Пока династия Калокиров будет совершать вечернее омовение, подробнее расскажем о нем и о том, о чем он сам, запивая обильные яства старым вином, собирается думать в тиши полуподвального зала, где над мраморной купальней курится призрачный пар.

Калокир принадлежал к знатному, некогда влиятельному и богатому роду. Его предки вознеслись еще во времена правления Юстиниана, которому сопутствовала удача в завоевании обширных земель в Европе и Азии, и блаженствовали у самого трона около трех веков.

За какие-то провинности род Калокира был отброшен на задворки. Сам Калокир, сын стратига Херсона, довольствовался властью лишь в старом родовом имении, затерявшемся в Фессалоникской феме **. Там предпочитал сидеть чаще, нежели в далеком Херсоне.

Сидел тихо, безропотно, смиренно поставлял людей в армию и посильную долю в государственную казну.

Он родился и вырос в атмосфере воспоминаний о поруганном величии. Самолюбивый мальчик долгие часы рассматривал оружие предков и мысленно клялся сделать с годами все, чтобы склонились пред ним самые гордые головы.

Взрослый Калокир, хоть и опасался еще возможной беды со стороны столицы, все же стал, как говорится, потихоньку высовывать нос. Сын стратига хорошо владел мечом, и, хотя чувство страха бывало ему знакомо, он все же не слыл трусом. Удостоен был высокого титула патрикия за воинские подвиги.

То был мир, где золото решало многое. Калокир рвался к наживе. Сначала принял участие в набегах акритов, пограничных византийских войск, на болгарскую землю. Добычу, пленных женщин и детей, выгодно продал в Солуни. Затем, купив в Константинополе корабли и нагрузив их тюками с паволокой *** и ящиками

* Кастрон — крепость; строили их в своих имениях и византийские феодалы.

** Фемы — военные округа.

*** Паволока — драгоценная ткань.

с медными гвоздями, отправился в путешествие вдоль северо-западных берегов Понт-моря, поднялся вверх по Днепру на знаменитый славянский торг. Долог был путь в землю россов, куда, слышал, с обнаженным мечом ходить опасно, а еще дольше — пребывание новоявленного купца в загадочной и удивительной стране. Только через два лета воротился из Киева. Дорогие соболя, куньи меха привез, восковых шаров без числа. И неоценимое богатство — знание русского языка.

Закупил динат новые пашни, обновил, укрепил кастрон — свою цитадель в Фессалии, молодых работников привел, скота вдоволь. Осмелился приобрести дом и в Константинополе, пусть не дворец, а все же заметное жилище под боком у самих василевсов *.

Жил в отдаленном имении сытно, беспечно, без жены и младенцев. Да вдруг, как гром среди ясного дня, простучали копыта, властно загромыхали железные кольца о дубовые ворота кастроны. Заметались по двору люди, словно куры под тенями ястребов. Ворвался Сарам в хозяйскую опочивальню, завизжал как резаный:

— О господин! Там гонцы со значками всесильного повелителя нашего на копьях!

— Много?

— Трое.

— Что говорят?

— Тебя требуют.

Не убить же, не надругаться прискакало трое всадников к столь отдаленному укреплению, где отряд вооруженных слуг под рукой динаты.

— Впустить!

Сам вышел встречать вестников в двойной кольчуге под широким плащом. Меч в ножнах, шлем на голове парадный, не боевой, без гребня и налобника, страусовые перья колышутся величественно. На лице ни глаз, ни носа — одна улыбка. А в бойницах на всякий случай притаились лучники.

— Хвала Иисусу Христу! Пантократору слава!

— Воистину слава!

— Мы к тебе волею василевса. Божественный ждет.

— Слава Порфирородному во веки веков! — воскликнул Калокир, чувствуя предательскую дрожь в коленях. — На что я, жалкий, понадобился Святейшему?

* Василевс — император.

- То нам неизвестно. Не медли.
- Хорошо, храбрейшие, завтра же отправлюсь.
- Сегодня. С нами.

Динат лстыиво вглядывался в запыленные лица гонцов, пытаясь хоть что-нибудь прочесть в них, но солдаты были невозмутимы, будто каменные.

— Хорошо, сегодня же, — согласился динат после недолгого колебания. — Вино и пищу дорогим гостям! Свежих коней! Живо!

Слуги стремительно, как зайцы с межи, сорвались с мест и кинулись исполнять приказ. Всадники спешили, благодарно кивая, приблизились к Калокиру. И он и они сняли шлемы в знак взаимного доверия.

Сборы были недолгими. Вскоре двинулись в путь.

Не близок путь в Константинополь. Скакали во весь опор, сменяя лошадей по возможности часто, ночуя порой где придется. Дорожные расходы живо истощали кошель Калокира, и это подтачивало его больше, нежели дурные предчувствия и затаенный страх.

В столицу прибыли поздним вечером, и велено было динату явиться утром в Палатий пешим, без слуг и оружия.

Ночью он почти не смыкал глаз. Не спал и весь дом на улице Меса. По углам шептались как о покойнике.

Наступил хмурый рассвет. Калокир помолился, надел перстень с ядом, дабы оградить себя от мучений, если понадобится, и отправился в Священный Палатий, откуда не всякому сумевшему войти удавалось выйти.

Священный Палатий — город в городе. Как ни блистателен Константинополь, нареченный византийцами Царицей городов, центром ойкумены, а крепость внутри его скрывала поистине непревзойденные шедевры архитектуры и сказочную роскошь.

У Палатия его уже поджидал низкорослый тощий человек в монашеском одеянии.

Калокир покорно следовал за безмолвным карликом. Он шел и взирал на сутулую спину монаха с трепетом.

За толстыми и высокими стенами Палатия собрались лучшие дворцы и храмы империи. Соединенные крытыми переходами и ажурными надстройками, они изумляли красотой линий и строгостью пропорций, золотом куполов и шпилей, базальтовой облицовкой, разноцветными мраморными колоннами и плитами. И даже попадав-

шиеся на пути мрачные казармы, оружейные склады, жилища слуг и работников, хранилища тайной казны и тюрьмы были не столько заметны глазу на фоне многочисленных садов, где белели вывезенные когда-то из Рима, Древней Греции и эллинистического Востока гранитные и мраморные изваяния животных, мужских и женских фигур.

Ошалевшие от такого обилия красоты и чужой роскоши глаза честолюбивого дината алчно, завистливо впились в ту или иную статую, губы неслышно шептали, как у спящего школяра: «О господи, господи...»

Впереди маячила согбенная спина монаха. Проникавший в эту обитель ветер с моря трепал полы его длинной и просторной одежды.

— Сюда, — внезапно молвил карлик и обернулся, источая всем своим видом чуть ли не отеческую любовь к одеревеневшему динату.

Калокир понял, что его привели в циканистерию — территорию Большого императорского дворца. Какие-то горластые юнцы упражнялись в верховой езде, взрывая копытами коней рыхлый наст площади, специально предназначенной для подобных скачек и военных игр.

Далее все происходило как во сне. Чьи-то руки бесцеремонно ощупали его хитон и, не найдя утаенного оружия, хлопнули по плечу: «Проходи!» Затем все тот же тощий монах вел его по анфиладе огромных комнат, быстрые шаги утопали в коврах, и чередой красочных парусов свисали с потолков драгоценные ткани, легкие как паутина, и кружилась голова от волнения, благовоений и пронизывающего мерцания обнаженных клинков стражи.

Монах куда-то исчез, успев шепнуть:

— Великий логофет дрома.

Оставленный посреди комнаты, мало чем отличавшейся от предыдущих, Калокир растерянно озирался по сторонам.

В затемненном дальнем от нафтовых светильников углу пошевелилась фигура, которую Калокир ранее принял за статую из тех, что украшает галереи и залы именитых дворцов. Поняв, что он не один, динат сломился в поклоне.

— Ты Калокир из Фессалии? — неожиданно просто и приветливо спросил логофет.

— Да, лучезарный.

— Ты был у язычников и знаешь их речь?

— Да, я торговал с руссами два лета на благо священной империи. — Калокир невольно ощупал злоеший перстень, словно источник бодрости.

— Ты воротился достойно?

— Я ничего не утаил от казны, милостивый, — заверил динат, не догадываясь, куда клонится допрос.

— Сие нам известно, как и прежние твои подвиги в битвах с булгарами. Всем ли ты доволен? Нет ли на сердце тяжести или обиды? Не гложет ли червь сомнения в чем-либо?

— О, я всем доволен! — Калокир насторожился, опасаясь подвоха. Причина и цель встречи с одним из наиболее могущественных чиновников были ему неясны, он боялся сказать что-либо не так, невпопад.

Усевшийся перед ним на высоком тюфяке крупный, преисполненный сознания своей силы человек смотрел внимательно, умолкнув, словно обдумывал что-то или выжидал. Почтительно молчал и динат.

Сквозь раскрытые решетчатые окна доносились низкие и протяжные завывания ветра. Легкие занавеси шевелились, точно крылья фантастических птиц.

Наконец логофет изрек:

— Слух о твоей мудрости и удачах в походах достиг нас. Руссы у святого Мамы, купцы и прочие говорят о тебе и знают. Сам повелитель наш пожелал видеть ловкого дината из Фессалии.

— Повелитель, Всесильный и Единственный, пожелал меня видеть! — воскликнул Калокир.

— Он примет тебя сегодня и, быть может, удостоит назначения пресевтом*.

— Умру за Единственного! Бесценна щедрость Константина Порфирородного! Умру у ног его... О Святейший...

Вдоволь насладившись зрелищем, какое представлял собой одуревший от радости Калокир, логофет протянул руку, потряс его за плечо, как бы приводя в чувство, и доверительно, почти кощунственно произнес:

— Константин уже ближе к богу, чем к нам. Ты обязан милости и заботам соправителя Романа. Запомни. Ему, и никому другому.

Глаза Калокира округлились, шепот запутался и утих между пальцами, которыми он сжал собственный

* Пресевт — византийский посланник.

рот, как заговорщик. Грузный, крепкий мужчина, прямолинейный и грубоватый в своих суждениях перед невластными, как всякий фаворит трона, беспечно улыбался, а Калокир подобострастно глядел на него.

— Я ухожу, — сказал логофет, поднимаясь с тюфяка, — ты же, благообразный патрикий, жди, пока приведший тебя инок Дроктон не пригласит и не проводит в Золотую палату.

Тяжелой походкой он двинулся к выходу, однако, пройдя несколько шагов, обернулся, сказал негромко и доверительно:

— Восхваляя в молитвах милость Романа, воздай должное и domestiку* схол Востока, прославленному Никифору Фоке. Он сберег в памяти былую услугу стратига Херсона, вспомнил сына его. Готовься. Тебя ждет быстроходная хеландия** с охраной на борту в пятьдесят отборных копий, с огнем в двух трубах. Поручение будет важным и тайным. Если исполнишь волю Соправителя и domestiка, высоко взойдешь. Но дело предстоит нелегкое. Снова отправишься к тавроскифам, к нехристям этим, в Руссию.



Глава II

а юге Руси великой, в низовье Днестра-реки, где сходились земли уличей и тиверцев, затерялось в лесах село. Не село, а маленькое сельцо Радогощ. И всего-то было в нем шесть дворов и три десятка душ, считая старых и малых.

Трудились сообща, как одна семья. Все у них было общее: и орудия труда, и скот, который не клеймили, у них не стояли в поле-оранице каменные знаки на межах, да и межей самих не видать. Работали плечом к плечу, хлебали часто из одного котла. Словом, были жители Радогоща, как говорили тогда, в супряге и толоке. Не держались бы вместе на отшибе-то, поди, замаялись бы в нужде.

Занимались всем понемногу, всякую заботу знали. Пахали и сеяли, собирали хлебушко дважды в году, ярь

* Доместик — военачальник, главнокомандующий армии.

** Хеландия — военное судно.

и озимь, зверя промыслили и рыбу, бортничали и ткали льняную холстину. На все руки умельцы, как везде на Руси испокон веку.

Да все ж одно дело у них главное — варили железо. Дело то редкое и доходное, не каждому доступное. А старшим в артели неизменно выбирали хромого вдовца Петрю, у которого после смерти жены осталась вся отрада — дочь Улия шестнадцати лет, сынок Улеб чуть помладше сестрицы и работа.

Старый коваль Петря — мудростью над всеми. Сам Сварог, бог огня, заронил в него свою искру, благоволил и покровительствовал вдовцу в работе, и потому слыл Петря вещим, ибо в те времена кузнец вообще считался приобщенным к духам, с божьей искрой, и дано ему было не только ковать меч или плуг, но и врачевать болезни, устраивать свадьбы, ворожить, отгонять нечистую силу от деревни.

Спряталось в зеленой тиши крошечное поселение с мирными жителями. Княжеские биричи не ездили к ним за побором, сами возили оброк вверх по реке в шумный город Пересечень не зерном и шкурами, а все больше доставляли топоры, пряслица, просто необработанную крицу, кресала и прочую кузнь.

Биричи к ним в глушь не ездили, зато бродячие коробейники не преминали заглянуть в богатое железными изделиями село. Недаром звалась горстка избышек Радогощем, и верно — рады гостям всегда.

Вот раз сквозь сон расслышал Улеб, сын коваля Петри, далекую призывную песню менялы, мигом открыл глаза, засмеялся громко и звонко.

Бревенчатая изба с проконопаченными мхом стенами была пуста. Отец и сестрица по обыкновению вставали до зари, раньше Улеба. Это понятно, Улия осталась единственной женщиной в доме, а у хозяйки доля такая — лечь последней, встать первой. Отец же достиг того возраста, когда сну отдают как можно меньше часов, ибо в отличие от молодых старики, все чаще и чаще задумываясь о неотвратимости конца, узнают цену быстротечному времени.

Натянув рубаху и сунув ноги в легкие лыченицы — нехитрую обувь, сплетенную из лыка собственноручно, — Улеб тремя привычными прыжками достиг дальнего угла, где рядом с дежой для квашни стояли низкая кадка с водой и массивный ковш. Напился, нарочно проли-

вая на грудь бодряще-холодные капли, и кинулся к столу, чтобы наскоро проглотить приготовленный для него милой сестрицей ломоть вкусного кислого хлебца с медом.

Сквозь слюдяные окошки сочился озорной утренний свет, падал пятнами на земляной, гладко убитый и посыпанный ярко-зеленой весенней травкой пол. Иссохшие метелки уже потерявших за зиму душистый запах чабреца и тимьяна обрамляли божницу, на полочках которой были расставлены вырезанные из дерева фигурки идолов. Вдоль стен тянулись кругом низкие лавки. Иные покрыты расшитой рогожкой, иные так. Над лавками в избе кузнецов красовались медные святцы с лучинами.

Улеб толкнул дверцу, выскочил на порог и на миг зажмурился от яркого солнца.

— ...а-а-а, поиграет мал-мала-а-а... — волнами доносились знакомая песенка коробейника. Пестро одетый, звонкоголосый, с расписным лотком через плечо, он спустился по стезжке вдоль песчаного берега особой походкой удалого путника.

Сестрица Улия с двумя подружками сидит на плоском камне под раскидистой вишней. Пригожие девушки, белолицые, глазастые, тонкие и стройные, как лоза. Венки на них из душистых ранних цветов, в длинных косах змеются алые ленты. Щебечут меж собой увлеченно с виду, а на деле и слов-то друг дружки не слышат, все стреляют горящими глазами на тропинку, где ступает сапожками, поводит плечом, поправляя ремень ноши, да поигрывает кисточкой пояса белозубый кудрявый парень. Пусть коробейник полюбуется красотой девичьей, пусть рассказывает по свету, какие спелые ягодки скрывает живописный берег Днестра-реки.

— Мир вам, люди добрые!

— Мир тебе, Фомушко, желанный гость!

Поднял коробейник крышку своего лотка и давай раскладывать товар на зеленом бугорке, сыпля шутками направо и налево. Девушки, смеясь, вспорхнули с камня. Ребятишки огласили окрестность трелями глиняных свистулек и тягучими, хриловатыми звуками кленовых дудочек, обожженных замысловатым орнаментом.

Мужики поглядели через головы детворы и женщин на товар и, не найдя ничего стоящего, разочарованно

разбрелись по своим делам. Не густо нынче в коробе Фомки.

— Что, Фомка, — радушно сказал кузнец Петра, — поешь с дороги-то? Или бражки поднести? Взмок весь.

— Я сыт, спасибо. А от бражки не откажусь.

Старый Петра кликнул сына, и Улеб побежал в избу за питьем.

Кузнец присел рядом с гостем, вытянув нездоровую ногу. Давно как-то раненый вепрь наскочил в камышах, распорол голень и кость сломал. Клыкастую кабанью морду Петра тогда нанизал на кол посреди двора, да что толку, если кость ноги срослась плохо, охромел навсегда.

— Чудно, Фомка, недавно был и опять к нам вернулся. Ларь-то порожний, с чем ушел, с тем скорехонько и воротился. Новую песню вспомнил для нас, забыл чего иль полюбился кто?

— Полюбился, — хитро сощурившись, ответил парень, — покою не стало. С дельным разговором пришел к тебе.

— Ну так зайдем в истобку, коли дело. — Кузнец насупился в недобром предчувствии, из-под топорщившихся кустиков бровей взгляд серых глаз невольно скользнул по крыше, где лежало колесо от телеги — старинный славянский знак того, что в доме невеста на выданье.

— Тут порешим, — сказал парень.

Петра открыл было рот, намереваясь сразу же предупредить, чтобы про Улию и речи не было, но в этот момент подбежал сын с бадейкой, он и молчал пока.

Славный парень Фомка, но безродный, легкий умом. Нет, не отдаст за бродягу свою красавицу старый вдовец. Не быть ей женой балаболки, не разувать его перед сном, пусть и не мечтает. Жаль коробейника, лучше бы ему не заводить бесполезного разговора.

Вот Фомка оторвался наконец от посуды, перевел дыхание, рот до ушей, и шлеп парнишку по плечу, норовя одновременно с места подсесть ногой. Улеб устоял, хохочет довольный, в свою очередь, схватил здорового парня за сапог, как дернет — тот и брякнулся с бревна. Куры шарахнулись от баловников, взметнув пыль.

— Силен у тебя дитятко! — восхитился коробейник, глядя вслед убежавшему победителю и отряхиваясь от пыли. — Скоро, Петра, посылай его в урочище без копы,

одним кулачком сокрушит турьи хребты! Ну и кулачки у дитятки!..

— Захвалите еще малого, и без того свое место забывает, все норовит с мужиками в ряд, а то и опережает. Нехорошо, — для виду поворчал кузнец, а в сердце гордость за сына. И приятно, что разговор уклонился от нежелательной темы. — Что нового на миру?

— Откуда, сам посуди, свежие вести брать, коли кручусь возле вас, никак не уйду. Надоело ноги бить.

— Так не бей.

— Вот за тем и воротился к тебе. Выручишь, мы с тобой не первый год знакомы, не раз преломляли хлеб, верно?

— К чему клонишь-то?

— Все к тому же, Петря, все к тому же. — Фомка живо вывернул на ладонь из висевшего у пояса мешочка горсть чеканных серебряных монет. — Держи, все отдаю! Пять гривн десять ногат. Хватит? И делу конец. Бери, твое.

— За что же? — багровея, прорычал кузнец, поднимаясь во весь свой могучий рост. — Ты за что мне деньги предлагаешь, а?

— Известно, за Жара.

Петря, как подкошенный, плюхнулся на место. Даже вздохнул от неожиданности и облегчения. Враз отлегло от сердца.

— Тьфу! Сполоумел, леший! — Он рассмеялся. — Я подумал, ты девуку запросишь в жены.

— На кой мне женка! Мне рыжко нужен! Тебе-то что пользы в таком резвом коньке, хороша и простая лошадка, а мне в дорогах верное подспорье. Уступи, брат.

Вдруг кузнец обиделся, встрепенулся, будто оса его ужалила.

— Чем же это моя дочка тебе не по нраву? — спросил, насупившись.

— Красавица твоя Улия, слов нет. Первая красавица, лучше не встречал. Достояна руки княжича, куда нам, голытьбе. И не жених я, сам знаешь. — Фомка подбрасывал монеты на ладони, надеясь их звоном соблазнить собеседника. — Мне приглянулся жеребец, о нем и речь.

— Деньги даешь большие, верно, только коня тебе все равно не видать. Улеб ему полный хозяин, не я, — сказал Петря. — Ты не первый заришься, всем отказ.

Парень спрятал монеты в кошель, угрюмо поднялся с бревна и направился к ухажам за избой, к скотнице, даже не взглянув на бугорок с товаром, возле которого все еще мельтешили белые повойники женщин, бойких, говорливых в отсутствие мужчин.

Поднялся и Петря, торопливо заковылял туда, где в дыму и жару кипела работа. На ходу грозно прикрикнул на женщин, дескать, довольно забавляться и бездельничать. Те врассыпную.

Легкий ветерок с реки играл трепетными клейкими листочками деревьев, вплотную окруживших сельцо. Крошечное стадо паслось на опушке, не приближаясь, однако, к лесной чаще, над которой не смолкали многоголосые хоры птиц, чуввших дикого зверя.

Радогощ, собственно говоря, расположился не на самом Днестре, а чуть в сторонке, на берегу небольшой протоки.

Повисли в лазури белые облака, опаленные снизу ранним солнцем. Чистая студеная вода прямых, как листья сабельника, ручьев рассекала душистый зеленый ковер, усыпанный желтками одуванчиков.

На выметенной, посыпанной к лету крупным речным песком земле скотницы стояло ведро с водой. Позади аккуратно сбитого стойла лежали, прислонясь к нижней жерди ограды, новенькие заступы-мотыки с сердцевидными «рыльцами». В узкой дощатой пристройке висели уздечки, потники и седла, глядя на которые, можно было подумать, что здесь обитает не всего-навсего один, а по меньшей мере полдесятка коней.

Улеб плавно водил гребнем, расчесывая гриву жеребца, приговаривал что-то, и конь-красавец косился добрыми, умными глазами на юного хозяина, будто понимал ласковые слова.

Да, это неровня низкорослым сумным лошадам, покорно таскавшим груз по торговым дорогам. Странной, пустой казалась постороннему дружба оседлого сельского паренька и рожденного для простора угорского скакуна. Лелеял и холил Улеб своего красавца, и тот отвечал ему такой благодарной привязанностью, что просто диву давались.

Ничего дороже хорошего коня не было в те времена всякому, кто носил одежду мужчины. Во всех краях и всех землях. Посажение на коня было главным в обряде пострига — обряде совершеннолетия. Если хотели ска-

зять, что кто-то очень болен, вздыхали: «Не может на коня сесть».

Зря торговался Фомка, ушел восвояси.

Обычно спозаранку определяли на коротком совете: идти ли сообща в лес добывать мясо и шкуры, плыть ли челнами с острогами на камышовые протоки, где ставили плетенные из ивняка рыбы мережи-самоловы возле крепких заколов поперек течения, натягивать ли сети-перевесы между деревьями в местах перелета птиц.

Сегодня же чуть свет зарезали голубей в жертву Сварогу-Дажьбогу, окропили их кровью холм с идолищем Огненного Отца, сотворили недолгий обрядный танец, принялись варить железо.

Коробейник, правда, немного отвлек, но дело не стояло. Вот только Петра задержался да сын его, воспользовавшись этим, сам, плутишко этакий, замешкался в скотнице, пришлось кликнуть к домнице.

Улеб прибежал послушно, скорехонько, как и должно провинившемуся. Работали кормильцы охотно. И девушки на завалинке пели весело за пряжей, поглядывая на мужчин, чуяли, предвкушали удачу, а с нею и потешное гульбище вечером у костра за околицей. Так уж повелось: днем работа без отдыха, вечером праздник, справа-пиршество опять же в честь-хвалу Сварога.

Хромой Петра сам раздувал пламя. Что есть силы вцепившись в держалки, сжимал и разжимал мехи из бычьей шкуры. Пот струился по морщинистым щекам, по спине и груди, рубаха потемнела от липкой влаги, глаза впились в домницу, и не понять, то ли это натужно охают мехи, то ли человек стонет от напряжения.

В такие минуты нет ему равного. Все это знали, все почтительно стояли позади — свершалось руками всего великое таинство.

В просветах между пышными кронами дубов, кленов, буков высоко в небе, ярком, солнечном, едва различимыми точками парили орлы. К запахам цветов примешался запах гари, и глупые коровы на опушке поднимали головы, тревожно раздувая ноздри.

Наконец Петра оставил мехи, обессиленный, припал на здоровую ногу, уперся дрожащими ладонями в землю, волосы слиплись на лбу, из-под косматых бровей стрельнул взглядом в сына, бросил, переводя дух:

— Пора. Бери изымало.

Домницу ломали пешнями, чтобы достать металл.

Улеб и Боримко, усердно пыхтевший крепыш, тут как тут, ухватили клещами огненную крицу, понесли на наковальню, чтобы бить молотами, снова подогреть и снова плющить, так много раз, чтобы стала плотной, без пузырьков и изъянов.

Принес Петря вторую увесистую «лепешку», кинул на малую наковальню и тоже давай обрабатывать. Машет пудовым молотом, точно былинкой, пересмеивается с сыном и другими хитрецами, дескать, кто ловчей? Но и тут за ним не угонишься, даром что старше всех годами.

Не работа, азарт! Улеб горд отцом, силищей его, сноровкой. Добрую славу добыл Петря Радогошу. Скорее бы стать с ним вровень, скорее бы познать до конца науку. Кузнечное ремесло почетней иного.

Звонким эхом метался окрест бойкий перестук. Быть на весеннем Пересеченском торгу уличей новым изделиям приднестровских умельцев. Будет радость и смерду и высокородному.

— Меня обещал взять в городище, не забыл?

— Обещал, возьму.

— Снова водой двинем?

— Там будет видно, — отвечал Петря сыну. — Может, запрежем рогатое тягло, коли дороги окрепли.

Улеб мечтал, чтобы снарядили воловью колу — четырехколесную телегу, в которой обычно возили бревна. Конечно, челнами по реке быстрее, но в том случае требуется больше людей. Кола громоздка, зато одна, ей и двух сменных погонщиков хватит, а челны малы, да каждому подавай по гребцу на уключину. Снарядят колу, Улеб сможет рядом ехать верхом, скакать на своем Жарушке.

Они переговаривались, не прерывая работы, отрывисто выкрикивая слова в чаду и грохоте.



Глава III

Евятнадцатый день плыли корабли византийского посольства, половину пути прошли. Шли гуськом, стараясь не слишком отдаляться от берега, чтобы в случае бури и крушения можно было добраться до суши хоть на обломках.

Легкая, стремительная хеландия с воинами шла впереди двух менее поворотливых торговых судов. Ветер часто сопутствовал, так что гребцы на военном корабле то и дело отдыхали, полагаясь на влекущую силу вздувшегося полотнища, а на остальных гребцы-невольники, несмотря на наполненные паруса, все равно вынуждены были выбиваться из сил, чтобы не отставать.

На палубе хеландии, в окружении подчиненных ему солдат-оплитов* Калокир полнее мог прочувствовать значительность своей персоны. Он был спокоен за плывущую следом собственность, там оставлены верные надсмотрщики.

Кормчие тянули привычный заунывный напев. Выбеленные солеными брызгами и полуденным солнцем сосновые доски верхней палубы были покрыты грудami брошенной одежды и оружия.

На возвышенной носовой части бывалые оплиты вяло играли в кости. Обнаженные торсы изуродованы татуировкой и рублеными шрамами, резко выделявшимися отталкивающей белизной на загорелой коже. Угрюмо поглядывали они то на пирующего в одиночестве Калокира, то на командира своей полусотни, свесившегося за борт в судорогах морской болезни, плевались и сквернословили втихомолку.

Кружили крикливые, беспокойные чайки. Бесконечной чередой убегали барашки волн в сторону смутно видневшегося слева крутого берега. Бездонная малахитовая вода покачивала корабли. Дельфины резвились около каравана.

Велик простор моря, уходящего на горизонте в небесную синь. Это море поражало воображение всякого. Многие реки поят его, и само оно кормит многие земли. Все это знают, всех оно приворожило. Имен ему люди дали разных, но одинаково верных. Северяне, например, нарекли Теплым морем, для византийцев оно Понт Эвксинский, что означает: море Гостеприимное. Славяне, арабы и другие народы звали его морем Русским, ибо лежит оно у ног русской земли, издревле руссами хожено.

Огромна и Рось-страна. Ох как велика и заманчива она, Русь!

С Дона и его низовий набегали хазары. В южных

* Оплиты — тяжеловооруженные воины-копьеносцы.

степях рыскали печенеги, кочуя меж дельтой Дуная и Сурожским морем и оставляя после своих набегов разорение, смрад, смерть. С северо-запада алчно поглядывали на нее воинственные норманны, пруссы, саксы, франки и прочие, кого на Руси называли немцами, то есть немymi людьми, потому что речь их была непонятна славянам.

Прежде, при княжении Аскольда с Диром, при Ольге и даже при храбром Игоре, сыне Рюрика, иноземным захватчикам часто удавалось безнаказанно уходить с наживой — Русь была раздробленной.

Но вот объединил Святослав Игоревич под своей рукой прочих князей, сплотил как смог вокруг Киева. Распрямила Рось-страна плечи, дерзости поубавилось у ее недругов.

С отважной дружиной Святослав ходил во все стороны и везде видел спины врагов. До самой Византии добирался. И предупреждал тех, на кого готовил поход: «Хочу на вас идти».

Мудрый Константин, владыка морей и земель, пригласил мальчишку Святослава в гости. Тот отказался, сославшись на неполадки с вятичами. Пригласил тогда Порфирородный княгиню Ольгу, влиявшую на Святослава, как и всякая мать на сына. Ольга поехала. Хотела привезти из-за моря невесту мужавшему княжичу.

Принимали ее в Священном Палатии пышно. Роскошь Царьградского двора отметила, но собственное достоинство сохранила.

Император, сам того не ожидая, а может, и нарочно объявил Ольге, что покорила она его красотой своей зрелой, предложил ей, вдове Игоревой, разделить с ним, василевсом, трон империи. Ольга и тут не оплошала, ответа прямого не дала, пожелала перво-наперво окреститься.

Константин Порфирородный вместе с патриархом Полцевктом возвел ее к алтарю и купели Софии — Премудрости, обратил княгиню русскую в новую веру. Имя ей дал христианское — Елена. Назвал сестрой.

Стала Ольга Еленой и ответила императору: «Ты назвал меня сестрой перед богом и людьми. Как же я, твоя сестра, могу стать тебе женой?» Обещала еще наведаться в Константинополь. С тем и снарядила свои ладьи-насады в обратный путь. А с собою взяла свя-

щенника Григория, приданного ей в напоминание о новой вере.

В золоте и парче воротилась домой, в милый сердцу Киев. Вновь стала не Еленой, а Ольгой, как назвали ее при рождении в Плескове, откуда еще девочкой когда-то была увезена на Днепр любимым, незабвенным Игорем.

Григорий же, священник даренный, всех подивил своим видом и черной рясой. Однако скоро к нему приехали.

Долго вспоминала княгиня дворцы и храмы, рассказывала подругам-боярыням на посиделках о далеком белокаменном государстве, описывала нравы и обычаи греков. Невесту Святославу так и не привезла. Не породнились, стало быть, с Византией.

Изнутри, как тлеющий в желудке яд, подтачивало Византию неослабевающее движение павликиан-еретиков, которые проповедовали отречение от чрезмерных благ и боролись против богатства правящей церкви. В Малой Азии плебеи еще помнили крестьянское восстание во главе с легендарным Василием Медной Рукой. Там то и дело вспыхивали волнения. Все это не давало покоя внутренней армии. Толпы шпионов ворохом приносили военачальникам тревожные вести.

Беспрерывно терзали империю старые ее противники, от которых едва успевали отбиваться. Малые, но бесконечно повторявшиеся войны с арабами на востоке, с африканскими арабами в Сицилии и Южной Италии раздражали. Да и дерзкие налеты неуловимой угорской конницы на северные границы в состоянии были свести с ума своей отчаянной смелостью. Угры беспрепятственно проникали в Македонию через Булгарское царство.

Высокая культура и огромные богатства Византии притягивали к себе Русь, как и прочие страны. Естественным было стремление к беспошлинной торговле с Константинополем, к таинствам византийских ремесел и культуры. Стремление это нередко сопровождалось и звоном оружия.

Насаждение христианства в окрестных и дальних землях помогало Византии подчинять своей воле другие народы и государства. И часто крестом империя добивалась не меньшего, нежели мечом или золотом.

А что же Русь? Ни крещение великой киевской княгини, ни родственные узы, которыми пытались связаться царственные дворы, не привели к подчинению Киева

интересам Константинополя. Быстро развивающаяся Русь являла собой незыблемую силу, вынуждавшую Византию вести тонкую дипломатическую игру.

Булгария была вторым после Руси сильным славянским государством. Россы и булгары — вот кого, пожалуй, больше всех опасалась еще державшая в подчинении многие народы, но уже заметно ослабевшая Византия. Империя хотела укрепиться, и задумал Священный Палатий, уповая на воинский пыл Святослава, столкнуть Русь и Булгарию, а печенегов натравить на Киев.

Но как воплотить мечту в действительность?

Роман, махнув рукой на отца, который, надо отдать ему должное, помнил русскую княгиню и посему проявлял некоторую медлительность, отважился на самостоятельные действия под давлением придворных политиков, хотя и не слишком любил отвлекаться от развлечений и забав.

Помимо различных намеченных ухищрений было решено направить для начала в обе страны посольства с особой, скрытной миссией. Одного наушника по имени Блуд быстро снарядили к булгарам. Стали подыскивать человека на Русь. Такой нужен был, чтобы не знали россы о нем ничего худого, чтобы не смогли ни в чем его заподозрить.

Влиятельный, всемогущий Никифор Фока вспомнил и предложил посланником в Киев Калокира. Он на Руси бывал, знал язык, удача ему сопутствовала в торговле. Роману донесли о давней тяге молодого династа к лестнице славы.

...Весла идущих следом за хеландией купеческих судов ошестинивались и разом опускались на воду, чтобы тут же вскинуться вновь под очередной требовательный удар литавр.

Томившиеся от безделья солдаты раздражали Калокира. В первые дни плаванья он развлекался тем, что повелевал разыгрывать тревогу. Презируя в душе прихоть посла, солдаты, хоть и без особого рвения, однако с бесспорной выучкой по сигналу командира полусотни выставляли щиты за вырезы бортов и дружно орудовали десятками копий, как одним.

Временами на династа находила меланхолия, и он подолгу неподвижно сидел на своем коврике, держа перед глазами круглый медальон, полученный из рук

самого Романа. Иногда он обнажал меч и на виду одобрительно галдящих воинов ловко рассекал деревянные, которые подбрасывал слуга Сарам.

Порою же, преимущественно в приятные, освежающие утренние или вечерние часы, он подзывал слугу и заводил странные беседы, если, конечно, их вообще можно назвать беседами, поскольку говорил, собственно, он один, а Сарам лишь подавал угодливые реплики.

— На последней стоянке мне показалось, что эти трое имеют недостаточно сытый вид. Ты обратил внимание?

— Да, да, обратил, — пищал слуга.

— Боюсь, там без моего надзора Дометиан с Одноглазым осмеливаются нарушать мой строжайший наказ. Я подозреваю, что они не дают им в пищу столько мяса, сколько велено. Нужно бы проверить, Сарам. Если мои подозрения подтвердятся, спущу с них шкуру. Жаль, что никто, кроме Дометиана, не знает языка огузов. Он мне очень скоро понадобится, не то бы я содрал с него шкуру уже сейчас.

— Да, господин.

— Нет большего преступления, чем обманывать собственного хозяина и благодетеля.

— О да!

— Дометиан глуп, слишком глуп. Надо было поручить тех троих тебе, да уж поздно. Впрочем, не так уж они и тощи. Сойдут как есть! Им не следует обрастать жиром, незачем их баловать, все равно...

— Да, господин.

— Но приказ нужно выполнять! Сказано: кормить досыта — значит кормить. Ха-ха-ха! — вдруг рассмеялся Калокир. — Кормить и холить их за ту услугу, которую они окажут нам!

— Хи-хи, — пропищал и Сарам, радуясь, что династ высококого мнения о его умственных способностях, а толмачом Дометианом недоволен. — Твой разум, господин, достоин твоего прекрасного облика.

Калокир был отнюдь не красавцем, хотя сам он придерживался иной точки зрения на сей счет.

Солдатам он сразу не понравился. Еще на берегу, когда девятнадцать дней назад командир полусотни оплитов объявил строю, что этот облаченный в дорогие ткани купец есть их новый повелитель, среди копьеносцев пополз приглушенный смехок:

— Вот не ждали, что придется охранять обезьяну!

— Ну служба, праведные...

Однако вскоре всеобщую неприязнь смягчило чувство некоторого уважения: династ-пресвевт прекрасно переносил качку и невзгоды, особенно не докучал, а самое главное — умел, как никто, быстро и точно поражать клинком учебные деревяшки на лету, которые в часы досуга подбрасывал перед ним его верный, внушающий страх своим недремлющим оком старый слуга.

Калокир, частенько перехватывая тяжелые взгляды окружающих, понимал, что еще несколько дней угнетающей качки на волнах, и воины начнут выть от скуки и недовольства.

— Скоро, скоро Борисфен! Терпение, дети мои!

Обросшие «дети его» на всех трех кораблях с надеждой вглядывались вперед. Там, в дымчатой дали, должны появиться разливные плавни, в которых смыкались пресные потоки Днепра и соленые воды моря.

Уже нередко с кораблей замечали бешено мчавшихся вдоль берега всадников. То одного, то группу. Они, как привидения, появлялись внезапно в просветах кустарников, в гривах холмов на своих низкорослых лохматых лошадках и исчезали, не позволяя разглядеть себя как следует.

Багряный диск солнца коснулся волнистой линии горизонта. В чистом, без единого облачка, желтом, как медь, небе кружили вороны, плавно загребая крыльями. Вдалеке над верхушками осокорей поднимался тонкий дымок, прямой, как натянутый шнур. Левее еще один дымок, едва приметный, и еще, еще...

Хеландия первой обогнула каменистый мыс, далеко врезавшийся в море. Тотчас же на палубе раздался общий ропот, и не успел стихнуть спешный короткий звук сигнальной трубы, как левый борт уже скрылся под выставленными тяжелыми щитами и копиями.

Этот заученный маневр ромеев рассчитан на оборону от приближающегося сбоку вражеского судна, а между тем никакое судно не угрожало хеландии. Однако меры предосторожности в данном случае нелишни.

За мысом, укрывшись в его тени, притаилась целая толпа пеших и конных кочевников-степняков. Вооруженные луками, саблями и легкими метательными копьями-сулицами, сгрудившись тесным полукругом, облаченные в шкуры с вывернутым наружу мехом, печенег

роженно глядели на великолепие чужеземных кораблей.

— Это огузы! — крикнул Калокир громко, чтобы его услышали и на подоспевших торговых судах. — Нам они не причинят зла! Приветствуйте их! Приветствуйте!

В ответ на нестройный хор византийцев печенеги-огузы молча зашевелились, пиная коней пятками и размахивая щитами. Полукруг распался на отдельные цепи, вытянувшиеся вдоль берега.

Завидев, что роскошные корабли убрали паруса, втянули весла и прекратили свой бег, сбросив за борт двулапые бронзовые якоря, полуголые ребятишки, ранее не замеченные с моря в толпе взрослых, шумной гурьбой помчались в гору, туда, где за деревьями виднелись дымы. Их обогнал всадник, суматошно хлеставший лошадь плетью. И детвора и всадник мигом скрылись за холмами. Остальные подступили к самому прибою.

Тем временем Калокир велел кораблям с товарами оставаться на безопасном отдалении, сам же, окинув беглым взглядом берег, указал кормчим хеландии на небольшую, но глубокую бухту, удобную для высадки.

— Дометиан! — сложив ладони рупором, позвал он.

И тотчас же от ближнего торгового судна отделился крошечный плотик с толмачом-переводчиком, поспешившим на зов динаата.

Несмотря на дорогой узорчатый хитон, высокую шапку и крест, болтавшийся на цепочке и шлепавший по груди человека с христианским именем Дометиан, печенеги сразу узнали в нем выходца из их рода-племени и, озадаченные больше прежнего, загалдели.

Ромеи во главе с Калокиром и переводчиком Дометианом ступили на сушу. Их окружили степняки. Так и стояли. Пришельцы изо всех сил изображали дружелюбие. Огузы никак на это не реагировали. Выжидали.

— Скажи им, что мне нужно видеть их властелина, — приказал Калокир толмачу. — Где их славный Черный каган? Спроси.

Дометиан торопливо перевел его слова. В ответ раздался лепет множества голосов, точно ветер прошелся по листве. Вперед вышел юноша, видом своим выгодно отличавшийся от небогато одетых соплеменников. Он выкрикнул что-то и приставил острие кривой сабли к груди динаата.

— Требуется, чтобы ждали молча, — трясаясь и заикаясь, пояснил Дометий.

— Помолчи... — сквозь стиснутые зубы процедил Калокир, но тем не менее смиряясь с унижительным своим положением. Взглядом он успокоил солдат, заволовавшихся при виде сабли, которой поигрывал варвар.

В тот момент, когда, казалось, множество рук вот-вот схватит и растерзает кучку растерявшихся византийцев, в отдалении послышался приближающийся топот копыт. Толпа с криками всколыхнулась и расступилась.

— Курия!

— Эй-и-и шохра, Курия!

Впереди на тонконогом иноходце скакал каган. В седле держался легко, умело, далеко позади оставив свиту, в числе которой Калокир разглядел и того гонца с плетью, что недавно вместе с гурьбой полуголых сорванцов покинул берег.

Конь у князя хороший, сбруя и седло дорогие, саксонской выделки, добытые, должно, у какого-нибудь несчастного северного купца, оплаканного где-то в Падерборне или Госларе, ибо огузы не покупали и не меняли, а отбирали, убивая. Таким конем грех не залюбоваться. Обычные печенежские лошади — сплошь низкорослые трудяги, не изнуренные перевозками кочевого скарба. А все же княжеский иноходец уже в летах, хоть и изящен еще его бег. Все подмечал династ.

Каган Курия — что значит: князь Черный — с ходу бросил поводья в руки набежавшей челяди, мельком глянул на корабли и, спешившись, приблизился к чужестранцам.

Калокир вытащил из-за пазухи круглый императорский медальон, при виде которого Курия широко улыбнулся и, обняв Калокира за плечи, к большому смущению последнего, принялся лизать его щеку в знак особого расположения. Вдоволь облизав морщившегося от отвращения династа, Курия обернулся к своим и воскликнул:

— Целуйте ноги моих братьев из Страны Румов!

Толпа пала ниц, и вскоре обувь ромеев была очищена от пыли.

Спустя полчаса они сидели в разбитом на возвышении шатре.

За откинутым войлочным пологом угасали последние

краски заката. В низине зажглись блеклые дымные костры из хвороста и кизяка. За оградой из крытых повозок-вежей с задранными кузовами и уткнувшимися в землю оглоблями пасся табун. Гортанные выкрики сгонявших гурт пастухов-погонщиков смешались с блеянием овец. Женщины перекликались с мужчинами, рассевшимися перед чанами с кумысом. Вдали различимы были факелы византийских кораблей и расплывчатые фигурки печенежского дозора на верхушке мыса.

Перед каганским шатром в знак власти развевался пышный бунчук — конский хвост, прикрепленный к древку воткнутого в землю копья. Внутри шатра потрескивало и шипело пламя очага, в который капал жир жарившегося на вертеле барашка. Мясо отрезали кинжалами, запивали его не кумысом, а фессалоникским вином. Было душно, и тоскливое стрекотание цикад навевало сонливость.

Куря, одурманенный виноградной настойкой и духовой, смеясь сквозь зубы, запустил обе руки в мешочки с золотом, присланным из далекого Константинополя, шевелил пальцами, услаждая свой слух звоном монет.

— Печенежский народ нам по душе! — начал Калокир, прикидывая, как бы получше подступиться к главной теме, ради чего, собственно, он и завернул сюда. — Ты правишь мудро!

— Не всех печенегов надо ценить, брат, не всех, — отозвался Куря. — Цените только моих огузов. А ятуков не надо.

— А что ятуки?

— У-у-у!.. — Черный каган сидя затопал пятками, расшвыряв подушки. — Отбились от нас ятуки. Сели между Днепром и Сурожью, землю роют, зерно растят, как русы. И якшаются с Кыювом, торгуют. Тьфу! Э, брат, прости, дай вытру.

Калокир утерся сам, с трудом сдерживаясь, чтобы не ответить на неосторожный плевок грубостью. Желая поскорее завершить неприятное пиршество и перейти к делу, произнес:

— Не горюй, даст бог, доберешься до ятуков, проучишь. Но сперва послушай, что скажу. Есть к тебе, славный, просьба. Выполнишь, в убытке не будешь. — И дишат подвинулся поближе, словно опасаясь, что их могут подслушать.

С помощью заметно осмелевшего, успевшего кое-как

приспособиться к забытой обстановке соплеменников слабодушного Дометиана между каганом и Калокиром произошел секретный разговор. Тайну здесь разделили пока лишь они. Трое.

Наутро, брезгливо озираясь, непривыкший к грубой постели проснувшийся динат поднял отяжелевшую от вечернего пиршества и ночного смрада голову. Чтобы прийти в себя, долго тер виски тряпицей, окуная ее в бадейку с водой.

— Нам пора прощаться, славный князь.

Согласно кивнув, Куря ударил рукоятью кинжала в медное било и приказал заглянувшему на сигнал стражнику:

— Позвать Мерзю!

Множество внешних голосов цепочкой понесли прочь, словно эхо, каганское требование. Вскоре явился званный. Это был тот самый юноша, что вчера на берегу, выступив из толпы, поигрывал саблей перед грудью дината. Он вошел и поклонился.

— Э, Мерзя, мой верный, храбрый, быстрый волк! — приветствовал его Черный. — Возьми несколько воинов и спустись к морю. Там тебе передадут они, — он указал на ромеев, — из рук в руки трех несвязанных рабов. Приведешь их сюда стороной, подальше от лишних глаз. Следи за ними крепко, чтобы не сбежали. Не бей, не надевай колодки. Все трое должны быть целыми и невредимыми. Смотри, чтобы твои люди не испортили одежды, какая будет на них, это важно. Остальное объясню потом. Ступай.

Тот снова молча поклонился и вышел.

Расставаясь с Курей, динат, осклабясь, не переставал повторять:

— Очень надеемся на тебя. Если сделаешь, как договорились, жди щедрых даров.

— Нас ли учить, э? — самодовольно ухмылялся Куря.

Калокир все наставлял:

— Заприте их как следует, не забывайте кормить до последнего дня. Ты не забыл, когда должен настать этот день?

— Э, помню, помню.

— Только не торопитесь, славный, дождитесь условного момента. Нужно, чтобы это случилось, когда мы уже будем в Киеве на Святославовом дворе.

— Э, в Кыюве Святослав... у-у-у! — Степняк затряс кулаками. — Сплю и вижу кумыс в чаше из его черепа... — Он задумался. Затем, как бы очнувшись, сказал: — Все сделаю, не беспокойся. Передай, брат Калокир, привет моим высоким братьям Константину и Роману, когда вернешься в Страну Румов. Пусть они будут здоровы и щедры!

Динат внутренне содрогнулся от наглости варвара.

— Да, брат Куря, — улыбнулся он, — не только привет передам, но и расскажу в Царице городов о твоём немеркнушем дружелюбии. А Святославу, уверен, не миновать гибели, дай срок.

— И ятукам, — подсказал каган, — ятукам тоже, э?

— И ятукам не миновать. Никому не миновать! Только выполни обещанное.

Калокир махнул рукой свите, и она, бряцая металлом одеяний, стала подниматься на борт. Сам же он немного замешкался, соображая, не спросить ли провожатого, чтобы избежать возможного недоразумения на порогах с теми отрядами огузов, которые, как он знал, так и подкарауливают путников в днепровских камнях.

Куря превратно истолковал медлительность высокого гостя, подумав, что динат проникся к нему глубокой симпатией и никак не решится расстаться с ним. Поэтому каган сделал несколько шагов, намереваясь, по обычаю, облизать щеку Калокира, но тот, разгадав сей трогательный порыв, отшатнулся.

— Прощай, князь! — сказал Калокир. — Мы увидимся, когда буду возвращаться, ты ведь обещал приготовить свежих гребцов для моих кораблей!

Ромеи отплыли под громкие ликующие вопли провожающих. Мрачно молчали лишь трое рослых славян, понуро бредущих от берега под конвоем пеших воинов Мерзи, юного племянника печенежского кагана.

С наступлением темноты корабли Калокира вошли в Днепр.

Но, прежде чем они достигли первого островка в днепровском устье, на глазах оплитов свершилась мимолетная трагедия. Волею дината евнух Сарам, словно визжащего поросенка, заколол толмача Дометниана. И приняли смешавшиеся воды реки и моря тело того, кто уже не нужен был византийскому послу и кто заранее был обречен на смерть, поскольку он знал о заговоре против россов.



леб не поехал на торг в Пересечень, хотя отец и звал его с собой, как обещал. Отказался Улеб. Остался дома.

Было на то две причины.

Первая — налились зеленые опушки тугой, спелой силой, пышные травы требовали покоса на первое сено. Работа, необходимая для сельского жителя, не терпящая отсрочки. Не взваливать же эту заботу на одни женские руки. Мужчины собрались в дальний путь. А их в Радогоще легко сосчитать на пальцах.

И вторая причина, еще поважнее предыдущей — просьба Боримки, дружка. В самом деле нехорошо получается: Петрин сын уже не раз хаживал с товарами в компании кузнецов, а вот Боримке не довелось, хотя оба одногодки, подручные, у наковальни равны.

Боримко гордый малый, да не удержался на сей раз. Когда поутру снаряжали артельную колу, загружали кузню и едой на дорогу, подошел к Улебу, сказал:

— Хочу с тобой.

— Я бы рад, сам за тебя просил, только отказали. Все уйдут, кто же в хозяйстве останется? И меня-то не взяли бы, кабы не давнее обещание.

— Хочу, — с отчаянным упрямством повторил Боримко.

Не принято у них противиться решению старших. Улеб удивленно взглянул на приятеля. И вдруг почувствовал стыд, будто провинился перед этим славным пареньком, который, в сущности, имел полное право так же, как все, кому выпал жребий, предвкушать радости пребывания в городе, усердно запрягать волов, выслушивать добрые напутствия, обещать гостинцы с торга и вообще чувствовать себя настоящим мужчиной.

— Хочу, хочу, и все, — шептал Боримко, потемнев от обиды. — Чем я хуже других?

Такого с Боримкой еще не бывало. Уж не мальчик, слава богам, четырнадцатилетний, познавший два года назад постриг совершеннолетия, не к лицу ему каприз.

Улеб почитал и хозяйские дела, и, конечно, дружбу. Он порывисто обнял Боримку за плечи и, нарочито смеясь, крикнул:

— Кто сказал, что ты хуже? Мне, думаешь, больно охота тащиться в грязь? Езжай вместо меня, выручи!

— А как же Петря? Как же он, твой отец? — заливаясь краской от радости, спросил Боримка. — Не дозволят поменяться-то.

— Не бойся, дозволят. Батюшке-то что, абы число не менялось.

— Твоя правда, — оживленно, будто и вовсе не кручинился, затараторил паренек. — Я палицу возьму обоз охранять от разбойников или зверя, все польза.

— Возьми, возьми, поищешь лиходеев, — хмыкнул Улеб, — тебе драка так и мерещится.

— А что, ты мягкая душа, от тебя мало проку, случись биться, зато я ка-а-ак начну! — Боримко принялся размахивать руками, изображая, как он расправится с обидчиками, если таковые попадутся.

Отец не возражал, лишний раз оценив про себя доброту и справедливость сына. Поклонясь и воспев хвалу Волосу, покровителю торговли, сдержанно ответив на низкие прощальные поклоны детей своих, Улии и Улеба, кликнул спутников от галдящих женок, велел трогать.

Всхлипнули нутром воли от натуги, заскрипели под тяжестью огромные дубовые колеса, кинулись врассыпную куры, копошившиеся в пыли единственной улочки. Впереди процессии двое верховых.

Скрылся обоз за лесным поворотом над речкой. Только колесный скрип доносится, затихая.

А Улеб косил траву.

Взмах. Еще взмах. Потревоженные, сыплются из-под ног пестрокрылые кузнечики, стрекохнут, словно игриво поддразнивают, а может, и подпевают по-своему женщинам, что зачем-то протяжно выводят в орешнике высокими голосами слова грустной песни-былины:

...Там стучит ведь матушка-а-а-земля,
Да под той же сторо-о-онушкой восточной,
Как прямой-то дорогой еха-а-ать месяцы...

Вся сноровка в руках Улеба, в резвой его поступи, вся отрада сейчас в его молодом, голосистом горле.

...Захотелось мне-ка ехать во свою-у землю,
Во свою землю, но-о-о-о не на родину,
Я посхал теперь да во свою-у-у землю,
Выезжал я тепе-е-ерь да на чисто поле...

Наблюдает древний старец, опираясь сложенными руками на шалыгу-посох с изогнутым наверху. Сам тонкий, как посох, борода белым-бела до пояса, брови — тополиный пух, а из-под них колкий взгляд, дедовский.

За полудень трудились. Покосили на опушке всю траву. Девушки расстелили в тени платок, а на нем, как на скатерти-самобранке, русские маковые хлебцы, сладкая репа в меду, сыр-творог, каша в миске да овсяный кисель.

Низкие изгороди тянулись по склону холма. В камышовых окнах протоки выступили к быстрине на бурых от тины сваях мостки для стирки. Неподалеку, на песчаном пятачке, невидимые с реки, лежали рядышком челны-стружки, окунув свою тень в воду, будто выползли на сушу погреться.

После обеда Улеб собрался погонять любимого жеребца вдоль чистой речной поймы. Нынче он поработал славно, можно и развлечься.

Вывел огненно-рыжего своего красавца из скотницы. Вел по селу на поводу, прикидывая в уме, куда лучше податься. Вверх по реке или спуститься в долину за турье урочище? А может быть, еще дальше?

Там, внизу, куда долетают морские ветры, леса дремучие, малохоженные, обрываются перед степью. Конечно, отец не позволил бы в одиночку забираться в такую даль, но сам он сейчас далеко, а больше с Улеба спросить некому. Только сестрица вдруг:

— Ты куда, братец, заторопился?

— Поскачу за корнями.

Улия с подружкой на соседском дворе, как обычно в эти часы, занималась пряжей, досужим девичьим делом.

— Это куда же? — не унималась.

— Известно куда, — отвечал, отведя глаза, — в Мамуров бор, куда же еще.

— А чего глаза прячешь?

— Сказано: буду в Мамуровом бору! — рассерчал он. — Привязалась, глупая! Вот возьму хворостину, узнаешь у меня.

Улия, вовсе не глупая, почувствовала смущение брата. Враль из него неважный.

— Батюшка тебе что наказывал? Не ходи из дому, дождайся. Нас оставлять не велел, забыл?

— Я недолго. Соберу вам кореньев на краску.

Из корней дикого мамура выделявали красную жижу, которой и раскрашивали холстину. Свежая краска всегда пригодится в хозяйстве, вот Улия и оставила брата в покое, сказала только:

— Смотри не ночуй в бору-то, там прысучий зверь так и рыщет. Взял бы на случай хоть меч какой.

— А, — отмахнулся, — я и руками задушу хоть рысь, хоть волка. И от вепря рогатину вырублю, нож-то при мне, а то и схоронюсь на дереве или ускачу в случае чего.

— Ладно уж, беги, да ворочайся засветло, храбренький мой, — ласково улыбнулась, тряхнув косою. — Суму под коренья захватил?

Умчался во весь дух Улеб. Ослабил поводья, давая полную волю резвому коню. Казалось, огненный вихрь промелькнул, только глухо простучали копыта да тяжело шлепнулись сзади крупные комья грунта. И не скоро еще успокоилась вода в мелких заводьях от панических прыжков перепуганных насмерть лягушек.

Река тянулась лентой, то поблескивая под косыми лучами солнца, разливаясь, то вдруг сужалась, наполовину укрываясь в тени высоких рощ. Далеко впереди, минуя почти голую долину, испещренную неглубокими расщелинами оврагов, по дну которых журчали неведь откуда берущие начало ручьи, она вступала в новый лес, куда более густой и величественный, чем тот, что окружал Радогощ.

А что за тем лесом, Улебу неведомо. Слышал только, что те места загадочны, они граничат со степью, тянувшейся до самой соленой воды.

Кончилась прибрежная твердь. Улеб шагом въехал в чашу, пригибаясь от веток к влажной шее коня. Потом и вовсе остановился, соскользнул на землю и, прихватив кожаный мешок, стал продираться в глубь бора, делая ножом отметины на стволах.

Вернулся с мамуровыми корнями для Улии, бросил наполненный почти наполовину мешок на Жара, подвесил к его шее. Коня не привязал, никуда не денется, достаточно одного слова: «Жди». Будет стоять как вкопанный.

Лес пленял, околдовывал его. Зачарованный, он уже не мог покинуть буйную зелень зарослей, каждый раз поражающих новизной восприятия, манящих, одурмани-

вавших. Дитя природы, он был вскормлен ею и наполнен ее силой, и он платил ей такой любовью, какой можно любить только родную мать. Он понимал жизнь леса.

Ступает по мхам и валежнику тихо, словно вовсе не касается. Приветливо посвистывает вертким пищухам и поползням, что безбоязненно снуют, выискивая клювами жуков-короедов. Деревья нежно и крепко обнялись, позволяя бегать по их сплетенным рукам шустрым ласкам и шуршать землеройкам прошлогодней листвой под ногами.

Улеб все дальше и дальше углублялся в чашу, читая звериные следы. Прохлада и сырость, как ни странно, ощущались все явственней по мере удаления от реки. Улеб хотел выяснить, отчего так.

Вот лес поредел, отступил, открывая живописную поляну, залитую заходящим солнцем и щедро покрытую цветами. В воздухе стоял пчелиный гул. Огромный рой рассыпался в этом цветущем хранилище нектара.

Юноше, признаться, не очень-то хотелось сворачивать с пути, но, подчиняясь заведенному порядку, он все же выследил бортъ, старое дерево с дуплом, в котором, не сомневался, маленькие труженицы сумели накопить достаточно меда и воска.

Отмахиваясь от пчел, вырезал над дуплом свой знак, хотя, пожалуй, вряд ли нашелся бы тот, кто стал бы оспаривать обнаруженную им медушку.

Несколько храбрых насекомых ужалили непрошеного гостя. Однако укусы не омрачили его настроения. Он отыскал цветущую поляну, пересек ее, с любопытством направляясь к березняку, редко попадавшемуся в этих краях.

Стройные, трепетные, слегка патлатенькие, точно девчонки-баловницы в светлых крапчатых сарафанах, березы встретили юношу стыдливым шепотом, расступаясь перед ним, робко прячась друг за дружку. И только их няньки, деревья-старухи с седыми буклями и тугими темно-серыми копытами-наростами трутовика на корявых облезлых стволах сердито шипели и трясли седыми волосьями.

Солнце рассыпало последнюю пригоршню бликов. Ветерок резвился в листве, и от этого мельтешили солнечные искорки, осыпались блестками на траву и ку-

старник, на стайку грациозных косуль, вытянувших мордочки в сторону приближающегося Улеба.

— Здравствуйте! Вот и я! Не ждали? — воскликнул он. Косули, смешно подпрыгнув на месте, разом исчезли, будто растаяли в мареве.

Солнце пало, пора было возвращаться. Однако решил еще немного пробежать вперед, туда, где виднелась за березовым частоколом полоска воды. И не пожалел о своем любопытстве.

Дивное озеро по краям заросло рдестом и ряской, крупной и плотной, как многолетний настил. Один ручеек впадал в него и не вытекал. Озеро можно было бы сравнить со стальным овальным зеркалом в буро-зеленой оправе, если бы не рябь от ветерка да не рыбы рты, жадно хватавшие воздух на поверхности.

Но ни холодная глубина воды, ни дышащие рыбыны — ничто так не привлекало внимание Улеба, как прибрежная поросль, отделявшая озеро от не замеченного ранее болотца.

Вещий коваль Петра был настоящим травознаем. Улеб был его сыном. Он отличал лечебные травы безошибочно, не раз добывал их для родичей. Вот и сейчас собирал ирный корень да сушеницу, снимавшие боль ожогов кузни.

Но что это? Неужто?.. Улеб всплеснул руками и сломя голову кинулся навстречу внезапному открытию, швырнув под ноги травы, столь бережно собираемые только что.

Спотыкаясь в спешке, он огибал озеро, впившись изумленным взглядом в обильные красноватые пятна. Сомнения нет, это настоящий клад.

— Хвала тебе, Сварог! Хвала, Дажьбог, за то, что привел сюда!

Улеб с ходу прыгнул в воду, шарил, выбирал руками корневища болотных растений, покрытые тяжелыми земляными комьями красно-рыжего оттенка. Это была она, руда! Да как много! Она на дне, она на затопленных ветках, она обнажалась толстыми слоями на срезе берега. Вот уж удивит и обрадует своих, пусть только вернутся из городища!

Словно не веря, он все барахтался среди обнаруженного богатства, измазался с головы до ног, промок до нитки.

Опомнился лишь с наступлением густых сумерек. Отобрал и сунул за пазуху образцы, кое-как привел одежду в порядок, умылся и знакомым бездорожьем, через березнячок и пчелиную поляну поспешил обратно к Днестру.

Верный Жар издали почуял треск ломающихся сучьев, призывно заржал.

— Мы с тобой молодцы, Жарушко! Ай да молодцы! — ликовал Улеб, укладывая прихваченные куски руды в мешок. — Соскучился, я понимаю, дружок, но зато мы просто молодцы! Дай-ка закреплю мешок лучше. Вот так. Будет дома радость похлеще мамуровых корешков. Ох и денек, слаще не бывает!

Счастливый и взволнованный, он намерился спуститься к реке, освежиться, но вдруг его внимание привлекли странные всплески. Он замер, прислушался. Полный настороженного любопытства, неслышно выбрался из-за деревьев и, прячась за раскидистым кустом, вгляделся в реку.

Улеб сразу различил силуэты четырех длинных и узких челнов, плывших против течения. Какие-то люди в темных лудах, застегнутых у горла так, чтобы не стесняли движения рук, молча и быстро, даже, пожалуй, излишне торопливо гнали челны, придерживаясь берега, с которого падала тень от высокой стены деревьев.

Луна еще не выкатилась в чистый проем неба, и ее смутно угадывавшийся, сочившийся сбоку свет не позволял разглядеть как следует ни тех, кто, привалясь к бортам, орудовал веслами, ни тех, кто, сдерживая тяжелое дыхание, упирался в дно не то шестами, не то копьями, стараясь не греметь, ни тех, кто просто сидел без дела на корточках. Плыли явно издалека.

Кто они? Торговые люди? Тогда для чего им таиться в темноте? Может быть, тиверские рыбаки? Тоже непохоже, хотя, судя по очертаниям одежды, могли бы за них сойти. Но на тиверских рыбацких долбленках в такую пору горели бы лучины, а эти крадутся или скорее укрываются от погони. И молчат. От кого они прячутся? Сердце Улеба забилося в тревоге.

Челны поравнялись с тем местом, где он притаился. Они были совсем рядом, и Улебу показалось, что в одном из них лежат связанные. Это настолько его озадачило, что он на мгновение позабыл об осторожности,

порывисто раздвинул ветки перед собой, желая проверить, не ошибся ли.

Шелест раздвигаемых ветвей произвел на плывущих такое впечатление, как если бы внезапно грянул гром. Головы их передернулись. Вскинулись луки, и в тот же миг трижды раздался короткий шипящий свист.

Две первых стрелы, сбив листья над головой Улеба, не причинили ему вреда, третья же, пущенная, как и предыдущие, вслепую, пронзив кожу между большим и указательным пальцами левой руки, расщепила ветку, которую он придерживал. Дико вскрикнула в стороне какая-то ночная птица.

Улеб замер, не издав ни единого звука, с пригвожденной рукой. Он даже не ощутил боли от изумления. Только бы смолчал и Жар. Улеб приложил правую ладонь к ноздрям коня на случай, если тому вздумается заржать.

Жар не выдал. Враги (кто бы они ни были, пока ясно одно — это враги), безмолвствуя по-прежнему, натянули луки, готовые повторить выстрелы, ждали, не послышится ли шорох опять. Но было тихо, очень тихо. Только ластились волны, и плясали в них зыбкие отражения звезд.

Каждый мускул юноши напрягся, тело, как согнутый прут, приготовилось стремительно распрямиться в прыжке, пусть только попробуют причалить.

Но недруги, пошептавшись меж собой и, вероятно, решив, что их вспугнул не человек, а зверь, шедший на водопой, как будто успокоились, опустили оружие, подхватили весла и шесты, вновь погнали свои челны по реке и вскоре растворились в ночи.

Перво-наперво Улеб правой рукой выдернул из ветки, а затем и отломил наконечник стрелы, пригвоздившей его левую руку. От стрелы без наконечника освободился легко, протаскив ее сквозь рану, из которой наскоро высосал кровь и о которой тут же позабыл вовсе. Его интересовал железный наконечник, маленький трофей.

Улеб знал толк в любой кузне, и наконечники для копий и стрел в этом смысле не составляли исключения. Он сам их выделывал немало. Случалось видеть и чужую работу, сравнивать ее со своей на торгах.

Слегка приплюснутый остроносый кусочек смертоносного металла, лежавший на ладони, бесспорно, отличался от знакомых изделий и соплеменников и северян. Судя по всему, это «жало» сделано за Дунаем, вернее всего придунайскими булгарами. И хорошо, если это так: значит, не отравлено. Да, но ведь булгары не враги, с малых лет это слышал. Почему же эта стрела?..

Сказывали, когда-то, еще при Игоре Рюриковиче на Киевском столе, что-то не поделили великий князь и князь уличей. Дело дошло до драки. Воевода Свенельд привел с Днепра на Днестр дружину, обложил Пересечень, и быть бы меж своими страшной беде, если бы не вмешалась мудрая Ольга. Да еще и несчастье помогло миру: древляне погубили Игоря, стало Свенельду не до Пересечения, ушел вершить суд над древлянами по воле овдовевшей княгини.

Давно то было. Звон мечей и свист боевых стрел не залетали сюда с тех пор. Великий княжич Святослав добывал победы далеко-далеко, и стерегли его дозоры края земли русской.

Кто же сумел, кто осмелился пробраться снизу и под покровом ночи натянуть здесь боевой лук?

«Может быть, — думал Улеб, — зря не окликнул этих людей. Может, они и стреляли оттого, что приняли меня за грозного зверя или разбойников, засевших на незнакомом берегу. Луды на них ведь были славянские. Да и наконецник... С чего им нести зло? И куда так топиться?»

Эти мысли теснились в его голове в то время, как он уже ехал шагом вдоль реки, стараясь производить поменьше стука копытами своего жеребца. И те загадочные люди, вероятно, успели далеко продвинуться.

Но потом он представил себе, что может произойти, если они обнаружат незащищенное селение. Ведь в Радогоще еще могли гореть костры. Улебу доверили охрану родичей, и посему, отбросив всякие рассуждения и предосторожность, погнал коня так, что, казалось, задрожала земля и взошедшая луна кинулась прочь с перепугу, мельтеша за остроконечными зубцами лесной ограды.

Улеб мчался, ощущая коленями усилие мышц скакуна. Мешок с комьями руды и красящими корешками, который он не догадался выбросить, чтобы не мешал

плотнее прильнуть к холке, подрагивал и колотился о щеку, и сердце стучало, норовя вырваться наружу, а сырой встречный воздух распирает ноздри и грудь.

Он не увидел их. Но они сразу услышали стремительно приближавшийся стук копыт. Успели спрятать челны в камышах и укрыться в засаде прежде, чем Улеб так неосмотрительно появился на освещенной лунной тропе.

Жар с ходу перескочил через ручей, вскинув голову, внезапно почуввав опасность, шарахнулся в сторону, да было поздно. Петля аркана стянула плечи Улеба, он выронил нож, свое единственное оружие.

Его стащили с коня, он не упал на землю, а опустился на нее ногами и освободился от петли в тот момент, когда протянулись к нему вражьи руки. И отведдали нападавшие кулаков юного кузнеца.

Первый страшный удар пришелся по перекошенной от злобы скуластой физиономии, обладатель которой хрюкнул, перелетел через куст рябины и, как жаба, шлепнулся в реку. Прятавшиеся под обрывом берега возле челнов кинулись спасать-вылавливать его. Другие же поспешили на подмогу тем, что, громко скуля и завывая, хватаясь за челюсти, головы и животы, корчились и ползали вокруг Улеба, сокрушавшего всякого, кого доставал тяжелый, как молот, его кулак.

Молодой и властный их вожак не позволял рубить саблями, сам же кружил в темноте как бешеный, с дубиной, пытаясь улучшить момент для удара.

Тройным условным свистом Улеб отогнал своего коня и теперь был за него спокоен. Он, казалось, ослеп от негодования, не понимал чужой речи, но догадался, что его хотят взять живьем. Он бросался на подлых, а они отступали, как трусливые шакалы, и снова смыкались в кольцо. Улеб молотил кулаками воздух, презирая и проклиная их трусость.

Ах, если бы удалось ворваться в село с криком, поднять тревогу, сдернуть с гвоздя отцовский меч...

Подкравшись сзади, изловчился безусый вожак — дубина сделала то, что оказалось не под силу всей этой злодейской своре. Улеб пошатнулся, подкосились ноги, он уткнулся локтями в теплую траву и лишился сознания.

Все последующее походило на кошмарный сон. Качался мир, стонало небо, тихо всхлипывали струи воды

возле самых ушей, ударяясь о дно лодки, и тяжесть давила на горло, на плечи, на грудь, сковала руки и ноги. И не слышал Улеб, не видел, как пылали соломенные стрехи жилищ, как падали под клинками застигнутые врасплох седые головы и лилась невинная кровь, как кричали младенцы и срывались от ужаса девичьи голоса, как мычал обезумевший в горящих ухожах скот, как волокли пленных чужаки, как развязали и убили троих, привезенных с собой, и оставили их трупы на единственной поруганной улочке Радогоща.

И больше никого и ничего не оставили на месте преступления, никого, кроме обезглавленных и тех, также убитых, трех нездешних русобородых мужчин в светлых, расшитых болгарским орнаментом рубахах и с вложенными в их холодные руки мечами и секирами, которые эти трое ни на кого не поднимали. И любой коваль-оружейник при виде тех мечей и секир сразу же сказал: «Да, они сработаны за Дунаем». Но кузнецы были на торге в далеком городище, а Улеб лежал в грязном челне, придавленный тяжестью, и он ничего не услышал и не увидел, как не видел обвалившейся в пепелище кровли отцовского дома, а вместе с ней и обгоревшего колеса, два года извещавшего всех о том, что под крышей, на которой оно лежало, ждала своего счастья веселая дочь вешего Петри, красавица Улия, невеста на выданье...

Черные, перегруженные добычей челны поспешили удрать досветла. Они неслись по течению Днестра-реки к морю. За спинами запыхавшихся гребцов полыхало скорбное зарево.

Глава V



ляди, Сарам, гляди! Красиво, заклевали б их вороны!.. Во-о-он на том берегу апостол Андрей благословил горы и поставил в отрогах крест, предрекая город. И он возвелся, город, и называют его ныне жители матерью городов своих.

— Но они, тавроскифы, не сберегли тот крест, господин, не сохранили, ай-ай-ай.

— Хритос Пантократор не простит! Еще поплатятся эти дерзкие руссы. Палатий до них доберется.

— Да, да, мудрый мой господин! Вот ведь и сейчас мы добрались благополучно. Хвала тебе! Добраться добрались, но не гневись, если догадаться обо всем... дай бог выбраться.

— Пошел вон!!

Корабли обогнули высокий, разделявший Днепр на два неровных рукава песчаный по краям остров, который на некоторое время скрыл все великолепие раскинувшейся впереди панорамы стольного града Руси. Византийцы ревниво осматривали свои суда, не слишком ли утерян их лоск на тяжких волоках через каменные пороги Днепра.

— Ждет меня наш человек, ждет среди недругов — все утешение, — нащупывая за пазухой заветный медальон, бормотал Калокир.

Природа была щедра к этим краям. Звонкое лето стояло окрест во всей своей блистательной красе. Казалось, лучшие певчие птицы слетелись сюда, на высокие кручи. Цветистые луга причудливо обрамляли возделанные поля, на которых, размежеванные, чередовались скромные наделы загородных смердов, засеянные пшеницей, просом, ячменем, маком, полбой, коноплей и сочивом.

Волны Днепра раскачивали множество малых и больших, зачастую обшитых по старинке кожей лодий, грузовых плотов и крутобоких набойных беспалубных корабликов с квадратными парусами.

На каждом русском парусе непременно красовался то оранжевый, то желтый, то красный диск намалеванного солнца. Через всю ширь могучей реки перекинулось многоцветное коромысло радуги — подарок недавнего мимолетного дождика.

Византийцы вели свои суда, прижимаясь к правому, населенному берегу, медленно и величественно проплывавшему слева по борту.

Калокир сменил громоздкий боевой наряд на скромную рясу черного цвета, достававшую ему до пят. Он придал своему бледному лику томное выражение, вся преобразившаяся, утратившая резкие очертания фигура источала кротость. Пальцы смиренно поглаживали крест, свисавший на цепочке с поникшей шеи, губы шамкали неслышную молитву.

Привыкшая к причудам своего временного повелителя свита отнеслась равнодушно к его перевоплощению, хотя, надо сказать, ряса на Калокире должна была вызвать удивление, осуждение, поскольку он не являлся священнослужителем. И если династ своим видом старался выразить подчеркнутую скромность, то оплиты, напротив, до блеска начистив мелом и суконными лоскутами панцири, подбоченились и приосанились, поглядывая на близкий берег.

Хеландия между тем миновала упомянутый остров, и теперь стали различимы за лесом постройки предгородни: землянки с бревенчатыми перекрытиями, маленькие четырехгранные и шестигранные башенки терема в селище Берестовое, принадлежащем киевскому княжичу, высокие тесовые ограждения вокруг насыпи Аскольдовой могилы, древние рвы и свежие гробли Ольгинного двора в Угорском, шалаши холопов, ролейных закупов, плоские кровли овинов и хлевов, мазанных унавоженной глиной, дымки отдаленной, скрытой деревьями верви, горбы курганов и сплетения тропинок, сбегавших к воде.

Но, пожалуй, наибольшее внимание путников привлекали к себе тянувшиеся вдоль прибрежной кручи большие закопченные отверстия, подле которых суетились люди.

Это были знаменитые Варяжские пещеры. В них ютились те из северных купцов, что не хотели или не могли платить за более пристойный постоя в лоне города. Днем и ночью горели пещерные костры, там готовили пищу. Тут же, внизу, тесной чередой, уткнувшись смолистыми носами в узкую полоску песка, покоились лады-однодеревки небогатых торговцев. Ромеи называли такие моноксилами.

Незавидно одетые натруженные варяги кидали недоброжелательные взгляды в сторону нарядившихся, будто для парада, византийцев. Какой-то бывалый старец с грязной перевязью на бронзовом от загара теле, сложив рупором худые ладони, неожиданно громко для своего преклонного возраста прокричал по-эллински:

— Эй вы, ослы на раскрашенных бочках! Снимите маски, лицедеи, покажите свои истинные рожи! До чего глупы и надуты! Каким ветром занесло вас, переодетые женщины!

Насмешливые его слова потонули в хохоте высыпав-

шей к воде толпы ятвягов, литовцев, пруссов, чудей, жмудей и прочих менял и бродяг с Холодного моря. В ответ раздались брань и угрозы оплитов.

Старый варяг, как видно, был знаком не только с языком византийцев, но и знал, как с его помощью наносить им оскорбления. Христианство строго запрещало рядиться в маски и переодеваться в одежду другого пола, ибо, утверждало оно, человек есть творение бога, нельзя изменять облик, данный человеку всевышним. Вот почему глумливое обвинение в грехе с берега больно задело тех, кто был на кораблях.

Вспыхнувшая перепалка грозила обернуться открытой потасовкой. Кое-кто из оплитов требовал повернуть корабли на обидчиков, но Калокир своевременно прикрикнул на гребцов, растерявшихся было от противоречивых команд, и караван посольства с удвоенной энергией поплыл дальше, провожаемый свистом и улюлюканьями.

Вскоре пещеры остались позади, крики насмешников стихли. Река заметно сужалась.

Все чаще и чаще взору путников попадались артели плотников. Потные, оголенные до пояса мужики стучали топорами, оседлав длинные, лежащие одним концом на подпорках бревна. Иные варили смолу в чанах, помещивая варево кривыми жердями, иные же скоблили теслами уже сколоченные ребристые, как остов обглоданной рыбыны, каркасы кораблей. Изредка налетавшее с реки дуновение шевелило насыпь стружки, и плотники подставляли разгоряченные лица прохладе.

В воздухе смешались запахи жареного мяса, ладана, коптящейся рыбы и горелого тряпья. Щебетание птиц, еще недавно усаждавшее слух, сменилось гвалтом людских голосов, звоном и перестуком железа, скрипом колес, ржанием и мычанием скота, всеми возможными звуками работы и развлечений.

Вода кишела купающимися мальчишками, которые, дурачась, норовили ухватиться за весла, и теперь уже кормчим было не до созерцания ландшафта, нужно было внимательно следить за своим продвижением среди более мелких суденышек и безрассудных ныряльщиков, чтобы не нарваться на неприятность: жизнь и имущество каждого росса стоили огромного штрафа, а то и молниеносной мести сородичей. Калокир хорошо это знал.

Солнце растопило радугу, оно припекало, доставая огненными стрелами повсюду. Душно было на реке. Ни последние капли вина, ни вода не утоляли жажду уставших путников. Полуденная истома заволокла небо над Киевом.

— Скоро ли конец? — спрашивали воины друг у друга.

— Где край нашим мукам? — тихо роптали гребцы.

— Когда же ступим наземь? — ворчали надсмотрщики.

Калокир отвечал всем сразу:

— Молчать! Еще немного терпения! Господь уже привел нас к цели!

Там, где Почайна впадала в Днепр, было самое удобное место для высадки. Калокир запомнил его с прошлого визита. Однако отыскать свободное место на причале оказалось не так-то просто.

С горем пополам протиснулись к суше. Зеваки наблюдали, как прибывшие бросали с кормы якоря, тянули сквозь ближние к носу весловые отверстия канаты и тщательно привязывали их к вбитым в грунт сваям.

Часть оплитов осталась стеречь корабли, рабов, которых хоть и отстегнули от весел, поднятых лопастями вверх и закрепленных торчком, но не пустили дальше палуб; тюки и мешки с товарами.

Старшим на берегу был назначен надсмотрщик без одного глаза. Выбор пресвевта не понравился копыеносцам: по их мнению, охрану кораблей и имущества следовало поручить кому-нибудь из более достойных, а не Одноглазому, который не был воином.

Калокир строго-настрого наказывал обрадованному доверием избраннику:

— Смотри, чтобы ни один гвоздь, ни один лоскут не пропал, за товары отвечаешь головой. А особенное внимание хеландии. Там, в нижнем ее отсеке спрятаны сосуды с мидийским огнем — гайна тайн. Весь мир трепещет перед нашей жидкостью, воспламеняющей все, горящей даже будучи выплеснутой на воду, и сама она для варваров — «огненная вода». Непостижимая сверхъестественная, а потому безмерно устрашающая. Никто здесь не должен заподозрить о ней на хеландии. Запомни. Глади в оба.

— Не сомневайся, господин, я все знаю, помню и по-

нимаю. Я буду глядеть в оба, — заверил Одноглазый, поправляя повязку.

— Безглазый обещает смотреть в оба, — пронесся ехидный смешок среди тех нескольких солдат, которым не суждено было попасть в город.

Во главе своих копыеносцев Калокир двинулся к видневшимся крепостным стенам. Толпа расступилась, давая дорогу ромеям и громко выражая одобрение их парадной выправке.

В людском водовороте мелькнул и исчез белый хитон евнуха Сарамы. Динат велел ему позаботиться о еде для оставшихся. Сам же посол рассчитывал на щедрость местного правителя, щадя собственный кошель. Гостеприимство и хлебосольство россов были ему известны.

Если подняться к Горе, где жили князь и знать, от реки напрямик, то по левую руку будет Перевесище с дворами земледельцев. По правую — Щекавица, поселение охотников и скотоводов. Еще правее простирается Оболонье, пристанище убогих смердов. А по ту сторону Горы тянется до самых дальних лесов огромное полевое поле, поделенное князем меж верноподданными гридями.

Однако наиболее примечательной, самой шумной и самой многолюдной была нижняя, прибрежная часть Киева — Подолье.

Кого только не встретишь в пестрой суতোлке торжища! Чего только не увидишь на Подолье!

Вот сошлись белолицый новгородский гость и смуглокожий араб. Смеются, хлопают по плечам, торгуются изо всех сил, а речи-то друг дружки не понимают. Первый потряхивает связкой собольих мехов, другой щупает пушнину, приценивается, позвякивает пригоршней серебряных диргем. Ну чудак! На что ему меха в жаркой своей стране? Новгородцу монеты ни к чему, ему подавай добрый товар в обмен. Араб пленен соболями, кличет своего служку, и мальчонка, черный как смоль, вприпрыжку тащит тончайшие ткани.

А вот и темпераментный худосочный сарацин в длинной белой хламиде. Одной рукой удерживает запыленного верблюда с нагромождением тюков между горбами, другой жестикулирует как сумасшедший, кричит, спорит со степенным кривичем, который, если разобраться, не возражает вовсе, поскольку никак не уяснит, с чего тот кипятится. Верблюд, презрительно выпятив губу, ле-

ниво переводит взгляд с одного на другого, затем на толпу, оживляется вдруг, заметив нахально глазающего на него буйвола, что приволок полный воз каких-то горшков, и, наверно, с трудом удерживается от соблазна плюнуть в глупого рогатого собрата.

Попадались ромеям и земляки. Они сразу отличали своих среди прочих по одеяниям, по крестным знамениям и обращениям к богу, которого без конца призывали в свидетели их бескорыстия в торге. Призывали, божились и тут же надували простачков.

Разноязыкие, разноликие люди смешались, как горох в мешке, плещут масла из корчаг и бочонков, обнимаются после удачных сделок, бранятся, не сойдясь в цене, похваляются товарами, тычут под нос драгоценные серьги и колты, перстни и ожерелья, а то и кукиш, глядят в зубы лошадям, дергают вымя коров, мнут трескучие свертки кожи, предлагая скорнякам за них костяные изделия, гогочут на проделки скоморохов, отталкивают нищих, которые не прочь проверить, хорошо ли лежит чужое добро, подбрасывают увесистые шары воска и сыра, угощаются медом и переваром, поют, хохочут, плачут, зазывают, примеряют, радуются, сердятся, апеллируют к присматривающим за порядком верховым дружинникам, что с наказующими шестоперами в руках бороздят толпу.

Наконец динат и его спутники выбрались из этой кутерьмы, подравняли строй.

Подолье и крепость разделяла трясина, малопривлекательная, как и всякое болото. Через эту зловонную жижу пролегла бревенчатая гать с дощатым настилом.

При желании болото можно было бы засыпать землей и хворостом, утрамбовать, отведя воду в какой-нибудь овражек. Однако киевляне благодарили судьбу за столь труднопроходимую естественную преграду на подступах к укреплению. В самом деле, случись нападение — вражескому войску пришлось бы с этой стороны преодолевать болото по единственному узенькому переходу. Вытянувшихся в цепочку неприятелей на тверди встретят дюжие русские богатыри и перебьют, сменяя друг друга для передышки, не давая сойти с качающейся под ногами гати.

Искушенные в боях оплиты Византии сразу оценили выгоду такого месторасположения и подивились дальновидности местных градостроителей.

— Поселились тут во время оно три брата, три князя, — поучал на ходу Калокир, — единому имя Кий, а другому Щек, а третьему Хорив, сестра их Лебедь. Сидел Кий на Горе, а Щек сидел на холме, где ныне и есть Щековица, а Хорив на другом холме, от него же и произвели во-о-он то место Хоревицей.

— Ишь ты, — безразличным тоном откликнулся старшина копыеносцев, то и дело снимая тяжелую перчатку, чтобы утереть ладонью пот с лица, — трое, значит, их тут сидело. Всего трое... Вот бы тогда нагряться, изловить да на дыбу! А сестрицу бы в темницу, чтоб не насмехалась.

— С чего ей насмехаться? — спросил кто-то сзади.

— Красивая, должно, была, — подхватил еще чей-то голос. — Девы тут красавицы, будто наши.

— Молчать! — Командир полусотни грозно обернулся. — Все они тут насмешники! — И добавил, подражая динату: — Заклевали б их вороны!

— Речку в стороне называют руссы ее именем, Лебедью, — продолжал Калокир. — Да, сотворили те трое град и нарекли его в честь старшего брата Киевом. Это знать вам теперь нужно, пригодится, варвары почитают знающих.

Посольство благополучно перебралось через болото, преодолело горбатый бревенчатый мост через глубокий наполненный водой ров и, пройдя вдоль насыпи перед окольными стенами, достигло следующего моста, остановилось перед запертыми Лядскими воротами, по обе стороны которых уходили в высь две похожие как близнецы четырехгранные башни-вежи, наполовину выдвинутые за линию частокола.

Вверху, над плотно подогнанными друг к другу заостренными кольями заборола, поблескивали шлемы стражников, расхаживавших по слегка наклоненному внутрь помосту. Ветер полоскал яркие значки русских копий.

Ромен стояли внизу, задрав головы, насколько это позволяла их жесткая одежда. Сигнальщик протрубил в рожок, требуя, чтобы пропустили.

Их, разумеется, и без того давно увидели, и уже громыхали засовы и гулко раздвигались массивные, обитые медью дубовые створы ворот, их толкали могучие руки рослых молодцев, при виде которых оплиты сразу поняли, почему динат-пресвевт принял миролюбиво-сми-

ренный облик задолго до прибытия в город и отчего облачился в скромную рясу.

— Греки пришли! — раздался голос наверху.

— Греки пришли! — подхватил следующий стражник.

— Греки! Греки! — понеслось дальше.

Со всех сторон подходили воины, бежала поглазеть простодушная челядь, нарядные девицы собирались стайками на крылечках ближних теремов, степенно шествовали бородатые именитые мужи с растопыренными от обилия драгоценных перстней пальцами холеных рук, выглядывали из стрельчатых расписных окон нарумяненные жены.

Улочки ожили, сбросив полуденную сонливость. Все, кто высыпал на солнечную площадь перед воротами, здоровались с блистательными пришельцами, отвечивали радушные поклоны.

Прижимая к груди крест, Калокир пристально смотрел на приближавшегося в сопровождении нескольких верховых паробков-оруженосцев знатного всадника, успевая одновременно поощрять взглядами своих оплитов, что, прислонив копыя к стене и сдернув шлемы, дружно колотили в поднятые над головами щиты рукоятями обнаженных мечей. Этот drobный и громкий стук был воинским приветствием всех племен и народов. Они колотили до тех пор, пока подъехавший воевода не воздел обе руки и дианат не повторил его жеста.

— Я тебя знаю, храбрый Сфенкел! Привет тебе! — воскликнул Калокир, касаясь ладонями стальных наплечников спешившегося воеводы. — Узнаешь ли ты меня?

— Привет тебе, человек! — отвечал киевский воевода. — Я не знаю тебя.

— Как же! Вспомни! Я Калокир! Когда-то ты преломил со мной хлеб на своем дворе. Твои свечи до сих пор освещают мою обитель в Фессалии. А ты, остался ли ты доволен моими паволоками и медью?

— В мой дом скверны не попадает. А тебя, добрый человек, прости, не припомню. Киев знал о твоём приближении. Ты посол Царьграда? Князь велел встретить тебя лаской.

— Препроводи на Красный двор, я должен донести туда тайные вести, — сказал Калокир.

— Идем.

Воевода грузно ступал сапогами по брусчатке, увле-

кая за собой строй ромеев. Шли они вверх по извилистой улице мимо чадящих мастерских ремесленников и гончаров, вертевших свои круги на обочинах мостовой, мимо богатых теремов и приземистых лачуг прислуги.

Чтобы не обидеть гостей, Сфенкел тоже отправился пешком. Позади процессии вели коней на поводу его паробки. Эти совсем еще молодые парни, спотыкаясь, открыв рты, неотрывно смотрели на мерно покачивающиеся перья на шлемах некоторых чужаков.

Провожать строй кинулись лишь вездесущие ребята-тишки. Взрослые же, не пропустившие ни единого слова из недавних переговоров, остались на площадке, чтобы обсудить услышанное и увиденное. Мужчин заинтриговали намеки посла на какие-то тайные вести. Женщины, естественно, были склонны посудачить насчет внешнего вида царьградских гонцов.

Мужи степенно толковали:

— По всему видать, вести те дурные.

— А может, и нет.

— Не иначе, самый главный после цесаря грек пожаловал. Много железа на его холопах.

— А может, и нет. Лицом недужный и без коня.

— Или они зажитники, посланы вперед просить корм на постой. Думаю, быть к вечеру ихнему обозу.

— А может, и нет.

— Точно быть обозу. Должно, снова греки везут нашему княжичу подарки, чтобы подсобил Царьграду мечом.

— А может, и нет. Уж больно говорливый гонец-то. Нет, не на поклон явился.

— По всему видать, дурные вести...

— А может, и нет.

Женщины щебетали в сторонке свое:

— Ой, интересно мне знать, они паву съедают, когда перья повыдергивают на шоломы, или чтут и ощи-панную?

— Мне больше нравятся перья с длинноногой птицы-бегуньи, пуховые — любо! Черные люди мало их привозят — дорого берут, а эти и вовсе не торгуют, сколько ни проси.

— Отчего бы?

— Им самим, должно, не хватает на все войско. Или боятся, чтобы наши не надели и себе. Тогда бы поди разберись в поле на сечи, где кто.

— Я знаю, та птица скачет по горячим пескам далеко-далеко за морями-океанами, за Землей греческой. Поймать ее трудно, не догонишь конем в сыпучем песке, а песка мно-о-ого, конца-края не видать.

— А этот, с мертвым лицом, главный ихний, перьев не носит. По жаре надел рубаху до пят. Черна рубаха, что твоя сажа, как у того грека, который при матушке нашей, при Ольге.

— Я вам скажу, греки прислали Ольге второго, чтобы вдвоем ее, матушку, пуще прежнего подбивали к своему богу. Тьфу! Вот княжич им задаст, будут меру знать, помяните мое слово.

Станут женщины долго обсуждать событие, до ночи пересуды не кончатся и еще на утро останутся с избытком. Иное дело мужи, потолковали, и хватит, разбрелись по своим заботам, по домам да ухажам. А забот хватает, хоть и войны нет. Надо и поесть, и попить, и шлепнуть по шее подвернувшегося под руку служку, чтобы знал. Что знал, не суть важно, лишь бы знал. Такова господская логика.

Улица, начинавшаяся от Лядских ворот, была самой длинной, однако почему-то называлась Малой. Если в начале ее преобладали жилища ремесленников, то по мере приближения к Детинцу увеличивалось число более богатых двухэтажных сооружений именитых граждан, высокие и добротные обиталища которых выгодно отличались от мастерских сравнительной опрятностью и чистотой.

Солнце играло на медных верхах тесовых башенок, в которых, наверно, и человеку не поместиться. Каждую башенку венчало крошечное изображение птицы или животного. Правда, порой не удавалось угадать конкретных прообразов иных изображений, но это не умаляло достоинство тех, кто их вырезал и укрепил наверху, рискуя сломать шею.

В соседних закоулках истобки, не терема. Проезжие части не мощены деревом, колеса выдолбили глубокие колеи в их плотно утрамбованном, окаменелом грунте. Сточные канавы разъедены выплесками помоев.

Мальчишки носились как угорелые, размахивая деревяшками вместо мечей и крышками от чанов вместо щитов. Няньки покрикивали на шалунов и грызли орешки. Мамки покрикивали на няnek и тоже грызли орешки.

То и дело из-за углов выскакивали всадники, и тогда все прохожие шарахались к низким тынам или стенам. Пропустив коней, пешие вновь запруживали улочку, а воздушные завихрения из-под копыт гнали вместе с пылью ореховую шелуху.

Все эти городские картинки мало трогали заморских гостей. Их донимали жажда и голод, и они мечтали о скорейшем прибытии на Красный двор, где надеялись утолить то и другое.

Гордость не позволяла Калокиру поторопить возглавлявшего шествие Сфенкела, который, в свою очередь, гордый тем, что идет в голове столь торжественного и нарядного отряда, ступал важно, не спеша, давая возможность зевакам вдоволь полюбоваться процессией. Утомленный динат чуть не подвывал от злости, когда Сфенкел задерживался, чтобы подробно объяснить какому-нибудь приятелю, что это за люди, куда и зачем он их ведет.

Вот наконец и Детинец.

Стены его крепче околных. Скрепленные глиной и смолой валуны не тесаны, в углублениях плесень и белесый мох. Перед внешней стороной насыпи торчали заостренные надолбы. К удивлению ромеев, они миновали ворота совершенно беспрепятственно.

Прекрасный терем выставил башни, в которых могло бы укрыться множество людей. Княжеские хоромы поражали размерами, на всем была печать величия и власти, в глазах рябило от золотых и серебряных росписей, разноцветных лент и гирлянд, обвивавших каждый столб или перило.

Ковры, устилавшие даже землю перед широкими ступенями входов, поглощали шаги озабоченно бегавших туда-сюда многочисленных наемных слуг и невольников. Почтенные старцы, как изваяния, грелись на солнышке, восседая на низких скамьях и держась за высокие посохи с круглыми шишками, усыпанными драгоценностями.

И вместе с тем под самым носом всего это великолепия безмятежно и комично прогуливались куры и голуби, индюшки и гуси с подрезанными крыльями. Лохматый пес, уронив лопухую голову на передние лапы, валялся посреди двора, он, казалось, пролежал так целые годы, не реагируя ни на переступавших через него отроков, ни на перезвон связки отмычек в руках пробе-

гавшей мимо какой-то ключницы, ни на громыхавших при ходьбе незнакомых пришельцев.

По обе стороны Красного двора тянулись просторные ужожи, за ними достойные постройки, где жили княжеские избранники, громоздились кладовые, деревянные и белокаменные гридницы для пиров, а на них ощерились, точно в страшной улыбке, размалеванные медвежьи черепа, насаженные на шесты.

Все эти сооружения смыкались в огромное кольцо, внутри которого находилось лобное место. В центре площади стоял Перун.

Когда-то это был обыкновенный дуб. Он рос себе до тех пор, пока не обрубili крону и ветви. Могучему стволу топорами и теслами придали черты бога, и он, бог войны, отец богини смерти Нии, стоял крепко, незыблемо, ибо дубовые корни по-прежнему оставались в земле. Здесь, на капище Перуна, давались клятвы перед походами и сжигались останки погибшей знати.

Сфенкел отправился искать князя. Византийцы, опасно озираясь, украдкой плевали в сторону идолища.

Вернулся воевода вместе с красивой девушкой, с нескрываемым интересом разглядывавшей убранство чужестранцев. Сама же она была одета сравнительно просто. Холщовое платье с вышивкой на опястье широких рукавов облегалo стройное, гибкое тело.

— Княжич шлет вам привет, гости дорогие! — издали сообщил Сфенкел. — Подождите малость, скоро он освободится.

— Что может быть важнее прибытия пресевта? — обиделся Калокир. — Скажи, чем он занят?

— Как раз, должно, начал тереть ребра.

— Что?

— Ребра, говорю, трет мочалом. В бане. Только воротился с соколиной охоты.

— Сам трет?.. — вырвался нелепый вопрос у растерявшегося дината.

— Когда сам, а когда и гриди помогают, — последовал столь же значительный ответ.

— Мы... ты, храбрейший, препроводи... Им нужен отдых и стол, — проклиная в уме свое внезапное смятение, пробормотал Калокир, указав на оплитов, в немом восторге обступивших девушку. — Да, им следует предоставить пищу и отдых.

— Конечно! Конечно! — Мясистая физиономия воеводы расплылась в улыбке. — Уже распорядились, накрывают. Все ступайте за девай, накормит.

Оплиты послушно двинулись за красавицей, точно стадо голодных мулов за шепотью дразнящего корма.

Не слишком искушенный в церемониях Сфенкел посчитал свои обязанности исполненными и теперь не прочь был отлучиться по собственным делам. Но династ вцепился в него взглядом.

— Малушка-то накормит всех воев досыта, — сказал Сфенкел, — не беспокойся. И опочивальню отведет им славную, будут довольны.

— Она кто, княжна?

— Нет, просто Малушка, роба. Ольга перевела ее из скотниц в ключницы, горенку дала наверху. Сам княжич просил за нее матушку. И братца ее, Добрыню, возвел в старшую дружину. Она, Малка, пригожая, Святославу по душе. Ты бы, мил человек, поостерег своих воев-то... Княжич горяч сердцем.

— Препроводи меня, — нетерпеливо прохрипел Калокир, — препроводи же меня куда-нибудь.

— Да! Правильно! Я помню, что твое дело не терпит. Сам хотел предложить, но опасался, что обидишь еще. Я, мил человек, княжичу-то объяснил: вести, мол, из Царьграда спешные. А он мне: «Раз спешные, пусть, коли не против, идет сюда. Заодно и помоемся с дальней дороги».

Довольный, что сумеет наконец отделаться от чопорного грека, Сфенкел увлек впавшего в меланхолию Калокира в глубь двора.



Глава VI

ознание вернулось к Улебу, когда каюки* уже далеко уплыли от пожарища.

Он лежал на боку, крепко связанный, придавленный какими-то тяжелыми предметами. Упруги — гнутые поперечные жерди на дне челна — впились в тело, и туго прижатые веревками к бедрам руки оне-

* Каюк — легкая лодка.

мели, а голова гудела от боли после нещадного удара. Рот был заткнут войлочным комом.

Он приоткрыл глаза. Была еще ночь, однако уже угадывались первые проблески приближавшегося рассвета, на их фоне смутно, как призрак, вырисовывалась фигура гребца, который быстро-быстро орудовал веслом, упираясь коленом в приподнятую корму каюка. Улеб не мог разглядеть остальных, но он ощущал их присутствие по отрывистому дыханию и частым нестройным всплескам невидимых весел.

Первым его порывом была отчаянная попытка закричать и вскочить на ноги. В ответ на слабый стон очнувшегося пленника раздался приглушенный смех печенегов.

Если бы луна светила ярко, если бы удалось приподнять голову, Улеб увидел бы очертания незнакомого берега, голого, низкого, а за ним бескрайнюю, уходящую в мрак равнину. И еще увидел бы, как широко разлилась река, как замедлилось ее течение.

Ему казалось, что случившееся — неправда. А если даже и правда, то близок конец этому кошмару, вот-вот налетит, как вихрь, русский дозор, отобьет, отомстит.

И точно внемля его мольбам, порою с берега доносились стук копыт и тревожное ржание. Улеб весь напрягался, узнавая верного друга, извивался, силясь освободиться от пут или вытолкнуть войлок языком, чтобы свистом предупредить коня об опасности.

Он чувствовал, как челн резко поворачивал к берегу. Печенеги размахивали арканами, суетились, гомонили, но топот копыт исчезал так же стремительно, как и появлялся. В эти мгновения Улеб желал одного — смерти.

Рабство... Что может быть хуже? Сердце юноши сжалось, едва он представил себе, с каким упорством, с каким недоумением и горестными криками будут родичи обшаривать Мамуров бор, воротясь с торга. Ведь он сказал сестрице, что отправляется туда за кореньями. И никто, вероятно, не узнает о его судьбе.

Человеку нет ничего дороже жизни. Улеб любил жизнь. Но тогда, окруженный коварными, он готовился встретить смерть грудью. Судьбе же угодно было сохранить его, пусть. И Улеб мысленно поклялся сделать все, чтобы тот, кто задумал обратить его в раб-

ство, сам в конце концов проклял час, когда совершил преступление.

На рассвете Улеб основательно разглядел того, что по-прежнему торопливо, словно все еще опасаясь погоны, загребал веслом на корме.

Это был низкорослый плотный человек с темными бегающими глазами. Жесткие и прямые, как нити, волосы обрамляли круглое лицо, ниспадая на покрытый испариной лоб мокрыми прядями. Он устойчиво держался на крепких, слегка изогнутых ногах в меховых сапогах, в которые были заправлены подвязанные под коленями шнурками кожаные штанины. Пропотевшая рубаха была вовсе диковинной, сшитая из двух разных кусков, один из которых представлял собой меховую шкуру, а другой — обычную холстину. Козий мех приходился на спину, холстина — на грудь. Явно принадлежавшая не ему темная славянская луда, что, по-видимому, для маскировки была наброшена на плечи во время ночного набега, теперь валялась под ногами. Оголенные исцарапанные руки были проворны. Улеб невольно отметил про себя, что такому крепышу по силам грести долго и долго.

Печенегі пересидели день в овраге, укрыв каюки, не разгружая их. С наступлением темноты вновь двинулись в путь, и опять плыли всю ночь, а с рассветом нового дня уже не прятались, плыли открыто.

Волны все ощутимее раскачивали челн, били в низкий борт с равномерными интервалами. Участвовавшие брызги насквозь пропитали войлок во рту Улеба. Почувствовав горьковато-соленый привкус влаги, он понял, что находится уже в море. Юноша слышал раньше, что вода у моря соленая и ее нельзя пить, но никогда прежде не пробовал ее вкуса. И он не знал, что вкус морской воды подобен горечи слез, потому что не знал самих слез.

Между тем печенегі окончательно осмелели. Видно, близился конец плаванью. Их гортанные выкрики доносились с других лодок, шедших впереди. Однако прошло еще много времени, прежде чем появились признаки оживления уже не только на челнах, но и на берегу.

Сначала это был топот множества лошадей, словно гнали табун вдоль кромки воды. Затем с суши стали окликать плывущих. Окрестность огласилась шумом взбужденного стойбища. В воздухе запахло жильем.

Улеба подхватили сзади, приподняли, показывая сбежавшейся толпе. Он содрогнулся при виде ликующих степняков, пеших и конных. Они размахивали руками, смеялись, указывали пальцами на него и куда-то в сторону.

Ими были усеяны волнистые гребни высокого берега, а за ближней грядой холмов виднелись еще более высокие холмы, на склонах которых стояли рядами какие-то странные подобию круглых шалашей, обтянутых шкурами и с дымящимися остриями верхушек. Оттуда бежали все новые и новые живые цепочки, обрывались у края поросшей кустарником лощины, возникали вновь, уже близко, присоединялись к общему хору встречающих.

Челны ткнулись в берег. Кто-то выдернул кляп из рта Улеба и обрезал веревку на ногах, чьи-то руки волокли его одеревеневшее от долгого неподвижного лежания на дне лодки тело вверх по осыпавшейся мелкой галькой и сухими комьями земли тропинке на самую вершину мыса.

Расступилась толпа, освободила пяточок, где его и усадили и куда складывали награбленное. Довольные, что соплеменники вернулись целыми и невредимыми, если не считать опухшей и посиневшей физиономии лишь одного, того самого, что искупался в Днестре после соприкосновения с кулаком Улеба, печенег встречали каждую захваченную у россов вещь новыми воплями.

Сидя с вывернутыми за спину руками на пыльной и жесткой траве, в ответ на щипки и тумаки пленник, прерывисто дыша, только сверкал глазами, озираясь во круг. Но эти его гневные, полные ненависти взгляды еще больше распаляли толпу.

Улеб отвел глаза к подножию мыса, где все еще выгружали добычу под руководством молодого, сравнительно опрятного, вооруженного до зубов воина, на долю которого приходилась большая часть приветствий. Многие цокали языками и восхваляли его:

- Мерзя! Шохра!
- Эй-и-и, Мерзя! Мерзя!
- Го-о-о-зе!

Три каюка были уже полностью разгружены. Печенег вытащили их на хрустящую гальку, затем неторопливо, явно красуясь и важничая перед зрителями,

направились к последнему, четвертому, причаленному в отдалении. Шли за самыми ценными трофеями. В толпе пронесся гул восхищения.

И вдруг, покрывая все: и шум толпы, и галдеж чаек, и рокот прибоя, — раздался душераздирающий нечеловеческий крик. В нем была такая боль, что даже глумливая орда притихла от неожиданности. Обезумев, Улеб кричал и бился, силясь вырваться из рук навалившихся, с трудом удерживающих его степняков. Он увидел, как от челна в одной связке вели нескольких ребятишек и трех девушек. Первой шла Улия.

...В стороне от стойбища, за извилистым оврагом, обозначенным густыми пыльными зарослями крапивы-яснотки, лежали, точно оброненные белые шапки, известняковые валуны. В нагромождении больших камней дожди и ветры образовали углубления, достаточно широкие и высокие, чтобы в них мог поместиться сидящий и тем более лежащий человек.

Узкий вход в одну из таких естественных темниц перекрыли массивной крышкой с крепкими внешними подпорками. Через щель, служившую одновременно отдушиной и отверстием, сквозь которое узнику просовывали пищу, внутрь этого каменного мешка проникал скудный свет.

Улебу не надели колодку, как это обычно проделывали на первых порах с поработенными, а заточили сюда за буйство.

Его не били. Напротив, старались уберечь от увечий. Пищу давали отборную и вдоволь. Воду тоже не забывали. Землю в пещере устлали толстыми, сплетенными из травы подстилками. Подобная «забота» указывала на то, что пленника считали ценным и, видимо, берегли для продажи. Но кому?

Улеб припал к щели, пытаясь выяснить, возможен ли побег. Щель была довольно широкой, и, если прижаться к ней глазами, можно разглядеть происходящее снаружи.

Неподалеку, прислонившись спиной к валуну, лицом к пещере сидел, подогнув под себя ноги, рослый ребенок. Стражник был один, но, судя по ширине его плеч и вздувшимся буграм мускулов, стоил двоих, а то и троих.

Заходящее солнце уже не припекало, но тем не ме-

нее страж изнывал от жары, исходившей от нагретых за день камней. Эта туша поленилась перебраться в тень редких сосен, зеленым островком выделявшихся поодаль на фоне серых волн степи, или же просто не смела удалиться.

Чтобы убить скуку, страж вполголоса тянул заунывный напев. Со стороны оврага ему вторили насекомые, зудящим столбом стоявшие над зарослями крапивы. Изредка, должно быть, чувствуя на себе взгляд, он прерывал пение, прищурясь, смотрел туда, откуда этот взгляд исходил, и, поддразнивая узника, изображал испуг, спешно пододвигая к себе щит и саблю, как будто тот мог их перехватить, лопотал что-то и в конце концов разражался смехом, довольный своей забавой.

По виду нельзя было предположить, что он отъявленный злодей, но Улеб сразу отказался от попытки как-нибудь разжалобить его или подкупить щедрыми обещаниями. Впрочем, какие могли быть переговоры между людьми с чуждыми языками?

Переменчивый ветер приносил то свежее дыхание моря, то отвратительное зловоние сгнивших объедков и всякого сора, которые сбрасывали в овраг. Слух едва улавливал отдаленный скрип передвигающихся повозок и голоса.

Уже обагрился закатом горизонт, уже исчезли тени, уже не раз наведывались какие-то мужчины и женщины, чтобы потолковать с охранявшим пещеру огузом, а Улеб все не отрывался от щели, точно не мог наглядеться на белый свет, будто все еще рассчитывал увидеть свое спасение или сестрицу с несчастными земляками, чья судьба беспокоила его больше, нежели собственная.

Прилетела кукушка-зегзица, схоронилась в соснах, закуковала. Это Жива, богиня жизни, обратилась, как всегда, кукушкой, голосом своим подает надежду.

— Жива-зегзица, сколько мне жить?

Бесконечно ее кукование. Не сосчитать обещанных лет.

— Спасибо тебе, добрая, спасибо. Но зачем мне столько?.. Помогла бы лучше вырваться на волюшку. Ох, вложи в мою руку сварожий меч, что ковался молотом батюшки, закалялся на ветру мною в седле быстрого Жарушки. Ты уже подарила мне четырнадцать весен, и всегда-то я не меч любил, а молот. Быть от-

ныне по-иному. Подари же мне еще хоть годок, только вольный...

Стояли сосны, склонив друг к другу лохматые шапки, точно группка немых случайных свидетелей, забредших в степь.

Скучно стражнику сидеть на склоне дня меж безмолвных камней. Ему хотелось в окружение костров, где остывал в чашах свежий кумыс. Хоть бы пленник произнес звук, и то развлечение.

— Э, руся, — тихо позвал он, — эй!

Нет ответа. Он позвал снова. И снова молчание. Тогда он растянулся во весь свой огромный рост. Лежал так, покусывая травинку, бормоча под нос. И вскоре послышался его храп.

В стане печенегов тем временем праздновали удачный набег. Предвкушая новые дары от тех, по чьей указке направил челны на чужую реку Куря, каган Черный самодовольно выслушивал своего племянника, в словах которого чудился ему звон византийских монет.

Мерзя не скупился на похвалу в собственный адрес:

— Никто не услышал, как я налетел со своими воинами! Никто не видел, как я уходил!

Невесте Мерзи, смуглянке Лие, в честь такого события было дозволено немного постоять у порога каганского шатра. Она во все глаза смотрела на рассказчика, готовая по малейшему жесту исполнить любое его желание: подать или убрать чашу, утереть его разгоряченное лицо или ополоснуть его пальцы в бадейке, которую держала наготове вместе с чистой тряпицей.

— Всех побили! Все сожгли! — похвалялся Мерзя, ерзя и размахивая руками.

Каган одобрительно кивал.

— Никто не спасся! Быстро связали, — возбужденно продолжал хвастун.

— Э, чего же так мало привез? — спросил Черный князь.

— Хе, они же не давались! Нет, нет, не то... они убегали! Ты сам велел проследить, чтобы ни один не убежал. Пришлось порубить.

— Верно, — сонно согласился Куря.

— Их было сто! Больше! А мы победили! Они рядами, стеной на нас...

— Э, Мерзя, ты же говорил, что не ждали вас.

— Ну да... это... я и говорю: они спали рядами... под стеной. А мы, я ка-а-ак налетел! Я молодец! Я могу и Кыюв захватить! Дай мне половину войска!

Куря вдруг открыл один глаз, хитро прищурился, заправил усы за уши. Ехидно спросил:

— Может, тебе все войско отдать? И свой бунчук, а? Мерзя осекся, потупился.

— Тех троих, что увезли с собой, оставил там?

— Конечно, великий! — Хвастливый племянник вновь оживился. — Все исполнил, как было велено.

— А этого, бешеного, как взяли? Силен он, чуть не разметал толпу на берегу, когда вывели. За такого дорого возьму.

— Он и там буянил. На меня напал сзади, но я ка-а-ак двинул его кулаком, он перелетел через куст и ка-а-ак шлепнется в воду — еле выловили. Да... — вдруг вздохнул Мерзя, — еле выловили из реки... Слышал, как он взвыл сегодня!

— Я думала, светловолосый не от страха закричал, а оттого, что увидел своих, — робко подала голос Лия. — Одна дева, на него похожая, руки к нему тянула и тоже кричала. Может, они...

— Молчи! — Мерзя вскочил, затопал ногами. — Как смела открыть рот перед великим каганом и мною! Эй, кто-нибудь, плетью ее, плетью!

И даже после исчезновения насмерть перепугавшейся невесты он все еще тряс кулаками, злобно пинал бадейку, которую смуглянка обронила, когда покорно принялась шлепать сама себя по щекам, прежде чем убежать в страхе, вопил на весь шатер:

— Она думала! Она смеет думать, женщина! А я говорю, что светловолосый кричал, испугавшись одного моего вида!

До поздней ночи пылал светильник в шатре. Внизу, у подножия холма, также горели огни, они мерцали в долине, точно кто-то рассыпал пригоршни светлячков. В трепещущем свете ближних костров призрачно мельтешили тени.

Куря вышел подышать свежим воздухом перед сном. Опираясь на плечо племянника, оглядывал стойбище, слушал нестройное песнопение, чередовавшееся с шумными ссорами, лепет спящих в вежах, переключки пастухов, стерегших гурты, и дозорных воинов.

— Был у меня тайный совет с братом из Страны Румов, — сказал Куря. — Вернутся его корабли, получим что причитается и снимемся отсюда. Уйдем на пороги, на Днепр. Если румы приплывут от Святослава с успехом и скажут, что он попался на их хитрость, нам открыт путь до самого Кыюва. Хватит отщипывать крохи, ударим в самое сердце.

— Скоро? — спросил Мерзя.

— Не знаю. Дождемся верного часа. Может, и не скоро, но дождемся. Я сам все решу, сам.

— А что за хитрость у румов?

— Э... не объяснил толком, но сказал, что Святослав далеко уйдет с дружиной, очень далеко. И еще говорил, что твое, храбрый волк, нападение и те трое, которых он нам передал, а ты отвез и бросил, где велено, кусочек той хитрости. Вспомни, все ли сделал как надо?

— Ай, мудрый, зачем обижаешь! Я храбрый и умный волк! Храбрей и сильнее меня нет! Никого!

— Э?

— Кроме тебя, кроме тебя. — Спихватился, пал ниц, обслонявил сапоги кагана. — Ты, великий, еще храбрей и умней!

Куря обычно свирепел, если кто-либо осмеливался слишком превозносить себя в его присутствии, и зарвавшийся племянник запоздало вспомнил об этом.

Каган вложил в ножны выхваченный в горячке кинжал, примирительно поднял струсившего не на шутку племянника и назидательно изрек, указывая на бунчук, символ своей власти:

— Не возносьсь выше этого. Ты моя надежда. Единственная надежда к старости. Запомни крепко.

Расстроенный столь плачевно обернувшимся триумфом, Мерзя закивал головой, попятился, сломясь в поклоне, точно ему перешибли хребет, и растворился во тьме. Мерзя долго слонялся окрест, возмещая зло на всякой мелюзге, попадавшей под руку. Забрел к валунам за оврагом.

Огромный детина-стражник, как мы знаем, спал возле оставленной на его попечение пещеры с пленником. Могучий храп сотрясал воздух.

— А, спишь! Спишь, собака! — Мерзя кинулся к нему, как настоящий волк к жертве. — Спишь! Так-то ты, Маман, выполняешь наказ! Убью!

Великан вскочил от неожиданности, вытаращился спросонья. Со стороны сцена выглядела нелепо: в гнев Мерзя напоминал зайца, который обжег лапы на углях и, обезумев, прыгал на скалу, ударяясь и отлетая. Скалу, естественно, напоминал великорослый стражник.

— Собака! — визжал Мерзя. Он гулко колотил кулаками в щит, которым Маман успел прикрыться. — На кол! Я тебе покажу!

Эта возня стряхнула со стражника остатки сна. Он вдруг рассердился. Еще бы, его заставили скучать тут в одиночестве, сами же пировали внизу, а теперь вот этот, которого он мог бы одной рукой зашвырнуть на сосну, должно быть, насытившись и навеселившись вдоволь, подкрался, чтобы ругать и колотить его за пустяковый, по его мнению, проступок.

Подумав так, великан прямо задрожал от обиды, бросил щит, вне себя схватил крикуна за пояс — и крапивные заросли оврага всколыхнулись и затрещали под упавшим в них телом.

Мерзя, казалось, лишился рассудка. Ушибленный и ужаленный, он выкарабкался наверх, по-собачьи перебирая ногами и руками, бессознательно вернулся на четвереньках к стражнику. Маман, сам ошалевший от содеянного, в отчаянии обнажил саблю: раскаиваться поздно.

Стоя на четвереньках, Мерзя чихал, отплевывался, скулил, оглушенный, потрясенный до глубины души. И тут в голове Мамана внезапно мелькнула мысль, достойная самого находчивого умника. Он грозно рявкнул:

— Кто пришел? Кто посмел напасть на каганского стража?

— Э... Это я, Ме... Мерзя, великий, храбрый волк... Волк! Я Мерзя! Ты поднял на меня руку! А-а-а! На самого Мерзю поднял!

— Тихо, а то рассеку на куски.

— Что? — шепотом спросил каганский племянник, едва не лишившись чувств. — На куски? Меня?

— Кого же еще!

— Разве ты меня не узнал? — еще тише прошептал «великий, храбрый волк».

— Нет, не узнал.

— До сих пор не узнал, а?

— Слушай, Мерзя, я тебя не узнал, и все. Тебе понятно? А раз не узнал, простят, если что. — И Маман угрожающе поднял саблю. — Из-за одного, пусть и знатного, не станет каган губить лучшего воина. Забудем. Не то...

— Да, да, да, да... Я тоже тебя не узнаю, Маман. Я ухожу. Но ты не спи. Не будешь спать? Не будешь?

— Нет, не буду, — пообещал великан ему вдогонку и тут же лег на траву и захрапел на всю округу.

Шатаясь, точно больной, Мерзя добрал до своего ложа, свалился как труп. Он не рискнул поднять шум. Слишком большим, непоправимым позором покрыл бы себя, если бы те, что трепетали перед ним, вдруг узнали, как проучил его простой воин.

А в глухой каменной темнице, изнуренный, измученный горькой своей участью и тяжкими мыслями, беспокойно ворочаясь во сне, лежал Улеб. Он не слышал ни полуночной ссоры огузов, ни шороха ящериц, встревоженных тем, что в их обитель заточили человека, ни шелеста прибоя, ни криков степных сов, ни громкого храпа стражника Мамана.

На рассвете с моря поползли туманы.

Густая пелена низко стелилась по траве, и от этого, казалось, шевелилась сама земля. Туман скапливался в ложбинах, лежал широким покрывалом на равнине, а крупные камни и холмы, точно горбы нырнувших в молоко верблюдов, торчали на поверхности.

Было тихо и сыро. Маман зябко поежился, открыл глаза и... ничего не увидел. Вокруг белым-бело, хоть глаз выколи.

Эка невидаль — туман. Стражник нехотя стал подниматься на ноги, потягиваясь, жмурясь и зевая. Когда он встал, молочная пелена доставала ему до колен. Удивительно, как четко разграничивались приземистый слой тумана и прозрачная, до звона чистая воздушная ширь над ним.

Маман еще не видел этой забавной фантазии природы, поскольку, заложив руки за шею, продолжал потягиваться, хрустя суставами, с закрытыми глазами и распахнутым в зевке ртом. Но, когда открыл глаза, обомлел от изумления. Стоял не шевелясь, точно боялся спугнуть видение.

— Хэ-э! — восхищенно выдохнул наконец и ущипнул себя несколько раз. — Уй-и, атэ!..

Перед ним, будто в сказке, висело безногое туловище рыжевато-красного коня. Через мгновение Маман сообразил, что вовсе и не висит туловище, а просто стоит себе целехонький конь, только ноги его исчезли в непроглядном слое тумана. Конь-огонь! Уздечка на нем изящная, легкая, а к шее привязан небольшой кожаный мешок. И не пустой мешок!

Конь косился на медленно и осторожно приближавшегося к нему человека, наострил уши, повернулся, чтобы удобней было лягнуть копытом, но от пещеры не отходил. Заржал тихо, тревожно, устало.

Услышал Улеб, вздрогнул, мигом слетел с него тяжкий сон. Бросился к щели, не жалея лба. Все разглядел, все понял.

— Жар! Жарушко! — В приглушенном темницей возгласе благодарная радость, удивление, горечь, беспокойство, нежность. Улеб вытянул губы к щели, свистнул трижды. «Спасайся! Беги! Скорей!»

Жар послушно шарахнулся, но не умчался. Закружил меж больших камней, спотыкаясь о скрытые малые. Бегал, гонялся за ним Маман, сам чуть шею не свернул, а коня не поймал. Убежал за подмогой.

Улеб снова свистнул что есть силы. На этот раз Жар покорился сигналу. Метнулся к оврагу, исчез в нем, как крупинка в ковше с молоком. А слева уже бежали, толкаясь в спешке, печенег с арканами.

Прибежали к пещере, а коня и след простыл. Пелена тумана успела сомкнуться за Жаром, снова белая сырость расстелилась ровной гладью.

Улеб наблюдал сквозь щель, как, недоуменно лопоча, суетились по пояс в тумане злые со сна огузы. Они тормозили Мамана: уж не задумал ли тот посмеяться над ними? Великан поскреб затылок, развел руками, шагнул к пещере, отбросил подпорки, отодвинул тяжелую крышку. Выволокли Улеба, облепили, повисли на нем, загремели на всю степь:

— Атэ нирдэ? Атэ нирдэ?

Улеб слов этих не понимает, но догадывается, что спрашивают: «Где конь?» Да разве он скажет! Пусть хоть душу вытряхнут, а не скажет.

Жар, к несчастью, сам себя выдал. Глупышка, он почуял, увидел из укрытия того, за кем, хоть и в отдалении, а все-таки преданно следовал многие версты по

своей и чужой земле. Он поспешил к Улебу с радостным ржанием, позабыв об осторожности.

Петли упали на жеребца со всех сторон. Это печенеги умели, как никто иной. Натянули веревки, ловко поймали беднягу, закричали, довольные, и сразу к мешку кожаному. Вспороли его кинжалами, запустили руки, надеясь, должно быть, схватить драгоценности, и вытащили... охапку мамуровых кореньев да комья болотной руды. Сплюнули с досады, стали запихивать пленника обратно в каменный склеп.

Странно, но Маман почему-то и коня не опутывал, и к росичу не прикоснулся, он задумчиво застыл, опустившись на камень и уставясь под ноги взглядом.

Улеб лежал в темноте как убитый. Уперся кулаками в холодную заплесневелую стену. Молчал. А в ушах не стихали, врезаясь в память, два печенежских слова: «Атэ нирдэ?», «Атэ нирдэ?» — «Где конь?»

Крепко врезались в память те два слова...

Глава VII



фенкел подтолкнул Калокира внутрь баньки, сам шагнул вперед, растворившись в клубах пара, что-то кому-то сказал и, возникнув вновь, выскочил вон, прикрыв за собою дверцу.

Калокир очумело глядел на розовые пятна, мельтешащие, едва различимые в густом чаду. Громко переключаясь, смеясь, стуча кадками, молодые здоровенные россы заполнили развеселое пекло.

Добрую половину баньки занимало странное каменное сооружение. Этот громоздкий, похожий на печь овал примыкал к стене и выходил сквозь нее во двор удлиненным жерлом, в которое снаружи кто-то беспрерывно подбрасывал поленья, поддерживая жаркий огонь. Купальщики то и дело плескали на раскаленные камни воду. Пар шипел и вздымался, ударяясь в потолок, так, что казалось, вот-вот банька взорвется и взлетит в воздух.

Это был сущий ад. Задыхаясь, дионат попятился, осеняясь крестным знамением с таким усердием, како-

го прежде за ним, пожалуй, не водилось. С перепугу он решил, что все слепо в этом вареве. Однако его заметили и, наблюдая, как он крестится, загомонили:

— Смотрите, братцы, важный грек! Точно! Воевода прав!

— А чего это он, а? Чешется, что ли?

— Это матушкин Григорий!

— Нет, другой, братцы! Но тоже черный!

— Ступай сюда, человек! Вот место на лавке! Сымай рубаху!

— Ну-ка помогите гостю!

— Давай, грек, не робей! Небось охота попариться-то с дороги?

Попался патрикий. Совсем скис от такой бесцеремонности, а сердиться — как тут рассердишься, если хохочут дружелюбно, без издевки, суют бадейку, место уступают, подбадривают. Видно, парильня эта им дороже любых ритуалов.

Делать нечего. Сидит одуревший Калокир, полныйправный посол Византии, покорно трет свое пузцо мочалом. Озирается без толку. Ему бы чин чинарем поклон отбить да представиться как положено. Но разве разберешь, где князь, а где кто? Все на лавках в чем мать родила. Голышом — все едины. Бормочет династ растерянно:

— Я высочайшим повелением... Калокир, пресвевт, из... препроводили помимо воли... Высочайшим повелением намерен сообщить...

— Успеется, дорогой гость, успеется. После долгих-то верст нет ничего краше воды, огня да квасу. Потерпит дело, мойся пока в свое удовольствие как дома.

Сказавший эти слова был юн годами, совсем мальчишка, но крепок телом по-мужски. Даже в клубах пара можно разглядеть голубизну его глаз, прямой, чуть приплюснутый нос, гладкое, продолговатое лицо с выпиравшими скулами и подбородком. Простые гриди дочиста выбривали головы. Этот же, хоть и был брит тоже, однако с его макушки свисал локон волос, отличавший знатного родом. Серьга в одном ухе золотая с двумя жемчужинами и рубином посередине.

«Вот он, князь, вот он, Святослав, — догадался Калокир. — Этот человек, еще мальчик, сумел пошатнуть покой нашего трона? Невероятно!..»

Калокир бросил мочало на лавку и устремил на со-

седа полный достоинства взгляд, слегка откинув голову и выпятив губу.

— Ты чего насупился, гость? — спросил юноша, поливая свои плечи квасом и побрякивая от наслаждения. — Я сказал: не робей, будь как дома. Рады тебе. Мы-то вот поспешили сюда, чтобы не в болотной грязи после охоты, а с чистым лицом и телом встретить высокого вестника Царьграда. Всегда рады тому, кто знает и чтит наш обычай. На-ко ополоснись квасом — любо!

— Осмелюсь заметить, — молвил динат, — я привык совершать омовения в бассейне. В мраморной купальне с благовониями. И если бы не препроводили...

— Ха! — прервал его речь Святослав. Широко открыл глаза, точно два голубых кружочка под стрельчатыми бровями. И вдруг, всплеснув руками, разразился смехом: — Ой, шутник! Ай, затейник! Вы слышали, гриди? Ему плох наш квасок! А мы-то, мы старались уважить. Прости нас, молим покорно.

Вокруг, дурачась, подхватили:

— Прости, добрый человек!

— Он, братья, привык к бассейну!

— К благовонию!

— Нехорош ему наш квасок!

— Ай, шутник!

— Я не шутник, — бросил динат простолюдинам, — я посол Святейшего... — И тут его взгляд остановился на Святославе. Князь молчал, и в его глазах Калокир увидел нечто такое, что подбросило его на ноги, затем подломило ноги.

— Ладно, благовонный, встань, не валяйся. — Святослав поморщился. — Мы ослышались. Считай, не поняли шулки-то.

— Да... дай квасу!

— Стало быть, ты прибыл прямо из Царьграда? — серьезно спросил княжич. — К матушке с приветом? Иль ко мне?

— К тебе, величайший, к твоей милости. С тайными вестями.

— Тайные? От пса-ря? Сам прибыл или с челядью?

— Свита моя за обедом. Твоя дева препро... отвела.

— Коням задали корм?

— Я приплыл кораблями. Оставил внизу.

— В них что?

— Один с парадом, каковой положен пресвету в твое государство, в других товар разный. Все больше ткани и медь. Гвозди. Хорошие.

— Добро, пошлю посмотреть после.

— Благодарю тебя, великий князь! Величайший! Справедливейший! Дар привез, не одни вести.

Святослав пошел из баньки в сенцы, где лежала одежда. За ним потянулись гриди. А следом и Калокир, радуясь, что все обошлось, и злясь, что сам себя обрек на унижение невоздержанностью в словах.

Шли через Красный двор. Народ дворовый кланялся князю и дружинникам. Кто помладше — в пояс, кто постарше — склонял голову.

Шли гурьбой, а князь впереди. Одеты в чистое. В длинных, до колен, косоворотках, подпоясанных ремешками, на которых болтались ножики, ключи, огнива и всякие побрякушки, в таких же холщовых штанах. Головы не покрыты, гладки как шары. Многие были безоружны, оставили мечи и луки вместе с лошадьми. Лица пунцовые после баньки.

Калокир среди них в своей рясе — бельмо бельмом. Но зато его оплиты, высыпавшие навстречу во всем параде, сытые, отдохнувшие, сияли панцирями. Динат издал крикнул им что-то по-эллински, те давай колотить мечами плашмя по щитам, стало быть, приветствуют русского князя.

Святослав улыбнулся в ответ, а гриди дружно подняли руки, раскрыв ладони: тоже, значит, поздоровались, одобрили. Служки и роботы, что стояли, склоняясь, по обе стороны ковровой дорожки, и те покурлыкали восторженно под носы для порядка.

На верхушку самой высокой башенки терема вскарабкалось солнце, глядит с любопытством. Оно себе светит да помалкивает.

Выбежала Малуша-ключница, увидела княжича, зарделась, потупила очи свои прекрасные, белой ручкой этак плавно повела, дескать, заходите отведать хлеба-соли в своем дому. Дружно пропели хвалу идола на Перуновом капище громовыми глотками и поспешили, внемля жесту девицы-красавицы, отведывать.

Стали с плоских лотков-сковородок есть дичь, что ими же бита поутру, стали пить мед-брагу, пуская по кругу огромную, как ведро, братницу, стали слушать

бояна-старца, что щипал свои звонкие гусли, восседая на высокой скамье меж столов.

«Варвары, — думал динат, озираясь, — варвары...»

Убедившись, что он предоставлен сам себе, Калокир принялся украдкой изучать окружающих. Это занятие настолько его поглотило, что он даже на время отложил кушанья.

Настороженно-пристальный его взгляд скользил по лицам пирующих. Если бы кто-нибудь внимательно присмотрелся к послу, то, безусловно, догадался бы, что с ним происходит нечто странное. словно бы невзначай поигрывая медальоном, полученным в Константинополе из рук самого Романа, динат осторожно пытался привлечь чье-то внимание к этому знаку.

Пировали в просторной белокаменной пристройке за теремом. Называлась она Большой гридницей.

Длинные доски столов, покрытые цельными скатертями, в несколько рядов тянулись от широко распахнутой двери до самого подножия княжеского престола. Престол — подобие кресла на постаменте с тремя ступенями внизу. У изголовья — щит на двух скрещенных мечах такой выделки, что дух захватывает.

У входа в Большую гридницу по бокам двери стояли в карауле стрельцы. Они вдыхали запахи трапезы и цокали языками. Нахальные куры то и дело подкрадывались на цыпочках, чтобы заглянуть внутрь, но стрельцы службу несли исправно, кричали им: «Кыш!» — и угрожающе потрясали секирами. Куры, разумеется, отступали.

Пришло время вспомнить Святославу о так и невыслушанных тайных вестях из Царьграда. И еще вспомнил про заморские корабли с товарами, что стояли на Киевом перевозе. Сам захотел на них взглянуть, а заодно и выслушать посла дорогой. Подал знак — конец трапезе. Встали гриди, с грохотом отодвинув скамьи, обернулись к нему, разом гаркнули:

— Хвала тебе, внук Рюрика!

А княжич:

— Коня!

Привели под уздцы оседланного белого жеребца княжеского. Со двора по плетеной дерюжке подвели его прямо к престолу. Взлетел Святослав в седло, тронул только коня коленями и, гарцуя, подался из гридницы на площадь.

— Где грек?

— Я здесь, — отозвался дишат.

— Едем.

Калокиру тоже коня подвели. Он не сплосал, вскочил на него ловко, подобрав черный подол одеяния. Со всех сторон слышался приятный его слуху гул одобрения. И княжеский взгляд помягчел.

Из конюшен расторопные служки вели лошадей для дружины и посольских оплитов. Многие воины князя спешно вынимали из седельных сум кольчуги, надевали тут же.

Тронулись шагом за ворота через городище по гати за окольными стенами вниз, к Подолью, к Славуте-реке.

Впереди Святослав с тремя старыми воеводами. Свенельдом, Асмудом и Претичем. Рядом с ними Калокир. А позади этой пятерки, приотстав шагов на двадцать, следовала кавалькада охраны.

Легкие русские всадники в кольчугах, переливавшихся в лучах заходящего солнца, как рыба чешуя, держали копы торчком, и полоскались на ветру разноцветные косицы. Тяжелые, закованные в панцири ромей ехали особнячком, но улыбались на шутки руссов и даже что-то отвечали по-своему, хотя, конечно, ни те, ни эти не понимали друг друга. Оплиты привалили свои копы к плечам острями назад. У всех щиты за спинами. Не враги едут — собеседники.

— Говори, что за вести, — сказал Святослав.

Посол приосанился, откашлялся и торжественно начал:

— Соправитель, Величайший и Неповторимый Роман, сын Константина Порфирородного и внук Льва Философа, грядущий повелитель Европы и Азии, венец василевсов, шлет тебе благодатный привет, ибо все мы, и он, и ты, и мы, и они — все дети Иафетовы! Все мы братие, все племя Иафе...

— Стой! — Святослав замахал руками, едва не уронив поводья. — Говори по-человечески. За привет спасибо. Больше ничего не прислал?

— Два кентинария золота. В дар.

— С этого бы и начинал. Что дальше?

— И еще обещал десять. А то и пятнадцать.

— Хм, за что же? Столько-то зря не посулят, верно, Свенельд?

— Твоя правда, княжич, — отозвался воевода. Двое других, Претич и Асмуд, также закивали головами. Они внимательно слушали каждое слово, наклонившись в седлах, грузные, суровые. — Тут что-то нечисто. Пусть говорит дело.

— Чего же хочет твой цесарь? — спросил Святослав в раздумье.

Калокир, несколько сбитый с толку тем, что его прервали, не дав произнести тщательно продуманное вступление до конца, продолжил свою речь с меньшим пафосом:

— Арабы враждуют с нами, и булгарам, посягнувшим на священные земли империи, неймется. Но не это главные вести, смелый, бесстрашный и справедливый князь. Мне поручено сообщить тебе с глазу на глаз, что задумал Петр, болгарский царь, потеснить тебя. Собирает в Преславе несметное войско. И сейчас уж, нам известно, щиплет Русь с юга, скрыто посылает отряды на Днестр проверить, крепко ли стоишь после ссоры с вятичами.

— Откуда известно?

— Оба сына Петра обучались военному искусству в Константинополе. Оба, особенно Борис, недовольны действиями отца, осуждают. От них обо всем и доведались.

Святослав нахмурился, тень нашла на его лицо. Он осадил коня, замер, задумался. Воеводы сгрудились вокруг. Остановилась и свита поодаль, отгоняя любопытный народ.

Асмуд сказал:

— С юга никакой тревоги не поступало и не слышать поныне. Коли б опять, скажем, зашевелилась Степь, я бы поверил. Даже рад был бы поразмяться, гоняючи степняков. Но с булгарами ныне нету разлада.

Претич сказал:

— Не верю и я. Внизу спокойно. И зачем булгарам с нами биться? Им с ромеями пот не утереть.

Свенельд старше всех, битый-стреляный викинг-варяг прожил жизнь, водил полки и во славу норвежского конунга Харальда Прекрасноволосого, и Игорю служил, а нынче у Святослава, он сказал:

— Ищет Царьград свою выгоду в твоём мече, княжич. Вот мое мнение.

Святослав поднял взгляд на посла. Этот взгляд уже

знаком Калокиру. А на ближних буграх стихли крики толпы. Догадался народ, что произошло нечто серьезное, если уж сам князь потемнел лицом.

— Твоя воля, великий! — собравшись с духом, воскликнул династ. — Я передал тебе что велено, какой с меня еще спрос? А что до слов моих, пускай время докажет. Есть заговор в Преславе, и на деле должно подтвердиться.

Ничего не сказал Святослав, повернул коня, хлестнул плеткой по белому его боку, помчался обратно к Горе. Дружинники поскакали за ним, поднимая пыль. И ромейские оплиты, не разобравшись, в чем дело, понеслись назад следом. Калокир не стал их окликать.

Приблизился Калокир к замешкавшемуся посреди дороги Претичу, спросил:

— Сестру во Христе, княгиню вашу, где найти?

— Матушку, что ли, Ольгу? Она в Угорьском в летнем дворе. Во-он туда. Но тебе не войти без провожающего.

— Вот мой пропуск! — заявил Калокир, извлекая крест.

Претич пожал плечами и поскакал догонять Святослава, и отпрянула от его коня сомкнувшаяся было толпа зевак.

Калокир сначала направился к перевозу, туда, где возвышались изогнутые носы трех его судов. При его появлении никто из валявшихся на песке, разомлевших от безделья солдат, оставшихся при кораблях, не поднял головы. Кое-кто из них играл в кости. Судя по всему, они успели обвыкнуться здесь. Сарам коптил над хвойным костром двух жирных лещей, нанизав их на обструганную ветку.

Вскоре династ уже ехал рысцой по направлению к сельцу Угорьскому, с удовольствием выслушивая писклявые стоны и причитания хилого евнуха, которому велел сопровождать себя. Вместо лакомой свежеекопченной рыбы Сараму достались дорожные кочки.

Какой-то человек, с виду княжеский дружинник, вынырнул из придорожного кустарника. Калокир резко придержал лошадь, и Сарам, мысленно произведя незнакомца в ангелы, перевел дух.

Почесывая ушибленное место пониже спины, куда пнул его династ, отсылая в сторону, и всхлипывая от

усталости и жалости к самому себе, Сарам издали наблюдал за ними.

— Нет, это не ангел, — сказал себе евнух, приоткрывшись к незнакомцу. — Не ангел, а скорее наоборот. Прости, господи!..

Вот Калокир показал незнакомцу медальон. Тот в ответ тоже вынул какую-то поблескивающую вещьцу. Оба, судя по всему, были рады встрече. Этого уже Сарам не мог понять. В самом деле, что хорошего и тем более радостного нашел именитый династ из Фессалии во встрече с воином-варваром? И о чем так оживленно и вместе с тем опасно озираясь по сторонам, говорят они, столь неравные люди? Что у них общего?

«Так вот почему пресвет империи шатается без охраны, — думал евнух, — он искал этой странной встречи без свидетелей. Гм... меня, как видно, всерьез не принимает».

Сарам тер лоб, скреб затылок, щипал подбородок, но все равно не мог вспомнить, где встречал этого человека или, по крайней мере, что напоминало ему его лицо.

И вдруг евнуха осенило: он похож на Калокира! Та же самая физиономия, что достаточно намозолила глаза Сараму за долгие годы службы династу.

Что-то лисье было в облике незнакомца. Казалось, это не человек, а лисица, ряженная в одежду людей. На сильно вытянутом лице мельтешили маленькие выпуклые глазки, точно перекатывались две горошины.

«Хи-хи, сошлись, красавцы, нос к носу, — злорадно ухмыляясь, подумал евнух. — Интересно, о чем шепчутся? И что это мой распрекрасный господин сует ему? Неужто золото? Лопну от любопытства. Ой, а куда девался тот? Так и есть, обратно прыгнул в кусты, ветки колышутся. Я сам прыткий, но такого еще не видывал. Канул, будто и не было вовсе. Ох и ловкий мошенник при здешнем владыке!»

Размышления Сарам прервал окрик Калокира, и он покорно подбежал к хозяину, заранее охая и ахая. Они продолжили столь неожиданно и загадочно прерванный путь.

В село вопреки ожиданию проникли легко.

Чистый, опрятный двор был обнесен кое-где частоколом над гробей, кое-где плетнем, каждый кол которого обвивали цепкие стебли ползучих растений. Чув-

ствовалось, что тут царство женщин. Только вдоль южной ограды, где был главный вход, в ложбине перед крутым курганом Аскольдовой могилы прохаживались молодые лучники.

Юноши-лучники обернулись на скрип калитки и без тени любопытства или удивления, ничего не спросив, проследили лишь за тем, чтобы пришельцы не перешагнули черту непонятно от кого и зачем охраняемого старинного могильника-жальника.

Подобно тому, как восседали на скамьях Красного двора на Горе почтенные старцы с посохами, здесь так же, нахохлясь, точно наседки, восседали знатные тетки с прислужницами. На чем восседали, понять трудно. Скорее всего на скамьях, только скрытых под широкими, раскидистыми, словно хвастливо разостланными тканями и оборками. Ну чисто торговый ряд под навесом из дранки! А навес-то покоился на высоких резных столбах и, видимо, служил укрытием посиделок от жары или дождя.

Оставив лошадь на попечение первой встречной робы, Калокир с напускной смиренностью, точно попал в женский монастырь, приблизился к боярыням. Сарам за ним.

— Мир вам, женщины! — поздоровался динат.

— Мир вам, женщины! — пропищал и Сарам, повторяя и коверкая непонятные для него слова приветствия.

Калокир сердитым взглядом отогнал Сарам прочь, чтобы не вмешивался куда не просят. Тот уныло поплелся к плетню, устроился там, присев на корточки, поглядел, поглядел по сторонам и заклевал носом.

Чинно поклонившись, боярыни с любопытством смотрели на Калокира. Одна, что поближе, спросила:

— Чего тебе надобно, человек?

— Я послан к вашей княгине Властелином вселенной. Много дней и ночей добирался. Велите узнать, примет ли.

Одна из прислужниц бросилась к терему.

— Говоришь по-нашему, уж не из наших ли будешь? — спросила все та же боярыня.

— Нет. Гостил здесь прежде.

— А тот, второй, чего писклявый?

— Он евнух, — дината смутил неожиданный вопрос. — Мой отец, великий воин, давно купил его у ка-

кого-то сирийца. Или отбил. Не знаю. Сарам служит верно и не глуп. Советуюсь с ним иногда. Я им доволен, не обижаю.

— Экий, — рассмеялась она, — похваляешься, что он советчик тебе!

Динат смутился пуще прежнего.

Вскоре его пригласили в покои. Он ушел, шаркая сандалиями под длинной, непривычной для него рясой, а боярыни смотрели ему вслед, сочувственно шептали наперебой:

— Еще одного принесло, беднягу, полоумного.

— Этот потолще Григория будет и моложе.

— А все ж лицом нездоровый.

— Григорий-то наш как-то сказывал, будто есть такие из этих, из ихних, что в черне ходят, которые сами себя в ямы сажают, никуда не отлучаются всю жизнь. Кузнечиков да мух наловят, засушат и выкушают. Или воды пригоршню хлебнут — вот и вся еда. А чтобы не хотелось еще чего, железо на себя повешают, чтоб болело и отвлекало.

— И этот, не иначе, мух наелся, сердечный, очень уж плох лицом.

Калокир же, минуя двух расступившихся юных стрельцов, вошел наконец в большую комнату, всю увешанную коврами и метелками душистых трав, и сразу различил княгиню среди прочих, хоть и не видел ее никогда прежде.

— Привет тебе, сестра! Привет, Елена! Я донес его через тысячи стадий, рискуя телом, но не душой! Я спешил к тебе, не жалея ног!

— Здравствуй, — сказала Ольга. Поклонились и остальные. — Ты спешил ко мне, но успел заглянуть к моему сыну и даже омрачить его мимоходом. Тайны швыряешь налево-направо, говорят. Ну и ловок!

Калокир подивился: когда успела узнать? Но не выказал и тени растерянности. Напротив, продолжил с еще большим подъемом:

— Да пусть вспомнится тебе слово, данное Порфиородному! Снова ждет тебя Священный Палатий! Скоро ль, узнать поручено, исполнишь обещанное?

— Жива буду, наведуясь, может, после зимы. Так и передай в Царьграде.

Динат изобразил ликование. Даже промокнул под конец сухие глаза широким рукавом рясы якобы от

избытка чувств. И, не найдя больше, чем бы еще выразить восторг, застыл перед ней, прижимая руки к груди.

— Что Константин, дышит еще брат мой вечный? — спросила.

— Дышит! Дышит, сестра! — А про себя добавил: — «На ладан дышит, чтоб ему...»

— Слава богу, — сказала.

Ольга была уже в годах. Статная, все еще крепкая, белолицая, с большими влажными миндалевидными глазами, над которыми изгибались, как крылья, темные и широкие брови. Длинные, с пробором от середины высокого чела волосы, помазанные душистым маслом, ниспадали на атласные одежды, вышитые, усыпанные камешками. На руках мерцали жемчужные опястья и голубыми нитями сплелись жилки под тонкой кожей. Взгляд ее твердый.

— Сыну твоему славному, это верно, принес тревожные вести... — начал динат.

Но она оборвала:

— Знаю. Сам-то добрался благополучно?

— Спасибо, сестра. Вот только... коня не подали к кораблю. Ноги со свитой бил, пока добирался от реки до Красного двора.

— Не беда, — сказала с усмешкой. — Я в Царьграде, помню, больше твоего намаялась. Сколько стояла на приколе перед цепью Суда *, знаешь? Я, великая княгиня. Да ты не ерзай, обиды не затаила. Давай уж рассказывай, что там у вас нового. Все рассказывай, подробно. Сядь.

Калокир повиновался. Полилась неторопливая беседа. Дотемна. И на другой день к вечеру позвала его, расспрашивала. И на третий.

Сытно и хмельно было Калокиру, катался как сыр в масле в теремке. И Сараму нравилось, тоже «катался», только пониже этажом.

Так прожил динат ровно семь дней на Ольгином дворе.

За семь дней с помощью пройдохи евнуха ловко и выгодно распродал весь товар, что был на кораблях. Весь, без остатка. Медом и воском нагрузил свои суда. Стал подумывать: не засиделся ли?

* С у д — название гавани у Константинополя.

Оплитам на Горе жилось вольготно и затейливо. Кое-как приноровились объясняться с местными то запомнившимся словом, то жестом. И не подтрунивали над ними даже детишки, привыкли, не дразнили немыми. Киевские воины брали их с собой на боевые игрища и ученья, носились вместе по лугам, похвалялись друг перед другом ратным искусством. Россы все больше и больше нравились ромеям. Динат заволновался.

Но вот на восьмой день чуть свет, едва пропели первые петухи, прискакал к Ольге с Горы дружинник, с ходу перемахнул через плетень, простучал его конь по двору так, что мигом высунулись в окна тетки.

Гонец у крыльца сложил ладони рупором и давай кричать:

— Где посол? Святослав кличет! Живо!

Скоро был Калокир у знакомого престола в Большой гриднице.

Святослав на престоле сидит туча тучей. Воеводы сидят пониже княжича, тоже хмурые. Малая дружина у стен толчется, шепчется. Мрачны гриди, глазами сверкают, руками мечи трогают, будто рвутся куда-то, устоять не могут на месте. Где-то рядом тихонько так голосит скорбница, и не видно, где она, плакальщица, и кто на нее шикает, велит замолчать.

Калокир вошел ягненком, дескать, не понимает, в чем дело. Ударил челом у престола. Краем глаза заметил загрязненные, должно быть, дальней дорогой сапоги какого-то юноши, всклоченного, исцарапанного, в изорванной на лесных тропах одежде.

Святослав сказал юноше в испачканных сапогах:

— Повтори все слово в слово.

— Я Боримко, коваль из Радогоща, что в низовьях Днестра-реки, в земле уличей, — возбужденно заговорил тот. — Только нет уже Радогоща... Нету! Воротясь домой с Пересеченского торго, мы нашли на берегу пепел и руины, мертвых родичей и поруганные божницы. Все разбили, пожгли, все разграбили подлые. Ушли, но оставили трех своих, мертвых. Тех злодеев сразил мой побратим, Улеб, сын Петри. Больше некому: он один остался в селе с женками, стариками да подколением. А его самого, Улеба, не нашли. И девушек трех, и малых ребят. Вот платье и секиры злодеев. Я привез их сюда. Заступись, великий князь! Не прости!

На полу у ступеней престола лежала груда тряпья и

секиры. Среди гридей, глядевших туда, куда указал Боримко, новой волной прокатился грозный ропот.

Святослав повернулся к динату,

— Что скажешь на это, грек?

Калокир помедлил с ответом, смотрел на привезенные юношей-уличем вещи, потом произнес со слезой в голосе:

— Что мне сказать, все уж сказано. Несчастный отрок не обманул тебя. И привез он одежду и оружие, сам видишь, болгарские.

— Ладно, — молвил Святослав и вновь обратился к юноше: — Улебом, говоришь, звали пропавшего. Видно, был добрый молодец, коли сам уложил троих. Моего младшего брата, княжича, тоже Улебом зовут, он гостит нынче в Новгородской земле на Ильмень-озере, мой троих не уложит... А скажи-ка, храбрый Асмуд, чьи дозоры на Днестре?

— То граница светлого князя уличей, — ответил воевода.

— Куда он смотрел, о чем думал в Пересечене! Он посмел проглядеть разбой в наших землях! Как позволил поднять подлые руки на Рось! Кому?

— То были болгары, — сказал Калокир. — Они вошли в Днестр. Воля твоя, великий князь, но поверь, я спешил сюда не ради торговли. Ах, великий, сердце мое сжалось от сострадания к этому несчастному отроку. — И он устремил на Боримку жалостливый взгляд, поднеся рукав к глазам. — Бедные, бедные, горе вам вдали от княжеского щита!

А Боримко князю:

— Наши мужи все ушли, подались вверх по реке, испивши горюшка. Куда бросаться с отмщением, неведомо: кругом глухой лес да вольные поля. И нету чужого следа. Я же, господин мой великий, заступник, поспешил к тебе не с одной жалобой, я давно хочу стать под твоею рукой. Испытай, коли нужно, только возьми в дружину. Сослужу верой и правдой, не уроню щита и чести!

— Ладно, — тихо сказал Святослав, — это после.

— Одного никак не пойму, — вдруг заметил Свенльд, — почему эти трое остались лежать на пепелище? Ведь смогли же злодеи увезти с собой наших, а своих, выходит, оставили? Нет, тут что-то нечисто.

— Не успели, наверно, — подсказал Калокир. — Да

и, возможно, ночь была, всего не заметишь по-горячему. Воры чаще ночь выбирают.

Святослав поглядел на него, словно видел впервые, будто позабыл о его присутствии. Динат торопливо откланялся, пошел к двери мимо расступившихся дружинников, среди которых мелькнула ушастая, безбровая физиономия Лиса. Здесь послу уже делать нечего. Все, что нужно, содеяно.

Уже у самого порога динат расслышал, как молвил Святослав кому-то за его спиной:

— Позвать сюда тысяцкого Богдана!

— Собрать вече, князь? — спросил Претич. — Булгары не немцы какие-нибудь, тут уж потребует люд объяснения.

— Вече! Вече! — подхватили голоса.

— Нет! — вскричал Святослав. — Снаряжу гонца к Петру в Преслав. Богдана ко мне!

«Снаряжай, посылай, — молвил динат про себя, пересекая Красный двор, направляясь к выходу на Малую улицу и к Лядским воротам, за которыми ждала его прямая дорожка к берегу. — Посылай гонца, так-то лучше. Пусть он попробует туда добраться...»



Глава VIII

леб уже потерял счет дням. Он уже не смотрел в щель, за которой гуляли ковыльные волны, дымили костры, шумели голоса и сиял солнцем или мерцал звездами небосвод. Он царапал в тоске бесчувственные липкие камни, в бесильной ярости рвал на себе одежду. Порою впадал в забытье, теряя счет времени, лежал, уронив голову на руки, ждал.

И дождался.

Как-то раз слышались шаги, закрипела крышка, откинулась. Внезапно хлынувший свет на миг ослепил его. Чьи-то руки поволокли его наружу. Он и сам торопливо выполз, встал на дрожащие ноги, стряхнул с себя чужие руки, распрямился до боли в занемевшей спине, озирался, словно не верил перемене.

Прямо перед ним и с боков — настороженные нако-

нечники копий. Совсем рядом. Острия нацелены в него. Это были огузы из свиты усатого человека в меховой перевязи, с серебряными бляхами и подвесками, в круглом и низком, как перевернутая чаша, шлеме без наверхия, надвинутом до бровей.

Властелин степняков восседал на прекрасном стройном коне, губы которого еще кровоточили, бока и круп пересекали следы от бича, гибкая лебединая шея была понуро опущена, а заплетенная кем-то в косички светлая грива стелилась по траве. Усатого звали Курей. Конь под ним — Жар.

В стороне от печенегов, точно не желая смешиваться с ними, стояли неведомые люди. Они сверкали своим металлическим убранством, с дивных ребристых шлемов свисали разноцветные перья. Их длинные, украшенные пестрыми лентами и значками копыя не ровня печенежским.

Особой роскошью и горделивостью манер отличался среди них молодой, но дряблый и бледный лицом, с одним лишь коротким мечом на поясе и с заброшенным за наплечники шелковым плащом сутулый воин. Как видим, Калокир вновь сменил рясу на одежду воина.

— Назови свое имя.

Улеб вздрогнул. К нему обратились на родном языке! Уж не ослышался ли? Может быть, это кто-нибудь из своих? Может, пришли на выручку из каких-либо дальних мест родины, где принято так одеваться? Пришли выкупить? Но нет... За своих россы спрашивают кровью. И не носят одежд как у немцев. Это чужие.

— Назови свое имя, раб!

— Кто здесь раб? — спросил Улеб.

— Твое имя! Отвечай!

— А кто ты?

Брови динаата полезли на лоб. Он завопил:

— Знаешь ли, перед кем стоишь! Ты! Раб! Отвечай, не то рассеку надвое! — И он ухватился за меч.

— Я не помню, кто я, — ответил Улеб сквозь зубы. — И не знаю, кто ты, говорящий моим языком. А меча твоего не страшусь, нет тебе пользы в убитом.

Улеб не боялся смерти, да и не ждал ее от оружия этого незнакомца. Не для того берегла и кормила пленника Степь, чтобы какой-то пришелец зарубил его ни за грош. И все-таки, опомнившись, решил зря не рисковать, дерзя рыцарю. Замолчал, будто смирился.

Каложи́р же монет на ветер не бросал. Хоть и вспыл, да вспомнил, что за убитого пришлось бы раскошиться перед Курей. Видя, что юноша опустил глаза, он отступил на шаг, выпятил губу, поморщился и не без тайного умысла пробормотал:

— Подсовывает мне полоумного. У этого дохляка, наверно, не только память отшибли, но и вытряхнули последние силенки. Где уж такому весло толкать, едва держится...

Улеб вспыхнул. Все ясно, этот богатый человек специально пришел за ним, но разочаровался. Нельзя допустить, чтобы снова его затолкали в пещеру и обрекли на постылое одиночество. Уж лучше сейчас попасть к этому, чем остаться у огузов на бессмысленную гибель. А разум затмила обида на брань, и запылали щеки юного кузнеца, не стерпеть, что называли его слабым.

— Я не заморыш!

Он схватил два из направленных на него копий за древка, зажав под мышками наконечники, откинулся телом, изогнулся, напрягшись, и на противоположных концах толстых и крепких копий взметнулись вверх, дрыгая ногами как лягушки, сразу два печенег. Улеб держал их на весу, а они от неожиданности верещали и все дрыгали ногами, пока не догадались выпустить копьа и не шлепнулись на землю.

Все вокруг: и огузы и чужестранцы — только ахнули. Куря позеленел от стыда за своих опозорившихся воинов, рука его потянулась к сабле, но тут же изменила направление, ловя тугой мешочек, брошенный хохочущим Калокиром.

— Беру! Беру его! — воскликнул дина́т. — Еще таких давай, не поскуплюсь! — Он подал оплитам знак, и те повели Улеба, набросив на него кожаные петли, мимо оврага к берегу.

— И коня возьми! — кричал Улеб, силясь обернуться. — Длинноусый сидит на моем коне! Возьми коня! И всех наших! Выкупи-и-и!

Оплиты волокли Улеба, не обращая внимания на его отчаянные крики, не понимая их смысла. Уже далеко позади остался тот, к кому зывал юноша. Вот уж и море синее во всю ширь. Улеб упирается, его толкают, тащат, а он все еще бормочет, пытаясь объяснить с конвоирами:

— Заберите всех, выкупите... сестрицу мою выкупите, люди... И коня, Жарушку, отберите у степняков... Они, как воры, схватили его, говорили «Атэ нирдэ»... Я запомнил... Куда вы меня уводите? Зачем? Ох люди!..

Оплиты с Улебом исчезли за горбами холмов. Проводив их взглядом, Калокир призадумался. Он расслышал то, что кричал ему Улеб. «Значит, — думал дина-т, — во время набега печенегам достался не только этот силач, а еще кое-что, чего они или не успели, или не хотят мне показать».

Никого и ничто из захваченного на Днестре нельзя было оставлять здесь, вблизи Руси. Мало ли что, рассудил Калокир, вдруг сбежит кто из похищенных и все откроет своим. Или еще какие обстоятельства позволят Святославу добраться до правды.

Палатий не простил бы послу провала. Не дай бог!.. Нет, нет, каждая живая душа, всякая вещь с Днестра, попавшая в Степь, — вероятный риск. Но как это объяснить кагану, если толмача Дометиана съели рыбы, а от жестов и ужимок, как он убедился, слишком мало толку.

— Хороший у тебя конь, Черный князь! Заклевали б вороны... Хороший конек, лучше твоего прежнего, — говорил Калокир смесью из русских и эллинских слов, коверкая их, как ему казалось, на печенежский лад, будто от этого они могли стать понятными степняку. — Я знаю, что его привез Мерзя оттуда. — Динат указал рукой на север. — Я должен его забрать. Должен забрать все, что оттуда, понимаешь?

— Э? — сказал Куря.

— Отдай, говорю, все, что захватили. Сколько хочешь?

— Э?

— Тебе говорят, тащи все и всех, я увезу подальше от греха!

— Э?

— Бэ! Тьфу!.. Господи, прости и огради меня! — Не переставая браниться под нос и вздыхать, дина-т вытащил из-за пояса новый мешочек, извлек из него пригоршню монет, сунул их кагану, затем потянул к себе за уздечку коня, давая понять, что покупает не торгуясь.

Куря соскочил с седла, упрятал золото в меховушку поглубже, засеменил к ближайшему подданному, спих-

нул того наземь, проворно взобрался на лохматую его лошаденку и выжидающе уставился на дина́та.

Больше часа, запарившись вконец, Калокир размахивал руками и корчил рожи, чертил пальцами в воздухе немыслимые зигзаги, становился на четвереньки, изображая будто бы попавшихся в аркан домашних животных, вскакивал и, согнувшись в три погибели, медленно, волоча ноги, кружил меж камней, подражая связанным пленникам, при этом для пущей убедительности делал вид, что рвет на себе волосы (хотя, как мы знаем, рвать-то у него почти нечего) и содрогается под воображаемой плетью, потрясал мешочками, которых, надо сказать, за его поясом было достаточно, чтобы разбудить сообразительность десятка безголовых.

Короче говоря, всеми доступными способами он старался втолковать Куре свое желание. Причем теперь он не просто поругивал себя за преждевременное избавление от переводчика, а казнил себя в мыслях. Теперь едва ли не скорбил по Дометиану, как по родному.

В конце концов его пантомима увенчалась успехом. То ли помогли красноречивые жесты, то ли сделали свое звонкие мешочки, так или иначе — Куря догадался, чего от него хотят.

Увидев русских полонянок, дина́т ахнул. Он, не раздумывая, дал кагану за них вдвое больше запрошенного. Монеты отсчитал вслепую, не в состоянии оторвать глаз от Улии, настолько его поразила ее красота.

Между тем оплиты доставили Улеба на один из кораблей. На торговый, не на хеландию. Он так и не узнал о том, что Калокир выкупил и коня, и остальных пленников. Сердце юноши сжалось, и он с отчаянием думал: «Конец... разлука... Меня увезут, а они останутся, и я ничем не смогу им помочь. Никто из наших не видел, как увезли меня, никто не узнает, что со мной случилось. Сестрица моя, милая Улия, увижу ли тебя еще? Смогу ли когда-нибудь отыскать и спасти?..»

Корабль был большой, каких еще Улебу видеть не приходилось. Шагов двадцать пять в длину и не меньше восьми в ширину. Такой же, как и второй, покачивавшийся поодаль, и только, пожалуй, уступал размерами третьему, на котором еще с берега он заметил отряд вооруженных воинов.

Все чрево корабля, надстройки кормы и носа были завалены тюками и ящиками, бочками и мешками. Над

складами вдоль обоих бортов тянулись дощатые помосты, поддерживаемые снизу четырехгранными тесовыми стояками.

На этих помостах были узкие подобия скамеек, и сидели на них обнаженные люди по двое почти в каждом ряду возле круглых, обитых по краям толстой кожей отверстий в бортах. Скованные цепью люди понуро сидели, сложив руки на втянутые внутрь весла.

Надсмотрщики надели железное кольцо на щиколотку Улеба, предварительно обмотав железо тряпичей, чтобы не терло ногу. Затем подрезали его волосы, обрили половину головы, содрали рубаху, вернее остатки рубахи, и Улеб стал похожим на остальных гребцов.

Низко над головой нависли поперечные балки, на них от носа к корме были проложены доски. Четыре толстые доски шириной в два локтя каждая. По ним кто-то прохаживался.

Свет проникал сверху и через весловые отверстия. В белесых полосах неба парили чайки, а справа сквозь дыру была видна колышущаяся зеленоватая с пенистыми прожилками вода.

Улеб взглянул на соседа слева. Глаза недвижимого чернокожего раба были закрыты. Лоснящийся, как и все его мускулистое тело, выпуклый лоб упирался в кисти рук, скрещенных на гладкой, отполированной ими же поверхности круглой и толстой, как бревно, рукояти весла. Время от времени он проводил языком по потрескавшимся губам, и поэтому было ясно, что он не спал.

Переведя глаза на другого, Улеб встретился с полным сочувствия и дружелюбия взглядом. Ни малейшего намека на уныние не было на подвижном смуглом и юном лице того, кто всем своим видом явно хотел ободрить нового товарища.

Лицо это было прекрасно. Это было лицо умного, веселого от природы, неунывающего и смелого человека, который не верил в бесконечность беды.

Улеб невольно расправил плечи. В темных глазах незнакомца он увидел отражение своих надежд. Он словно ощутил невидимые нити, протянувшиеся, подобно узам союзников, между ними. С его уст готов был сорваться благодарный возглас, но тот, темноглазый, предупредил его порыв, указав красноречивым взглядом на удалявшихся с плетями в руках надсмотрщиков. Разговаривать гребцам строжайше запрещалось.

Когда надсмотрщики спустились по лесенке с помоста к основанию мачты и там, прислонясь к брускам ее «гнезда», уселись в тени на своих подушках среди тюков и бочек, юноша чуть слышно шепнул Улебу, ткнув себя в грудь:

— Велко.

Улеб тоже назвался шепотом. Оба тут же, чтобы не вызвать подозрений, отвернулись в разные стороны, хотя Улебу не терпелось узнать, смогут ли они вообще понять друг друга, смогут ли обменяться еще хоть какими-нибудь словами, кроме произнесенных имен.

Вскоре желание поговорить с Велко позабылось на время. Наверху слышались отрывистые команды. Надсмотрщики, развалившиеся было на подушках, вскочили и, задрав бороды, тоже закричали что-то. Гребцы встряхнулись, принялись торопливо высовывать весла наружу, за борта до тех пор, пока медные набойки не уперлись в края отверстий.

Размахивавший плетью Одноглазый уже был там, где сходились помосты, а его напарник, оставаясь внизу, вытянул одну руку в сторону левого борта, другой же, схватив колотушку, принялся бить в литавру, задавая ритм, и гребцы по левому борту разом навалились на весла, корабль покачнулся и начал разворачиваться.

Улебу казалось, что стучит не литавра, а его собственное сердце. Мысленно он прощался с родиной, с отцом, с Радогощем, с сестрицей, снова и снова клялся вернуться, отомстить, спасти.

И не знал он, не ведал, что на другом корабле, обливаясь слезами, Улия тоже прощалась с родимой стороноюшкой и с ним. И ее увозили на чужбину, и думала она, что оставляет в Степи любимого брата.

Плыли иплыли...

Когда караван достиг маленького островка, возвышавшегося как раз против устья Дуная, все три судна причалили к безлюдному клочку суши. Одни ромейские воины отправились к реке на легких плотах, чтобы пополнить запасы пресной воды. Другие с луками высадились на материк пострелять дичи. Третьи просто разминаясь на тверди островка.

Каменистые неровности островка кое-где были покрыты чахлым кустарником и обожженными пучками трав. Неподалеку на ровной по краям и с углублением

посредине площадке смеющиеся оплиты толпились вокруг того самого бледнолицего и носатого господина, что выкупил Улеба у степняков. Писклявый старик под одобрительный гомон солдат подбрасывал короткие деляшки, а бледнолицый господин рассекал их мечом на лету и самодовольно косился на зрителей.

Наблюдавший все это вместе с Улебом, Велко первым отодвинулся от отверстия и неожиданно произнес:

— Стадо ослов. — И тут же, вздохнув, сам себе возразил: — Нет, в бою все они достойные, знаю...

Обрадовавшись славянской речи, Улеб тихо спросил:

— Ты кто?

— Я болгарин, — ответил Велко, — из Расы. А ты?

— Днестровский улич, кузнец.

— Был кузнец, — криво усмехнулся Велко. — Я тоже был когда-то чеканщиком. Потом ушел в войско. Лучший лучник среди юнаков. Был, а теперь вот...

— Я здесь долго не задержусь, не таков я, — горячо прошептал Улеб.

— Известно, не останешься. Приплывем в Константинополь, всех, наверно, распродадут. Или на другой корабль попадем.

— Как ты попал сюда, Велко?

— Ромеи взяли в бою. Раненого. А тебя, как я понял, обменяли на наших?

— Тоже взяли в бою. Подло. Но не эти, а печенеги. Потом уже продали тому носатому. Насиделся в темнице с ящерицами...

— Нет, нет, Улеб, тебя, наверно, обменяли на наших. Непонятно, правда, какой в том смысл, но обменяли.

— Почему так думаешь?

— Было тут три болгарина, их кормили досыта, держали внизу, не на веслах, а когда стали у печенегов, их связали и увели. В столицу вашу плыли уже без них. На обратном пути снова стали у печенегов, тебя привели, а их нет. Обменяли, значит.

— Носатый дал степняку золото за меня, сам видел. — Улеб вдруг задумался, напрягая память, промолвил: — Постой-ка, Велко, погоди-ка... кажется, я припоминаю... Ну да, заметил той ночью... когда напали, троих в лодке, связанных... и стрела вашей работы, дунайской...

— Ляг, Улеб, отдохни. Видно, совсем надорвался с непризычки, заговариваешься,

— Не в этом дело. Просто... ладно, не в этом дело. Слушай, кто этот человек? Мне кажется, он захворал.

Велко глянул на спящего негра, вздохнул и пояснил:

— Его зовут Даб. Больше ничего не знаю. Как попался, откуда, за что, неизвестно. Он не понимает нашей речи. Без тебя совсем худо приходилось; двоим толкать весло — хуже не бывает. Хороший он человек, очень сильно тоскует по воле, глаз не поднимает. А может, и болен.

— Говоришь, были в самом Киеве... Чего же ты нашим-то не крикнул? Ух, задали бы наши ромеям!

— Тсс. Тише, ты не дома.

— А если перепилить цепь? — Улеб потянулся к кольцу на щиколотке, ощупал его. — Перепилить бы, освободиться всем и ночью перебить стражу, захватить корабль.

— Чем перепилить? Если бы даже удалось, все равно не ушли бы, военный корабль в два счета догонит.

— Так не убегать же! Ударить! Перебить всех! Бить!

— Тише, тебе говорят. На словах все просто. С военного корабля метнут из труб греческий огонь, только подойди — вспыхнешь и ахнуть не успеешь. И чем собираешься с ними биться? Голыми руками? И я не трус, да головы не теряю. Ты меня слушай, я воин, ты нет.

— Эх, Велко, я-то подумал, что в тебя можно верить...

— Ты меня не понял, брат. Не горячись, Улеб, если хочешь свободы. Я сам только и думаю о ней. Но сейчас мы в одной цепи, ее не разорвать, сам видишь. И нет лучника искусней меня.

Улеб положил руку на плечо Велко в знак признательности за дружбу. Этот добрый жест смутил юного булгарина. По его плечу, привыкшему к болезненным прикосновениям плети, прошла дрожь. И не столько добросердечность тронула Велко, сколько то, что Улеб не побоялся открыто ее выразить.

Плоты с ромеями, ходившими в реку за питьевой водой, воротились. Под гнусавый сигнал буксина оплиты потянулись на корабли, прекратив шумные забавы. Остров опустел.

— Весла-а!

И снова всплески за бортами, глухие удары литавр, крик чаек, человеческий стон и соленый, как море, пот.



режде чем благословить Богдана в трудный и далекий путь, юный князь долго о чем-то с ним беседовал взаперти.

Утром в тереме еще не толкалась, не сутилась челядь, был слишком ранний час. Однако стоявший на страже у входа в главную княжескую горенку воин опасно косился по сторонам, прижимая большое свое ухо к двери и прислушиваясь к тому, о чем говорили Святослав и тысяцкий. На безбровом, вытянутом, как лисья морда, лице подслушивавшего отражалась то досада, то радость в зависимости от того, достигали слова говоривших его слуха или нет.

Судя по тому, как часто прекрасная Малуша бегала за угощениями, княжич придавал разговору с Богданом особое внимание. Никто, кроме любимицы Святослава, не был допущен в покои, и это обстоятельство подчеркивало тайный характер беседы.

Как только девушка появлялась с очередным подносом или кувшином, стражник по прозвищу Лис, отпрянув от двери, принимал отрешенный вид. Но стоило ей скрыться за дверью или сбежать по лавинкам вниз, он снова весь внимание.

Малуша дверь-то в последний раз прикрыла неплотно. Лис отчетливо расслышал:

— Коли разобраться, Петр хлеб ест не отцовский, на своем сидит. Нет ему от Царьграда покоя. — Говорил Святослав в раздумье. — Ромеи, понятно, об утерянном помнят. Понятно, что и болгары землю свою утверждают. Всяк владыка для себя мыслит...

А Богдан, помолчав, заметил:

— Знаю твои думы, знаю. Хоть и всяко бывало... А и греки нам не доброхоты, княжич, нет.

Святослав ему:

— Что греки? Им персы-арапы боле поперек, от них грекам главная забота исстари. Нас же опасаются и чтят. Потому и норовят поставить над нами своего бога. Батюшка мой, хоть и ходил на греков, да после поладил, печатью скреплял с цесарем великие любы. Как не чтить им запись заручную, Игореву. Не посягнут на нас, не посмеют. А болгары, стало быть, дерзнули.

— Да... Радогощ разорен. Грек сказал правду.

— Я хочу на Дунай идти.

— погоди, княжич, я все разведаяю. Узнаю помыслы болгарского господаря.

— Скачи в Преслав нунь же, не медли. К осени жду. Возьми с собою мой знак. Бери-ка, повесь на шею и не снимай.

Вот за дверью раздался стук отодвигаемой лавки, слышались шаги, дверь распахнулась, и Богдан вышел на галерею, освещенную утренним светом сквозь высокие окошки. Тысяцкий еще раз поклонился, затворил дверь и, даже не взглянув на невозмутимо застывшего стражника, стал торопливо спускаться вниз, во двор, придерживая на груди княжий знак — медвежий клык в золотой оправе на тонкой цепочке.

Лис слышал, как выводили Богдану коня, как тихо прощался он с двумя-тремя гридями, оказавшимися в эту раннюю пору на Красном дворе, как удалился и затих конский топот.

Голова Лиса отяжелела после бессонной ночи, руки, сжимавшие копье и щит, слегка дрожали, но он все еще напряженно обдумывал свое, терпеливо дожидаясь смены.

Когда Богдан уже оставил за спиной окольные стены, ворота и мост через гроблю, по Белградской дороге пересек Поле вне града и, миновав Близкий лес, свернул налево, на проселочную тропу, направляясь к лежавшему за многими верстами между Киевом и истоками Рось-реки городищу, где в первый раз должен был сменить коня, Лис дождался отдыха и, проспав до полудня, отправился в погоню.

Лис знал, что сможет увидеть тысяцкого там, где нужно ему. Он все рассчитал. Богдан не станет гнать коня, ибо князь велел не поднимать переполоха бешеной скачкой (коварный стражник слышал тот наказ собственными ушами), а будет двигаться хоть и расторопно, однако не привлекая к себе особого внимания.

Лис торопился. Он не задерживался даже в людных встречных погостах. Лошадь хрипела на скаку, и сам он чувствовал жажду.

Ребятишки с криками перепрыгивали через плетни, бежали в пыли, поднятой сумасшедшим всадником. Земледельцы, пропалывавшие посевные угодья, распрямляли спины и с любопытством смотрели ему вслед, прикры-

вая ладонями глаза от яркого солнца, уже клонившегося к горизонту.

Окрестные поля были невелики, но возделаны тщательно. Люди трудились. К ручьям овражков гнали скотину на водопой. Маленькие выбеленные жилища с плоскими крышами из дранки, сквозь которые местами просачивался дымок, жались друг к дружке на косогорах. Убогих землянок почти не видно за зеленью. Плодородна земля, и считали поляне, что жили на ней в достатке.

В дальнем лесу тропа разветвлялась. Несколько еле различимых в траве стежек веером расходились в разные стороны. По какой из них проехал Богдан? Лис осадил разгоряченную лошадь, замешкался на распутье, тяжело дыша от возбуждения. Он растерянно кусал и облизывал пересохшие губы.

Наконец устремился вперед наугад. Но чем больше углублялся в лес, тем сильнее охватывало его сомнение. Богдан оказался проворнее, чем предполагал догонявший. А ведь именно здесь, у Дальнего леса, рассчитывал Лис настичь княжеского гонца.

Не мог Богдан уйти далеко, и Лис принялся свистеть и прислушиваться, не отзовется ли? Ага, вот и шорох неподалеку. Замер на месте, вглядываясь в чащу. Шумно раздвигая высокую и густую поросль, выбирался к тропинке заросший, оборванный человек.

Вид у человека был свирепый, отталкивающий. Угрюмые его глаза-угольки сверкали недобро из-под бровей. В ниспадающих на грудь и плечи всклокоченных волосях застряли обломки коры, листья, травинки и мелкие сучья. Весь он был какой-то дикий, зловещий, точно лютый зверь. Сквозь грязные рубища проглядывало столь же грязное, изъеденное, расчесанное до крови тело.

Лис презрительно усмехнулся, заметив топор у оборванца, однако на всякий случай все же положил руку на рукоять своего меча.

— Кто такой? — спросил он как можно тверже, хотя сразу догадался, что перед ним обыкновенный изверг. Один из тех, кого за какие-то тяжелые проступки извергли из рода, вынудив жить в лесном уединении. — Отвечай княжескому дружиннику!

Оборванец молчал, злые его глаза смотрели не моргая.

— До меня только что был здесь кто? Куда он поехал? Ты видел, я знаю! Отвечай! Не то!.. — Лис перебросил щит с плеча на локоть и обнажил меч. — Ну?

Изверг, невинтно мыча, отступил, прижался спиной к древесному стволу, взмахнул рукой, указывая направление.

Чтобы избавиться от него, Лис швырнул ему резану и, пока тот искал крохотную, в полногтя, серебряную монету в траве, помчался, пришпорив лошадь, куда указано, пригибаясь под встречными ветвями и радуясь, что легко отделался.

Вековые деревья стояли плотными стенами по обе стороны тропинки. Лошадь часто оставляла на шершавых стволах клочки шерсти, но мчалась, напрягая последние усилия. Она была из ратного табуна.

Когда Лис наконец вырвался из лесного мрака, кругом, куда ни кинь взор, простиралась залитая светом низина. Раздольный ветер шалил в серо-зеленом безбрежье душистых трав, скользя по шелковистым шелестящим степным волнам. Солнце золотистым щитом упиралось в горизонт, опалая огромный голубой шатер неба.

Впереди четко вырисовывался силуэт всадника на стройном вороном коне. То был Богдан, гонец в страну, лежащую за горами.

Тысяцкий, вероятно, напевал какую-то из бесконечно длинных народных песен, чтобы скрасить одиночество. Потому-то, вероятно, он не сразу услышал окрик скачущего за ним.

Лис окликнул снова, погромче. Услышав наконец, Богдан прекратил пение, обернулся, стал ждать.

— Ба! Откуда ты взялся? — удивленно воскликнул он, признав того, кто еще сегодня утром охранял своим копьём его беседу с князем. — Что случилось, Лис? Эй, ты спалил лошадку, вконец загнал! Кем послан? С чем?

Но Лис не ответил, с ходу проскочил мимо, устремляясь к неглубокой ложбине в стороне от дороги, и там, поравнявшись с единственным на всей равнине кустиком, рухнул в траву вместе с лошастью.

Тысяцкий спешил, подбежал к нему, тревожно вопрошая:

— Что ж это ты, брат? Уж не мне ли так поспешно нес недобрые вести? Иль приказ какой? Говори! Не беда ли стряслась?

— Успокойся, — тяжело дыша, простонал упав-

ший, — нет беды ни в Киеве, ни в доме твоём. Дай скорее напиться, слова вымолвить не могу.

Тысяцкий протянул ему мех, помог подняться на ноги, чуток успокоенный услышанным. Он дожидался, пока Лис утолит жажду, остынет. А тот все глотал и глотал, жадно, ненасытно, сжимая мех дрожащими руками, и стекали капли по углам рта, шевелились в складках шеи почти невидимые, точно бесцветные колючки, волосы.

— Ничего у меня не выпытывай, — наконец молвил Лис, оторвавшись от меха. — У тебя свое дело, у меня свое. Только дело мое твоего спешнее, княжичем запечатанное. Хоть ты и тысяцкий, а не скажу. Не велено.

— Чудно мне, что на тебя выбор пал в важном деле, коли правда!..

— Кто под руку подвернулся, тому и честь дана. Стой, не выпытывай, просил же.

— Ну и напугал ты меня, братец! — успокоившись вовсе, воскликнул Богдан. — А то было решил, что не сешь следом худое. Что ж, я в чужие дела не гляжусь. Разойдемся, стало быть, своими путями.

— Куда мне идти, — хмуро отозвался Лис, — коли лошадь сгнула.

— Зачем гнал, глуздырь окаянный! — вдруг осерчал Богдан, даже ногой топнул. — Не впервой в седле, а гонишь как угорелый!

— Сама понесла. Испугалась, должно, лесного изверга.

— А... И я встретил ирода. Только он не разбойник, хоть и меченый. Безъязыкий. Язык-то выдернули за большую ложь, я знаю.

— Что мне делать, как быть? — тихо спросил Лис с напускной грустью, оглядываясь на судорожно поводящую копытами павшую лошадь.

— Тебе куда нужно?

— Сперва к Рось-реке, а дальше — молчок.

— Ладно уж, разом доберемся до городища. Рядом побежишь. — Богдан ободряюще потрепал Лиса за плечо. — Ступай сними свое седло, и тронем. В городище добудем тебе борзого, дорого не возьмут. Держись за мою ногу, не отставай.

— Спасибо, брат. Отблагодарю с лихвой, — сказал Лис. — Только сними-ка сам мое седло, сделай милость, не могу я ей, кобылке, в глаза глянуть, сдыхающей. Под-

соби, Богданушко, не сочти, что тысяцкий, а я прост. Сил нет.

Богдан сочувственно кивнул, повернулся, но не успел и шагу ступить, как тут же, полный скорее изумления, нежели боли, крик его огласил пустынную степь. Он кричал, птясь к кусту и пытаясь дотянуться до рукоятки клинка, вонзенного ему в спину.

— А-а-а! За что? Твоя благода-а-а... Измена! Изме... ох...

Предатель смотрел на него круглыми от страха глазами, полз на четвереньках прочь до тех пор, пока качающийся ковыль не укрыл упавшего и затихшего гонца. И тогда, выждав немного, все еще перебирая дрожащими ладонями и коленями по теплой траве, Лис приблизился к убитому, быстро обшарил обagrившуюся кровью шерстяную одежду. Затем, довольный поживой и найденными письменами, оттащил бездыханное тело на дно ложбины, забросал землей и травой.

Он повесил на шею снятый с убитого медвежий клык на золотой цепочке и бросился ловить вороного, настороженно отпрянувшего от чужой руки. Поймал, вскочил в седло, утяжеленное уже двумя притороченными к нему сумами — своей и чужой, гикнул для острстки и был таков.

Была глубокая ночь, когда Лис почувствовал запах горелого леса. Рошу, по которой осторожно ступали копыта коня, недавно выжгли дотла, чтобы будущей весной превратить в плодородное поле. В будущем здесь, на месте выкорчеванных обуглившихся пней, заколосятся хлеба на перепаханной вместе с золой земле.

Из глубины сожженной подсеки взгляд далеко проникал в пространство и мог без труда заметить мерцающие огоньки небольшого городища.

В городище жили семьи слободских воинов. Большинство воинов, как видно, гостило дома: время мирное. Часть же, должно, несла службу где-то на стыке владений полян и клобуков.

Лис подбоченился, не спеша спустился с холма, проехал по гулкому мосточку к стене, трижды ударил в било, висевшее на крюке ворот. Из бойниц, позевывая, выглянуло несколько стражей. Подсвечивая факелами, они равнодушно рассматривали ночного пришельца.

Лис облегченно вздохнул. По выражению их сонных лиц он понял, что здесь никого не ждали и, следова-

тельно, вообще не были предупреждены ни о визите княжеского гонца, ни о том, кто именно послан Святославом. Значит, и впредь опасаться нечего. Значит, не страшны ему ни ближние, ни дальние заставы, через которые еще предстояло пройти во время многодневного следования в очень далекую Византию, куда влекла его мечта о сказочной награде и славе. «Не оплошаю, так поспею в Царьград раньше посольских кораблей, — подумал радостно. — Ай удивится Калокирушко моей расторопности».

Тут ему сверху:

— Кто ты и что привело тебя в такую пору?

— Вот грамота великого князя! — ответил Лис, надевая краденый свиток на конец опущенного из бойницы копья. — Вот моя охранная грамота! Скорей отворите гонцу стольного града Киева! Велите, как войду, приготовить мне угощение, достойную одрину и свежего коня к утру! Да прикусите языки, братцы! Волею Святослава!

И пока стражники, с которых мигом слетели остатки дремы, послушно откидывали запоры, Лис неслышно и самодовольно хихикал. Как не верить в грядущий успех, если навстречу в окружении ратников уже выходил спешно вызванный местный воевода, чтобы отдать полагающиеся столичному гостю почести.

Глава X



Ветер обрывал снасти. Море швыряло корабль из стороны в сторону, и он скрипел всеми своими суставами, точно хрупкое существо в лапах свирепого чудовища, норовящего переломить его кости. Страшен был шторм.

Ветер злобно хохотал, шипел, завывал, бесновался. С трудом удерживаясь носами против волн, корабли то проваливались в бездну, то вновь вздымались. Из остывших людских глоток вырывался уже нечленораздельный хрип.

Так кошмарно прошел день. Прошла ночь...

Улеб давно перестал их считать, дни и ночи в море.

Целая вечность, казалось ему, миновала с тех пор, как ноги его в последний раз касались земли.

Порою по громким возгласам и всеобщему оживлению наверху он догадывался, что в поле зрения каравана попадали либо встречные суда, либо прибрежные селения. Тогда измученные невольники вытягивали лица, обращаясь в слух, пытались угадать, что именно взволновало ромеев наверху. Помыслы оторванных от внешнего мира людей тянулись туда, где что-то происходило, кто-то проплывал мимо, кто-то выбегал из жилища на откос, чтобы проводить корабли проклятием или приветствием.

Поправляя повязку, Одноглазый вскарабкался по шестовой лесенке на палубу. Только подошвы его изорвавшихся сандалий мелькнули над головами гребцов. Почуял близость дома, где и резвость взялась.

Другой надсмотрщик, оставшийся внизу, хоть и продолжал отрывисто выкрикивать команды, однако в голосе его уже не слышалось прежней суровости.

Гребцы безнаказанно галдели, ворочая головами во все стороны. Послышался даже чей-то смешок. Этот прозвучавший на помостах смех, скорее похожий на всхлипывание, пожом резанул слух Улеба.

Велко был ближе к весловому отверстию, припав к нему, он говорил:

— Вижу волноломы мандраки*. Вижу галеры**. Мы вошли в бухту. Вошли в Золотой Рог, Улеб, это конец мучениям. Или начало новым, как знать... Нет, это конец! О будь проклят путь пройденный!

Впервые за несколько недель плавания оживился и Улеб, невольно поддавшись общему настроению.

— Велко, брат, нас выпустят отсюда? Пустят на твердь?

— Да, Улеб, да.

— И не погонят снова по воде куда-нибудь?

— Не годны мы теперь на весла. Пока не пригодны. Да и корабль нуждается в починке. Скорее всего дадут всем отдохнуть и окрепнуть. Потом заставят чинить корабль, латать пробойны, тесать новую мачту, плести ужища.

* М а н д р а к и я — акватория, огороженная искусственными молами.

** Г а л е р а — гребное военное судно для действий у берегов и в шхерах.

— Заставят чинить корабль, пусть. Наладим и сами же на нем сбежим. Подговорим всех.

— Ах, Улеб, к твоей бы силушке да еще голову...

Улеб обиделся. Кусая губы, он тщетно искал, чем бы ответить, как бы повесомее пристыдить, укорить Велко за нерешительность. Всякий раз, когда Улебу приходила на ум какая-нибудь дерзкая мысль, Велко гасил его пыл, твердя: «Не время, не место. Пойми, погибнешь без пользы».

Вероятно, разговор обернулся бы ссорой, если бы в этот момент не появился Одноглазый с двумя солдатами. Надсмотрщик приказал убрать весла, и гребцам, едва они исполнили это, принялись остригать подросшие волосы. Слышно было, как загремели на носу и корме якорные цепи.

Невольников с выбритыми наполовину головами расковали и, притихших, сгрудившихся, повели наверх, к сходням, упиравшимся в грязно-желтый песок бухты, что распростерлась у подножия возвышенного полуострова, на котором раскинулась столица Византии.

Невиданное зрелище открылось глазам Улеба. Его поразило бесчисленное множество самых различных кораблей и лодок под знаками разных стран и народов.

Весь огромный и широкий овал берега кишел пестрыми толпами. Такое скопление народа впервые встречалось Улебу, выросшему в лесной тиши.

Хрипы, мычание, ржание тягловых животных, крики чаек, низко паривших над замусоренной водой, скрип повозок, разноязыкие голоса мужчин и женщин, блеск и величие одних и убогая нищета других — все смешалось в этом столпотворении.

Устремив взгляд поверх портового хаоса, Улеб различил вдалеке мрачные очертания крепости. Толстые и высокие каменные ее стены казались продолжением серого скалистого отвеса, нависшего над водой. Десятки массивных боевых башен, сложенных из отесанных гранитных глыб, венчали обращенную к морю стену и те, что тянулись к самому городу, растворившемуся в дымке. За стенами громадной крепости, выглядывая, словно из засады, возвышались базилики храмов, золотистые купола, железные углы крыш многоэтажных сооружений.

— Твердыня, — услышал Улеб шепот приятеля. — Крепость власти.

— Все у них рублено, тесано, — растерянно проговорил Улеб, — все обстругано, даже деревья...

— То кипарисы, — пояснил Велко, — такими растут.

Богата земля ромеев, величественна и самодовольна столица, раскинувшаяся под сенью столбов Европы и Азии, возведенных ею же, и горда она обоими этими каменными столбами. обрамленными рошей вечно-зеленых дубов, символами Священной Владычицы на меже двух частей света.

Улеб и Велко понуро стояли вместе с остальными невольниками у борта, оглядываясь на хеландию и второй торговый корабль, которые причалили поодаль.

Оплиты во всем блеске своего снаряжения и выучки двумя колоннами шествовали по бокам человека, купившего Улеба у печенегов. Юноша узнал Калокира еще издали. Рядом с динамом семенил Сарам. Оплиты щитами оттесняли толпу, прокладывая путь своему господину.

Часть солдат, повинувшись приказу, окружила невольников и повела их по направлению к городу, часть ушла с командиром. Калокир и Сарам замешкались на берегу.

Улеб брел рядом с Велко, не поднимая глаз на разодетых в шелка встречных горожан, стыдясь своей наготы, своего опаленного солнцем, обветренного, изъеденного морской солью тела, смущаясь жалких лоскутов, оставшихся от штанов, едва прикрывавших бедра, страдая от выставленной напоказ своей выбритой наполовину головы, вновь кляня тех, кто лишил его родины, отчего дома, сестры, коня, кто обрек его на позорище перед глазеющими девами и мужами чужеземного города, по мостовым которого он неуверенно шагал отвыкшими от тверди ногами.

Улицы были запружены жителями, в городе с полумиллионным населением никому не было дела до унылой, затерявшейся, словно в потревоженном муравейнике, кучки рабов и их конвоиров.

Раскаленные солнцем каменные сооружения усиливали духоту летнего дня. Не было спасения от жары в тени многоэтажных зданий и церквей, чередовавшихся с крохотными фруктовыми садами, цветниками и сквeрами. Канавы под высокими двухъярусными арками

акведуков Велентова водопровода, протянувшегося вдоль полуострова, источали смрад отбросов.

Женщины, прикрывая рукавами лица, подставляли кувшины под струи фонтанов. Мулы и лошади наездников, отбиваясь хвостами от мух, лениво пили из лужиц под висячими цистернами. Острые запахи снеди и перебродившего винограда исходили из раскрытых настежь дверей таверн и харчевен.

Зазывалы всевозможных ремесленных цехов старались перекричать друг друга. Нищие в венках из увядших цветов пытались перекричать зазывал. Торговцы сладостями и фруктами тоже силились быть услышанными. И над всем этим витала заунывная восточная мелодия флейты, на которой одержимо играл какой-то старец в грязно-белом хитоне, сидящий на корточках на мраморной плите перед Милием-столбом на центральной площади, от которого византийцы исчисляли мили всех дорог, ведущих из Константинополя.

— Что бы ни случилось, помни о клятве, Велко.

— Наш уговор я не забуду, Улеб. И в разлуке я буду думать только о встрече. Я верю, что мы разыщем друг друга, будем мстить разом. Но, прошу, не горячись безвременно, обживись, привыкни, научись языку их и обычаю, иначе не пробиться к волюшке.

— Как хочу я спасти Улию, вызволить из Степи! Как хочу рассчитаться с погаными! Как хочу вернуться в Радогош!

— Подави же свой гнев до времени. Прощай.

— Прощай, брат.

На берегу динат заканчивал наставления Сараму перед тем, как отправиться в Палатий, где уже знали о прибытии пресвевта и ждали его.

— Итак, — говорил Калокир подобострастно осклабившемуся евнуху, — продашь все, что сможешь. Все продай. Корабли и товар. Рабов тоже. Не продешеви!

— О да, господин.

— Гляди, чтобы с умом. Русских купцов, что стоят у святого Мамы, не подпускай сюда и на шаг. Чтоб к моему возвращению на улицу Меса все было кончено. Приготовь обед и купальню. Буду слушать пение красавицы. Ответишь головой, если заезжие руссы пронюхают о тех девах с младенцами,

— Не сомневайся, мудрейший, отдам их только нашим купцам, дальним. Увезут — как не бывало. А скажи, щедрейший, как быть с тем отроком, что с иными уведен к твоему дому?

— Тоже продать. И тоже кому-нибудь из отдаленной фемы. И вот что... пусть ему прежде отрежут язык на дворе. Так будет надежней, нигде не проболтается. И коня его красного продай подороже. Покончу с делами и подамся в Фессалию. Устал я. Исполняй, что велю!

— Слушаюсь и повинуюсь, прекрасный.

Динат круто повернулся и двинулся прочь пешком, без охраны, вперив озабоченный, преисполненный сладкой надежды взгляд в величественные скалы, на которых возвышались крепостные стены с массивными башнями.

«Чи песни он собирается слушать за обедом? — недоуменно думал Сарам. — Не объяснил толком. Должно быть, запросит приглянувшуюся в Палатии. Гм... еще обзаведется хозяйкой на свою голову. Оттуда, того и гляди, приведет ведьму капризную, со свету изживет... То-то я заметил, как он вздыхал и за сердце хватался на хеландии. Выходит, мыслил о какой-то красотке».

У Медных ворот Священного Палатия динат предъявил начальнику внешней стражи заветный медальон, однако тот не пропустил его сразу, а исчез, почтительно попросив Калокира оставаться на месте.

Трудно объяснить, почему начальник стражи поступил так. Ведь Калокир и медальон с оттиском василевса показал, и сообщил свое звание. Кто знает, в чем тут причина.

«Я разумен, предусмотрителен и осторожен, а потому спокоен», — сказал себе Калокир.

И все же уверенности у него поубавилось. Он терпеливо стоял в тени под огромной стеной, погруженный в мысли. Конечно, обидно и оскорбительно, что воротившемуся с честью послу не устроили пышной встречи. Даже простые стражники не выказывают особого внимания. Только и всего, что отгоняют попрошайек, чумазых, оборванных калек и юродивых, которые вечно шляются у Палатия в надежде перехватить подачку какого-нибудь вельможи.

Особенно настойчиво пытался прорваться к динату всклокоченный субъект с сумкой через плечо. Он что-то кричал издали, но голос его тонул в общем шуме. Стражники щитами или тумаками валили его в пыль, но он, утирая кровь и слюни, всякий раз, отбежав, чтобы, скуля, потерять ушибленные места, вновь и вновь возвращался, норовя проскочить через цепь воинов, которые, конечно же, встречали бродягу новыми тумаками и оплеухами.

Динат и бровью не повел на эту возню. Мало ли что может кричать презренный попрошайка. И даже когда один из потерявших терпение стражников так хватил крикуна древком копья поперек спины, что тот рухнул наземь и распластался надолго в состоянии лишь беспомощно сучить руками и ногами, Калокир остался безучастным.

Вот наконец отворилась массивная боковая калитка, и в темном ее проеме показалась фигурка карлика в монашеском одеянии. Калокир сразу узнал монаха по имени Дроктон, что когда-то уже встречал его тут и сопровождал в циканистерий ненастным весенним днем.

Увидев Калокира, монах не приветствовал его обычными словами прославления Христа, а просто потрянул островерхой скуфеей:

— С чем воротился, долгожданный?

— Ника! — воскликнул динат, поднимая ладонь, как это делали победители с древних времен, изображая бурную радость.

— Пришедшему с победой — хвала! — без особого энтузиазма молвил Дроктон. — Следуй за мной. Тебя ждут во дворце Ормизды.

— Кадмова победа... * — неслышно ворчал Калокир. — Приплыл без выгоды, с убытками. Не пустой хвалы мне надо, а награды.

Монах, не оглядываясь, ступал по плитам аллеи, ведущей в глубь крепости. Дворец Ормизды находился в восточной части крепости. Рослые, закованные в броню воины с символами восточной школы на шлемах как изваяния стояли по обе стороны входа, сложив ручищи в жестких перчатках на рукоятях обнаженных, упирающихся в ступени лестницы мечей.

* То есть победа дорогой ценой.

Неподалеку лежала груда оружия, оставленного теми, кто входил внутрь. Калокир тоже отстегнул и бросил парадный меч, украдкой приметив, однако, куда бросил, чтобы потом не рыться, отыскивая свой среди чужих.

Монах ощупал одежду дината, после чего подтолкнул легонько вперед, указал на дверь в полумраке коридора.

Зал, в который ступил Калокир, предназначался не для аудиенций, а для гимнастических упражнений и воинского тренажа. Толстые тюфяки, сложенные в дальнем углу в несколько слоев, стойка с тупыми деревянными мечами, палашами и трезубцами, посеченный пол, борцовские набрюшники, висящие на крюках, и два-три гимнастических снаряда, придвинутые к стенам.

— Почему ты молчишь? — раздался голос прославленного полководца Фоки. — Подойди ближе, достойный Калокир. Что принес, радость или огорчение?

— Разве смею я говорить первым! — начал динат, с трепетом приблизившись на несколько шагов.

— Был ты в России?

— Да, я был там, и, клянусь, Святейший не ошибся в выборе пресветла!

— Был ли в Округе Харовая у Кури?

— Да. Печенежский каган сидит вдоль берега Понта, там и застал его. В Округе Харовая, на границе с руссами, осели ятуки, они ладят с Киевом и не хотят подчиняться Куре. Каган в затруднении, под его рукой лишь Евксинское побережье и пороги Борисфена. Но войско его по-прежнему несметно и сила несомненна. Он готов и жаждет двинуть полчища на Киев, как только Святослав отлучится из столицы. И он, Курия, это сделает. За десять кентинариев.

— Он их получит, — изрек Никифор Фока. — Он получит двенадцать! За поход на Киев одарил бы печенега и двадцатью!

При упоминании о таком количестве золота Калокир заговорил с жаром:

— Я сумел убедить Святослава во враждебности болгар. Русский князь сущий диавол, но я перехитрил его. Хотя и погубил много своих подданных во имя успеха...

— Не тревожься, услуга твоя не померкнет.

За кровь же убиенных в пути христиан господь не требует своей епитимьи... *

— Слава тебе во веки веков! — воскликнул Калокир обрадованно.

— Тебе отойдут земли казненных павликиан. Надежды выявленных еретиков станут твоими, ибо сам господь велел так поощрять верных ему, и леги** василевса лягут на эдикт*** тотчас же, едва подтвердится то, о чем ты сообщил мне.

— Скоро Святослав уйдет на Булгарию, а Куря сокрушит Киев.

— Достаточно ли убежден ты в этом?

— О да! С помощью огузов я все устроил. Своими ушами я слышал, как Святослав велел снарядить гонца к Петру за объяснениями, и гонец тот отбыл.

— Кто же убил гонца в Булгарии?

— Подкупленный воин из прежней свиты княгини Ольги, крещенной Еленой.

— Где доказательство?

— Оно будет. Обидную весть Святославу принесут в Киев с Дуная. Скоро воин Лис доставит доказательство сюда собственноручно.

— Одного обещания мало. — Однако, как видно, domestiку пришлась по вкусу бойкая находчивость пресвета, он улыбнулся, поднялся во весь рост и благосклонно коснулся рукой плеча Калокира. — Ты оправдал доверие.

— Благодарю тебя, светоч всего Священного Палатия! Прости мою смелость и скажи, удостоюсь ли я...

— Нет, ты не сможешь созерцать Соправителя, он занят молитвами о продлении лет Константина Порфирородного на земле: Константин все еще болен. Я сам донесу до бесценных ушей Романа все, что было сказано тобою. — И, взглянув на скляницу часов, добавил: — Ты свободен.

...Динат, хотя и чувствовал голод, однако не очень спешил покинуть Священную Обитель, доступную далеко не всякому. Шел по главной аллее степенно, с удовольствием поглядывая по сторонам, как хозяин или по меньшей мере завсегдатай этого райского уголка

* Е п и т и м ь я — очищение от грехов.

** Леги — буквы, то есть подпись. Обычно императоры утверждали документы: «Я прочел».

*** Э д и к т — указ, документ.

столицы. Нежданная встреча с блистательным представителем рода Фок больше чем льстила его самолюбию.

«Я держался перед ним воистину достойно, — твердил сам себе. — Устал... Уеду на время. Спать, пить и есть безмятежно. Какое блаженство! Без унижений, без ненавистных. Лежать на ковре под оливой, слушать кефару, наслаждаться танцем дивной... Русская полонянка прекрасна как утро. Благо, Куря не догадался утаить от меня жемчужину. Благословен был поход... — Но вдруг динат вздрогнул. — Господи, я, кажется, не предупредил Сарамы, чтобы оставил ее мне!»

Встревоженно торопясь к площади Тавра-Быка, где улица Меса, на которой стоял его дом, брала свое начало, он налетел на оборванца с потертой сумой через плечо. На того самого упрямого крикуна, что был избит стражниками за настойчивые его попытки прорваться в числе попрошайек к динату, когда последний, как мы помним, глухой и равнодушный к возне стражи и нищих, томился в ожидании перед Палатием.

Динат хотел было пнуть наглеца, преградившего путь, но тут же, взглядевшись в бродягу, исторг из груди изумленный возглас:

— Ты? Это ты, Лис?

— Кто же еще, — захныкал оборванец. — Да, это я. Это я надрывал глотку. — Голос его истерично прорезался. — Я зывал к тебе! Я, оказавшийся здесь по твоей воле! Я пытался обратить на себя твое внимание, но ты отвернулся! Нарочно? Притворялся, будто не слышишь? Я тебя звал, а меня избивали за это, как шелудивую собаку! В двух шагах от тебя! В двух шагах! Избивали!

— Но что, наконец, случилось?

Вокруг них быстро собирались любопытные горожане. Еще бы не собираться толпе: где это видано, чтобы нищий повышал голос на богача? Где это слышано, чтобы патрикий внимал непочтительной речи какого-то иноземца в лохмотьях?

— Говори по порядку. Идем отсюда. Собрал, глупец, полгорода. Граждане! — обратился Калокир к народу. — Граждане и рабы, разойдитесь! Это блудный брат мой! Он вернулся из паломничества! Оставьте нас!

Призыв этот возымел свое действие. Вскоре динат и Лис, которых предоставили самим себе, уединились,

отойдя в тень деревьев, росших над обрывом. Лис кое-как пришел в себя после истерики. Калокир нетерпеливо спросил:

— Ну?

— Тридцать девять дней я добирался сюда. Четыре дня ожидал тебя у ворот вашего Детинца.

— Выкладывай дело! — Динат поморщился. — Только короче. И без того утеряно время на пустую болтовню. Без обеда сегодня.

— Обед ждет твою милость! — Лис от возмущения даже поперхнулся словами. — Ага! До меня тебе, видно, нет больше дела! Я-то хоть крошку съел? А кто меня обрек на муки? Кто?

— Ты сошел с ума! Отвечай, уж не упустил ли гонца в Преслав?

Лис махнул рукой, устало опустил на корточки, припал спиной к дереву, прикрыл глаза, словно погрузился в дремоту, в забытие.

— Гонца я убил. — Голос Лиса прозвучал неожиданно тихо и ровно. Под взметнувшимися веками показались опустошенные водянистые глаза. Что-то надломилось в нем окончательно. — Все исполнил. Заколол тысяцкого Богдана в поле за Киевом.

— За Киевом? Надо было в Булгарии! Ты что, забыл уговор? О боже, что ты содеял!..

— Иначе нельзя было. Не бойся, степные звери и костей не оставили, никто не узнает. А грамоту и свиток я выкрал, забрал с собою.

— Уф! Заклевали б... Что? Не бояться? Мне? Ха-ха-ха! Сам бойся, если обнаружат. Ты бойся! Ты!

— Чего мне-то бояться после всего? Все земли прошел, до самого Преслава доскакал, вместе с Блудом передал Петру наговор на Святослава. Все земли прошел, все, дважды меня вязали в дороге, принимали за беглого вашего холопа. Бежал от дозоров-то ваших. Много с собой вез ценностей, монет и слитков, да отобрали, заграбили. Я, воин дружины киевской, вынужден был ноги бить на чужбине, глодать отбросы и подаяния смердов, ночевать в стогах и норах. Изорвался в клочья, побои сносил...

— Ведь при тебе был охранный знак, почему не объяснил на границе и здесь?

— Пробовал, да речи вашей, ромейской, еще не умею сполна.

— Глупец ты, Лис, глупец! Внизу, во-он там, у святого Мамы, стоят русские купцы, всегда отыскал бы толмача среди них.

— Ну уж нет, златоустый, туда я и не гляну. Неровен час встречу кого из своих. Не ты ли сам строго наказывал сторониться?

— Верно.

— Вот я и верил, все себя уговаривал: дождусь Калокирушку, проведет к цесарю, получу свое, утешусь. Живой добрался, и то ладно, а обещанной награды не миновать, так?

— Свое получишь. Важно, что выкрал ты свиток и грамоту. Давай их сюда скорей.

— Нету.

— То есть?

— Нету их у меня. Совсем нету.

— Где? Где же они? — Челюсть дината отвисла, он потянулся к суме на плече понуро сидевшего на корточках Лиса. — Шutiшь? Набиваешь цену? Сейчас же давай свиток и грамоту убиенного!

— Пусти суму-то, порожняя. Сказано, нету. Отобрали вместе со всем, заграбили в дороге.

— Кто? Кто отобрал? — прошептал Калокир, холодея.

— Я почем знаю. Дозорные ваши.

— Где?!

— Почем я знаю. Место запоматовал. Давно то было. Еле ноги унес, и то ладно.

Калокир уставился на него, точно громом пораженный, задохнулся, не в силах вымолвить слова. Лис, казалось, дремал.

Справа от них громыхали колеса повозок, поднимавшихся к шумному городу по выдолбленным в каменистом грунте колеям. Слева внизу поблескивал синий Босфор, испещренный пятнами парусов. Никто из прохожих не обращал внимания на странную пару, укрывшуюся под прохладной сенью дубов над обрывом.

— Обедать с тобой буду, — мечтательно бормотал Лис с закрытыми глазами. — Завтра пойдем к цесарю пораньше. Одежду мне дашь красивую, ромейскую. Когда получу свой дворец и войско, верну тебе и одежду и угощение с лихвой. — Вытянутая его физиономия так и светилась от предвкушения благ. — Будет время-то терять, веди в дом, Калокирушко, притомился я

очень. Замуравело бывшее, как сказывал Богдан когда-то. Идем, что ли? Расскажу за столом все подробно, где был, что видел.

Он поднялся, кряхтя, повернулся к династу с улыбкой, но прочел в злобном взгляде нечто такое, что заставило его содрогнуться:

— Ты чего, грек?

Лис хотел отпрыгнуть, но одеревеневшие ноги отказались повиноваться. Он хотел закричать снова, но перекошенный от ужаса рот издал лишь хриплое шипенье. Он хотел защититься, но ничего, кроме тряпичной суммы, не было под рукой. Короткий меч Калокира вошел ему меж ребер по рукоять, едва не задев упрятанный под лохмотьями золоченый медвежий клык, тот самый талисман Святослава, что был снят с убитого русского гонца на Белградской дороге.

Калокир уже шагал по улице Меса, торопясь домой, когда на дорогу, протянувшуюся от берега к городу мимо стен Священного Палатия, собрав последние силы, чудом выполз раненый Лис. Счастье его, что не был сброшен с обрыва брезгливым династом. Выполз к людям из рощи.

А тем временем возле особняка в конце улицы Меса происходило необычное. Поток пешеходов с площади, вливаясь в улицу, как бы завихрялся у этого дома, словно ручей, ударявшийся о препятствие. Возбужденные горожане, толкаясь и гомоня, заглядывали через приотворенные воротца в небольшой дворик.

«Заварил Сарам торговлю на весь квартал», — раздраженно подумал династ, прибавляя шаг.

Хозяина, должно быть, увидели из окон, потому что сейчас же навстречу ему высыпало несколько слуг. Впереди, спотыкаясь и воздевая к небу тощие руки, бежал сам евнух.

— Отчего такой переполох? Почему весь этот шум возле дома? — сердито набросился на него Калокир, едва тот, запыхавшись, пал к его ногам.

— О милостивый! — жалобно запищал скопец, учащенно моргая глазками, вернее одним, поскольку второй заплыл огромным лиловым синяком. — Ты пришел, заступник наш! Защити!

— Что за чушь? Ты пьян? Продал ли все, как я велел? Видно, хороша выручка за мои товары, если без моего позволения устроили пиршество!

— Не брал я вина, спаситель, не брал!

— Отвечай, продал все?

— Да, господин, да.

— Ту деву, русскую полонянку, тоже?

— Да, господин, еще на берегу. Всех трех вместе с младенцами. На кораблях живо управился и поспешил сюда, чтобы продать соседям оставшихся гребцов. Только хотел твоей волей отрезать язык тому отроку, но он... он, варвар... ой-ой-ой!

— Что он?

— Не дался. Других гребцов распродали тихо, а этот взбунтовался.

— Только и всего? Уж не из-за этого ли весь переполох, позорящий честь моего дома?

— Ой, — сказал Сарам.

Калокир схватился за голову.

— Боже! — вскричал он. — Я велю поджарить твои пятки, старая обезьяна! И прежде всего, гнуснейший, за то, что продал красавицу! Кому ты отдал ее, лучшую из жемчужин?

— Ой, — повторил Сарам.

— Отвечай!

— Ка... ка... какому-то торговцу из Македонии. Он дал за нее тридцать солидов. Целых тридцать! Я старался. Но теперь вот отрок...

Динат ударом ноги отшвырнул евнуха так, что тот покатился, как щенок, визжа и стелая, на других онемевших и переминавшихся в растерянности слуг.

— Дармоеды! — лютовал динат, устремляясь к дворику сквозь расступившихся зевак. — Испугались юнца! Обленились, труссы!

Однако, очутившись по ту сторону ворот, он осекся, обвел очумелым взглядом дворик, в котором царил невообразимый хаос, будто недавно пронеслась и разметала все буря, оставив после себя настоящий погром. За его спиной сгрудились те, кто следом вошел с улицы. Представшее перед Калокиром смахивало на головоломку, на картину-загадку, какую снабжают надписью: «Что тут неправильно нарисовано?»

Невольно попятившись, он ухватился за рукав возвышавшегося над всеми незнакомого бородача, статного и ухмыляющегося, как видно, случайно забредшего на шум.

Не обращая внимания на Калокира, мужчина этот в отличие от прочих не галдел, не суетился, а спокойно и пристально наблюдал за происходящим. И одет он был не так, как остальные: необычного покроя кожаную рубаху, просторную, с глубоким вырезом, из которого выглядывали ключицы и мышцы могучей груди, опоясывал широкий плетенный из бечевки набедренник. Кудрявую крупную голову, посаженную на толстую жилистую шею, венчал белый колпак с белым гусиным пером. Стоял мужчина крепко, как монумент, расставив ноги и заложив растопыренные пальцы сильных рук за набедренник.

— Связать! Вывать язык! — вдруг, очнувшись, завопил динат, гневно простирая указующий перст в сторону низкой крыши пристройки в глубине двора, на которой тяжело дышащий, полуголый, побелевший от ярости, напряженно изогнувшись, стоял Улеб.

Левая рука юноши судорожно сжимала кривой держак, прикрепленный к толстому и прочному, как шип, черепку, оставшемуся от какой-то разбитой посуды. Правая стиснута в кулак. Посреди двора перед пристройкой на взрытой и захлавленной площадке ползали или недвижимо распластались стонущие люди из окружения дината.

— Схватить! Взять его!

Словно отрезвленные приходом хозяина, голос которого придал смелости домочадцам, сразу четверо отделились от толпы. По одному они вскарабкались на крышу. Улеб ринулся навстречу, отразил черепком удары нападавших и обрушил на их челюсти и скулы свой мелькающий кулак. Трое бесчувственными мешками свалились с крыши и ахнуть не успели, четвертый отступил сам, едва не сломав шею в панике.

— Вперед! Взять!

Лишь камни градом застучали по черепку, которым Улеб прикрыл голову, и по доскам пристройки. Никто не хотел рисковать.

— Трусливые мыши!

— Может, сбегать на площадь за патрулем? — раздался писк Сарамы откуда-то из-под земли.

— Позорить меня на всю столицу! Этого еще не хватало! Заячьи души! Дармоеды! Разбежались от одного безоружного тавроскифа! Придется мне пока-

зять вам, как расправляются со строптивыми язычниками истинные мужи империи!

С этими словами Калокир звонко обнажил меч. Но внезапно его резко остановил незнакомец в кожаной рубахе и с белым колпаком.

— Не пристало достойному патрикию идти с мечом против голого кулака, — прогремел он, пощипывая курчавую бородку. — Нельзя рубить безоружного удальца, нельзя. Этому мальчику нет цены, разве ты не видишь? Какая находка!..

Окинув удивленным взглядом атлетическую фигуру непрошеного заступника, дианат запальчиво огрызнулся:

— Кто вмешивается в чужие дела на чужом дворе? Кто ты такой?

— Сей раб — врожденный боец. Мне нравится его твердая рука. Уступи его мне. Назови любую цену.

— Нет, он должен понести кару за непослушание, за увечья моих людей.

— Твои люди не стоят твоей светлой милости и забот. Даю пятьдесят златников за юного скифа — и по рукам.

Калокир мгновенно остыл, услышав названную цену. Невиданную цену предложил ему рослый незнакомец за раба, которому полагались пытки и казнь. Пятьдесят златников — цена троим.

— Будь по-твоему. Но добавь еще десять за причиненный бунтовщиком ущерб.

— Согласен, — кивнул незнакомец. Он подозвал своего прислужника, приземистого крепыша в синем хитоне, велел отсчитать шестьдесят монет, что тот и проделал весьма расторопно.

Завершив сделку, могучий атлет в кожаной одежде сделал несколько шагов к пристройке и, заметив, как насторожился и напрягся Улеб, следивший за ним, остановился и весело рассмеялся. Его позабавило, очень позабавило то, что юноша, как видно, не собирался покориться даже ему, гиганту.

— Ой боюсь, ой страшно, — притворно всхлипнул великан и нарочно затрясся всей тушей так, что перезвон побрякушек его набрюшника услышали, наверно, и на площади Константина. Народ покатился от хохота.

— Скажи ему, чтобы спустился, — сквозь смех по-

просил дина́та незнакомец. — Скажи, со мной шутить не стоит.

Калокир обратился к Улебу по-русски:

— Немедленно слазь и следуй за этим человеком. Он не причинит тебе вреда.

— Меня хотят сделать немым, — отозвался юноша, — но я скорее обниму Нию*, чем дамся на поругание.

Не смей на священной земле упоминать свою языческую богиню смерти, безумный! Благо, что ушам праведных христиан недоступна скверна твоих речей.

— Не верю тебе, коварный грек!

— Овца заблудшая, тебе говорят, отныне ты принадлежишь... — продолжил было Калокир, но, запнувшись, обернулся к великану в кожаной одежде с вопросом: — Кто ты? Я так и не узнал твоего имени.

— Я Анит Непобедимый, наставник школы кулачных бойцов ипподрома. Скажи ему, что он принят в мою палестру. И еще скажи, его упрямство может плохо для него кончиться. Я теряю терпение.

Калокир охотно перевел Улебу эти слова, после чего ушел в дом, не желая больше думать ни о чем, кроме еды и сна.

Но Улеб не повиновался.

Под всеобщие возгласы Анит, подпрыгнув, сдернул Улеба за ноги, тот даже не успел среагировать, настолько стремительно и неожиданно ловко для своей внушительной комплекции проделал это атлет.

Оказавшись на земле, Улеб, потеряв остатки благоразумия, принялся беспорядочно осыпать смеющегося великана ударами.

Ощувив их, Непобедимый понял, что тут не до смеха. Он спешно принял бойцовскую стойку, и ему пришлось изрядно повозиться с изнуренным вконец, полуголодным рабом, прежде чем удалось защелкнуть с помощью добровольцев невольничье кольцо на взмокшей его шее.

Отдышавшись и приведя себя в порядок после потасовки, Анит не сводил с Улеба восхищенного взгляда, шептал:

— Какая удача!.. Он добудет мне новую славу на арене.

* Обнять богиню Нию — умереть,

СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ



ДИКИ ВО ТЪМЕ









Глава XI



ловно старцы, седые и древние, поют бессмертные ветры бессмертную сказку траве и деревьям, долинам и взгорьям, теремам и пещерам той страны, что дивной птицей из дедовских легенд распростерла крылья на меже двух миров, и одним-то крылом достает чудо-птица до холодного края земли, а другим — до теплого ее пояса.

Человек приходит и уходит, а люди вечны. Так вечна и мать-земля, на которой, подобно людским поколениям, сменяют друг друга в бесконечном своем кружении и годы, и времена их.

И давно и недавно поблекли скошенные хлеба, и отшумели дожди в березовых рощах, и отсверкали белизной снежные сугробы, и льды ушли, обнажив реки. Снова стало солнышко ласковым, добрым над пробужденной от зимней спячки природой.

В прохладной глубине росских лесов, на дне овражков и ложбин, затененных буреломами, еще сохранились редкие лепешки ноздреватого талого снега. А в открытых полях предгородни тепло. Босоногие подrostки с игрушечными луками, трещотками и колотушками будут прилежно гонять птиц, пока зерна не дадут окрепших всходов.

Но вот сейчас малолетние вихрастые защитники посеов, позабыв о своих колотушках и трещотках, вглядывались в даль, прикрывая глаза ладонями. Что привлекло их внимание?

Легко держась в седлах резвых скакунов, мчались двое. Они неслись во весь дух, словно наперегонки, выскочив из леса и устремляясь по Белградской дороге к видневшимся луковкам киевских теремов, призывно поблескивавшим на Горе под лучами весеннего солнца.

Один из верховых был здешним дозорным воином, о чем без труда мог догадаться всякий встречный, стоило лишь взглянуть на его снаряжение.

Чуть откинувшись назад, мерно покачиваясь в такт коню, он держал поводья вытянутой правой рукой. Левая рука придерживала длинное копьё на плече. На конце копья пониже острия болтался жгут сухой соломы, который обычно зажигался в момент опасности, если сам дозорный, обнаруживший ее, находился в отдалении от главной сигнальной вышки. Звали воина Иванко.

Другой нездешний. Это так же безошибочно определяли все, кто попадался навстречу.

Внешность чужестранца была благообразна: прямой нос, изящно очерченные лоб и подбородок, румяные щеки, брови вразлет над густыми ресницами, стан гибкий и тонкий. Пригнувшись к холке коня так, что заячья шапка едва удерживалась на голове, он вприщурку поглядывал на сопровождавшего. На нем тоже была кольчуга, но железная ее ткань пряталась под пригрязненной одеждой, сшитой, подобно шапке, из заячьих шкур серым мехом наружу. У левого бедра сверкало широкое лезвие болгарского кривака без ножен. Имя этому юнаку — Блуд. Таково его настоящее имя, не вымышленное.

Оба, не сбавляя прыти, проскочили в распахнутые городские ворота, опрокинув лоток с горшками какого-то незадачливого скудельника, устремились вверх по длинной и шумной Малой улице.

— Дорогу! Сторонись! — выкрикивал Иванко.

Люди выбегали из лавок, высовывались из окон. Эхо стучащих по брусчатке копыт россыпью металось между пестрыми стенами жилых построек, сжимавших проезжую часть улицы которую бороздили мутные, исходящие паром ручейки.

Молоденькие работницы на Красном дворе стайкой высыпали поглазеть на пригожего булгарина, который почему-то, к их разочарованию, держался отчужденно. Даже гриди подошли поближе, всех обуюло любопытство.

— Где князь?

— Княжич где?

— С утра подался к матушке в Угорское. Нездорова Ольга, — отвечали.

И снова помчались Иванко с Блудом, теперь уже с Горы к берегу через гать на болоте, через людный торговый край Подолья, вдоль Почайны, затем вдоль буро-синего Днепра-Славути вниз, туда, где виднелся на лесистых кручах курган Аскольдовой могилы, к селу Угорьскому.

— Княжи-и-ич!

— Тихо! В чем дело?

Из окошка, свесившись наружу до пояса, выглянул Святослав. Брови грозно нахмурены, ветер буйно трепал русый локон волос на бритой его голове.

— Привет тебе, великий! — задрал подбородок, вскричал Иванко. — К тебе, красно солнышко, пожаловал болгарский вестник! Мне передали его у Родняграда, и я вот поспешил с ним сюда!

— Поднимитесь немедленно. Оба, — строго приказал княжич. — Расшумелись, окаянные, тут вам не кружало, а матушкин двор. Нездорова она...

В большой горнице, занимавшей добрую половину второго этажа, народу было мало. Святослав, великая княгиня, воевода Асмуд да четверо стражей. Посреди горницы стоял низкий округлый стол под белоснежной скатеркой, на столе ничего, кроме кубка с лечебным зельем волхвов — крепкая ромашковая настойка — и незажженной свечи. Бревенчатые стены увешаны рушниками и дощечками с набойной мозаикой.

Ольга, осунувшаяся, с воспаленными глазами, закутанная в точно такой же пуховый платок, какие на боярынях при дворе, сидела в высоком кресле лицом к двери. Было ясно, что болезнь подтачивала ее изнутри, причиняла страдания, однако осанка и взгляд этой славившейся твердым характером женщины говорили о том, что не сдавалась недугу, терпела боль и даже силилась улыбаться сыну.

Княжич, в просторной рубахе, ремешок с кистями, в мягких красных сапожках на собольем меху, сидел на скамье у раскрытого окна, скрестив на груди руки. За окном виднелись облепленные грачами ветки огромного клена, луг и кусок проселочной дороги, по которой ползали, точно жуки, крестьянские телеги.

На краю этой же скамьи, почти в самом углу горницы, расставив мощные ноги в толстокожих сапожках, восседал косматый Асмуд. Грудь воеводы прикрывали две толстые выпуклые стальные пластины, ремни

которых были стянуты узлами на спине. Старый вояка сидел не на голой скамье, а на сложенной в несколько раз грубошерстной подстилке, по-видимому, служившей ему и плащом. Ножны меча упирались в ковер между ступнями, ручки сложены на рукоять, на ручищах квадратный щетинистый подбородок, исподлобья пронизывающий взгляд темных слезящихся и припухлых глаз. Дышит Асмуд с хрипотой, в ухе подрагивает серебряная серьга.

У дальней стены стояли стражники. Когда с поклонами ступили через порог Иванко с Блудом, трое стражников стали перед дверью, четвертый — между Ольгой и Святославом, чуть отступив назад.

Блуд снял шапку.

Святослав поглядел, подождал немного, да и обратился не к нему, а к дозорному:

— Ну, Иванко, кто он, как звать, с чем явился?

— Мне не сказывал, княжич, хотел тебя видеть, вот.

Тут шагнул Блуд вперед, откашлялся, губы облизал и молвил, вскинув густые ресницы:

— Я болгарин Милчо из Карвуны. Послан к тебе, великий князь россов, царем Булгарии, чтобы выразить его недовольство твоими действиями и предупредить, чтобы впредь внимательнее относился к выбору тех, кого отправляешь в Преслав. Твой гонец, нечестивый Богдан, оскорбил Петра, посадника божьего, и за это поплатился жизнью.

Он сказал это внятно, с поднятой головой, стройный и благообразный, с лицом красивым, как у девушки.

Наступила мертвая тишина. Лишь внизу, за окном, гомонили людские голоса да трещали грачи на клене.

Ни один мускул не дрогнул на суровом лице Святослава. Он произнес:

— Я слышал каждое твое слово. Но у меня есть сведения, что мой славный тысяцкий не добрался до Преслава. Его там не видели. Что ответишь на это?

— Сведения твои неверны. Он был там, там же и остался навеки за неслыханно дерзкий язык свой. А в доказательство вот тебе обратно твои свиток и грамота, что были привезены к нам нечестивым Богданом. — И Блуд вынул их из сумы, положил на стол. На свитке печать Петра.

— Что ж, выходит, твоя правда, хотя не вижу еще и знака... охранный мой знак, клык золотой на цепи. —

Алые пятна проступили на лбу и щеках князя, он продолжал: — Правда и то, что мой человек не мог оскорбить твоего повелителя. Значит, убит вами. Я ждал его осень, ждал зиму, весну. Однако... ты смел, очень смел, Милчо из Карвуны.

— Вестнику нечего опасаться, вестник неприкосновенен, — заявил Блуд.

— Так, — сказал Святослав, — неприкосновенен. Как и Богдан.

Дрогнул Блуд.

— Твоя справедливость известна. Ты всегда соблюдал закон. Я царский посланец, я ни при чем. Передал тебе, что велено. Никого и словом не обидел.

— Не ты ли разбойно жег и грабил наш Радогощ?

— Нет, я там не был, — сказал Блуд. — За содеянное царским указом я не ответчик. Бог царю судья.

Поднялся Святослав, зашагал из угла в угол. Стражники следили за ним, ворочая головами, ждали его приказания.

С дальних лугов пахнул теплый ветер, стукнула ставенка, покачнулись за окошком ветки, с которых шумно сорвалась стая грачей. Где-то заржала выскочившая за ограду лошадь, послышался смех и топот дружинников, бросившихся ее ловить. Асмуд с места хмуро покосился за окно, обронил словно невзначай:

— Засиделись богатыри на муравушке, на оружии плесень.

Святослав внезапно остановился перед матерью, спросил, касаясь ладонью ее увядшей руки:

— Благословишь?

— Слаба я, дитятко. Сиди в Киеве.

— Как же, матушка, усидеть. Не усидчивый я, весь в тебя.

— Сложишь голову, неугомонный. Мать пощади, не ходи на Дунай. Не сердце твое — камень.

— Благослови! Я верю, волхвы тебя поднимут, матушка! Благослови, великая! Во славу оружия благослови! Дай, мудрая, взять с обидчиков кровную виру! *

— Да, — сказала Ольга. — Но обещаю сидеть со мною, пока не окрепну.

Зашевелились воины-стражи, позвякивают кольчу-

* Вира — штраф.

гой. Святослав с колена вскочил, воевода медведем кинулся к нему с лавки, сгреб в объятие. Позабыли про лжебулгарина. А он покашлял в кулак, мол, делать здесь больше нечего.

— Ага, — пробасил Асмуд, указывая глазами на переминавшегося с ноги на ногу Блуда, — этого тут порешить, княжич, или вывести?

— Ни один волос не падет с его головы, — сказал Святослав. Он ушел в самый дальний угол горницы, взял с полки глиняный пузырек с краской, стерженьек для письма и ленту, вернулся к столу, развернул свиток, тот самый свиток, который побывал уже в стольких руках, и быстро, размашисто начертил что-то через всю его чистую сторону, свернул вновь и лентой перевязал. А воевода тут как тут, уж и свечку зажег, повернул пламенем вниз, капнул воск на перевязь свитка. Князь перстень приложил — готово.

— Вот тебе, Милчо из Карвуны, мое новое послание твоему царю. Отдай Петру, как достигнешь Преслава. Он хотел этого. — И, обернувшись к воеводе, добавил: — Ты, Асмуд, иди с ним. Скажи, чтобы дали провожатых да оседланный табун, коли хочет. Пусть летит обратно без задержки тем же путем, каким прибыл.

Святослав приблизился к окну и стоял там, погруженный в раздумье. Он проследил, как Блуд пересек двор, затем перевел взгляд на луга поверх темной далекой щетинки леса, над которым простиралась чистая синева неба. Неотрывно глядел князь на запад. Невесело.

А за Киевом, уже далеко-далеко, в лесных придорожных дебрях довольный собою Блуд решил взгянуть на Святославову запись. Придержал коня, приотстал от Иванки, сломил украдкой печать, быстро свиток развернул и увидел знакомые многим слова «Хочу на вас идти».

Рассмеялся, ибо не видеть булгарам того свитка.

* * *

Погребальный звон стоял над Византией. Вознеслась в небесное царство душа почившего императора Константина Порфирородного. Умер бессмертный.

Стоял перезвон, оглушал, сотрясал столицу и окрестности. Плотны закрыты все окна и двери, кроме

церковных и храмовых. Тучи вспугнутых звонницами воробьев суматошно взмыли над куполами, над верхушками кипарисов и обелисков, над запруженными народом улицами и площадями.

Покорный закону и любопытству, высыпал народ из домов. Все вышли до единого. Те, кого не вместили храмы, предавались всеобщей молитве под открытым небом. И хоть не всех опечалил тот день 959 года, но каждый старательно выражал скорбь. И на всех больших улицах и площадях видели в тот день священную колесницу с мраморным саркофагом.

Процессия змеем выползла из Палатия и растянулась по городу. Подданные усопшего владыки расступались, жались к стенам, очищая последний его земной путь.

Впереди процессии, кружась и завывая, брели глашатаи. Потом показывался сам патриарх Полиевкт в хрустящей от золота ризе, несущий в одной руке скромный крест, в другой — жемчужную диадему василевсов. Мальчики в белых балахонах, должно быть, олицетворявшие собою кротость и духовную чистоту, семенили за патриархом, послушно воздев к небесам замлевшие ручонки. Сзади них в полусотне шагов шли с опущенными головами могучие телохранители Константина в широких перевязях из пятнистых гепардовых шкур.

Притихшая толпа смотрела на усыпанную цветами колесницу Порфиородного, которую тащили за длинные кожаные лямки избранные военачальники. Их имена горожане нашептывали друг другу.

— Справа Афанасий Громоподобный, я узнал его.

— А это кто?

— Который?

— Тот, что выпрямился, смотрит поверх голов.

— Сам domestik Востока Никифор Фока. Грех тебе.

— И племянник его тут, молодой Варда.

— И еще один из рода Фок, Вукол.

— Смотрите, смотрите! Роман! Боже, я узрел черты Августейшего!..

— Посмотри лучше, как его августейшая красotka пялит бесстыжие свои глаза на воителя Никифора Фоку.

— Осквернительница супружеского ложа.

— Отсохнет язык твой, богохульник!

Горожанин, осмелившийся, перешептываясь с соседом, непочтительно отозваться о василиссе*, вероятно, относился к числу тех, кто не мог простить владыке, что он в свое время вопреки воле покойного отца взял в жены дочь простого владельца харчевни с улицы Брადобреев.

Да, василисса Феофано еще недавно босоногой девчонкой с именем Анастасия продавала фрукты, бегая с корзинкой между столами известной всему Константинополю таверны «Три дурака», принадлежавшей ее отцу. Слух о ее необычайной красоте и звонком, как серебряный колокольчик, голоске достиг ушей Романа, он приказал доставить певунью в Палатий, из которого она уже не вернулась на улицу Брадобреев. Стала у трона. О ее тайных встречах с Никифором Фокой не знал только муж ее, василевс Роман...

Отец ее тоже почил в лаврах. А новый хозяин «Трех дураков», сказывали, с утра до ночи гоняет своих дочек с фруктами по знаменитой харчевне, надеясь на такое же чудо в своей судьбе, какое выпало предшественнику. Обе дочери нового владельца веселого заведения, Митра и Кифа, по слухам, внешнестью не уступают счастливце Феофано, особенно младшая, Кифа, да разве повториться чуду?

История торговли Феофано, взошедшей на ступени храма святого Стефана во дворце Дафны, где бракосочетались императоры, стала притчей во языцех и, пожалуй, достойна более подробного описания, однако сейчас не это интересно для нас.

Траурное шествие завершали музыканты и воины. Печальные звуки греческих флейт-сиринксов, свирелей, фракийских гайд и арабских скрипок заглушались топотом солдат. Развевались боевые знамена — свидетели былых побед.

Затем взору присутствующих открылась ужасающая, отталкивающая картина. Люди пятились, содрогались. Женщины испуганно прижимали к себе детей, мужчины хмурились, глядя на толпу наемных плакальщиц.

Несколько сотен старух обрывали на себе волосы и одежды, царапали тела и лица. Ползущие на коленях, они сотрясали воздух воплями и рыданиями. Жутко было наблюдать, как ползут они, точно кишащая в

* Василисса — императрица.

пыли масса безногих калек в грязных лохмотьях. Фальшивое иступление несчастных существ страшно, омерзительно, как и сама их профессия, как и сам ритуал, требующий самоистязания за плату.

Днями позже эти же самые старухи заполнили эти же самые улицы. Только теперь уже они не ползли на коленях, стеной, а, напротив, довольно бойко ступали, принаряженные кем-то из придворных распорядителей в пестрые дешевые накидки, нестройно тянули заздравную песнь, изображали радость и ликование. И геральды-глашатаи, обгонявшие их, громко трубили весть о начале благословенного и нераздельного правления Романа, продолжателя Македонской династии. И церковный перезвон был оживленным, легким, и музыка на площадях игрива.

Поскольку Христос руками патриарха Полиевкта возложил венец на голову Романа II, жители Константинополя принялись настраиваться на грандиозный праздник. Со всех сторон фемы сгоняли на убой скот, везли клетки с птицей, горы съедобной зелени, восточные сладости и прочие лакомства. Варили вино, украшивали постройки. Съезжались издалека желающие попытать удачи на праздничных состязаниях. Скрипели колеса фургонов бродячих актеров, стучали копыта коней искателей приключений. Служители ипподрома готовились к встрече гостей.

А пока на Марсовом поле Евдома, расположенного за городской чертой, близ порта, и представлявшего собой несколько окольцованных садами дворцов, великолепные газоны и Трибунал, где обычно совершались торжества, выходы императора, особые богослужения, воинские ристалища или иные развлечения царствующего двора, состоялись провозглашение повелителя ойкумены и воинский парад. Отсюда были посланы гонцы во все доступные страны с приглашением на грядущее празднество.

Там же, в Евдоме, а точнее в белоколонной ротонде посреди благоухающего сада, произошла сцена, не лишенная для нас интереса.

Слегка утомленный событиями последних дней, уединился Роман под сенью цветущих деревьев погожим теплым вечером.

Отослав свиту, он долго полулежал на мраморной скамье ротонды. Уткнул локоть в подушку, подпер

ладонью щеку, глядел задумчиво вдоль сиреновой аллеи на огни лежащего внизу порта. Мерцающие отблески костров, у которых, он знал, грелись или готовили ужин люди, приплывшие из разных концов света, трепетно отражались в воде, словно множество светящихся, извивающихся, присосавшихся к берегу пиявок.

Ничто не нарушало покой Божественного. Разве только вкрадчиво звякнет в тиши броня на каком-нибудь из сомлевших от неподвижности телохранителей, что стояли, невидимые, где-то по сторонам, да глухо донесется волна отдаленного гулянья. В густой синеве воздуха витали успокаивающие, убаюкивающие, как журчание нежных струн, трели цикад. Нет-нет да и вздохнет неподалеку уснувший павлин.

На редкость был чист и приятен вечер. Взор лежащего наедине с мыслями василевса, казалось, проникал в бесконечность пространства, и отчетливо выделось ему желтоватое зарево по ту сторону Великого пролива. То светился на противоположном берегу Босфора городок Халкедон — ворота Азии.

Роман хлопнул в ладоши. В проеме аллеи тотчас возник силуэт воина.

— Логофета дрома ко мне.

Силуэт безмолвно исчез. Василевс неотрывно глядел на огни за Босфором, поглаживая пальцами холодный мрамор колонны.

В сопровождении двух слуг, держащих в вытянутых руках пылающие факелы, логофет предстал перед повелителем.

— Никифор вернулся в Халкедон?

— Он еще здесь, — ответил логофет. — Обожаемый, как ты велел, мы не спускали с него глаз. Его поступки не дали пищу подозрениям.

— Поступки?

Отблески факелов плясали на лоснящихся щеках логофета, и от этого казалось, будто он беззвучно смеялся. На самом же деле ему было не до смеха. Необычный вызов застал его врасплох на пиру. Он изо всех сил старался удерживаться на ногах твердо, и это ему удавалось с большим трудом, ибо крепко vino в евдомских подземельях.

Заметив его состояние, Роман не разгневался, поскольку грешно сердиться на подданных, пирующих в

твою честь, тем более что и сам он любил приложиться к чаше.

— Я жду, — сказал Роман мягче, усмехнулся, — можешь сесть. — И милостиво кинул тому под ноги одну из своих подушек. Уселся сам.

— О Лучезарный! Не смею! Недостойн! — воскликнул логофет, но все же охотно опустил на подушку и даже потратил изрядную толику энергии на то, чтобы скрестить под собой ноги.

— Говори.

— Вчера, мое Солнце, ни он, ни его племянник Варда после проводов вознесшегося отца твоего не отлучались из Палатия.

— Что делал Фока?

— В его покои не удалось проникнуть даже карлику Дроктону. Ормизда охраняется его людьми.

— А сегодня?

— Сегодня в полдень он посетил ипподром. Кониюшни.

— С кем встречался, с кем говорил там?

— Ни с кем. Там он не задержался. Зато удостоился особым вниманием палестру Анита Непобедимого. Долго беседовал с Анитом как с равным.

— О чем?

— Эта их встреча, в сущности, была повторением прошлых. Общеизвестна страсть Фоки к школе кулачных бойцов. Разве пристойно подобное общение с низшими?

— Посещение клоаки не делает ему чести, — изрек Роман, — но это не запрещено. О чем же шла речь у них?

— Анит похвалялся учениками. Особенно каким-то юнцом, которого приобрел у того самого дината, что плавал в Россию. По словам Непобедимого, раб обучился всем тонкостям кулачного боя всего за год. Анит во всеуслышанье пророчит ему величайшую славу.

— Славу рабу?

— Да, да, во всеуслышанье.

— И что же Фока?

— Доместик потребовал показательного боя тут же, на малой арене палестры. А раб заупрямился. Никифор Фока разгневался, его свита изрубила бы юнца на куски, если бы Анит не умолил пощадить упряма,

намекнув, что ты, Божественный, можешь осудить самоуправство азиатов в твоей столичной школе. С тем Фока и ушел.

— Раба-смутьяна, конечно, четвертовали потом?

— Нет. Анит ведь намерен выставить его на зрелище в твою честь.

— И то верно. Поглядим, что за невидаль откопал Непобедимый. Наказать всегда успеется. Раб кто?

— Тавроскиф. Совсем молод. На редкость ловок и силен. За право поставить на его плече свое клеймо Анит отдал динату шестьдесят златников, нарек Твердой Рукой и бережет как сына.

— Пусть же выставит его против ставленника Фоки, когда вознесусь на кафизму* ипподрома. Все равно кто будет биться с азиатом, лишь бы взял верх во славу мою и честь столицы.

Внизу постепенно угасали портовые костры. В бледном лунном свете скользили рыбацкие моноксилы. Между лохматыми контурами деревьев метались летучие мыши. Ветерок уже не приносил глухие голоса пирующих со стороны дворцов, шелестел неокрепшей листвою, и на молочно-белых колоннах ротонды мельтешили тени ветвей.

Словно угадав мысли василевса, логофет сказал:

— Завтра Никифор Фока будет уже по ту сторону пролива и не покажется здесь до самого праздника.

— Фока — надежный щит от арабов, — молвил Роман. — Пусть будет покой в Азии. Но сейчас ему нужно думать и о руссах с булгарами.

— Скоро, скоро ты, Наилучший, увидишь желанное.

Кивнул василевс, поднялся, величественно зашагал прочь. Мгновенно, как по команде, вынырнули из тьмы недремлющие телохранители, окружили его, плотно сомкнули щиты, двинулись, громяхая, и вспыхнул лунный свет в ребристых шлемах, кольчугах и панцирях. Запылало сразу множество светильников.

У Большого дворца Евдома кольцо легионеров разомкнулось, торжественно и благоговейно пропуская владетелина на широкую лестницу, усыпанную блестками и

* Кафизма — башня с площадкой и внутренним ходом, возвышавшаяся над трибунами, с нее императоры и их приближенные созерцали состязания на ипподроме.

душистыми ночными травами, что согласно поверью способствуют приятным сновидениям. Развернув строй, солдаты застыли по обе стороны входа.

Прежде чем войти внутрь, Роман задержался на верхней ступени, повернул лик на восток, будто силился разглядеть что-то в звездной мгле. Безмолвный, недвижимый, красивый, в длинных белых одеждах, пересыпанных мерцающими драгоценностями, он стоял и слепо вглядывался в пространство, туда, где лежали скрытые ночью и неохватными расстояниями иные страны.

И вдруг ахнула стража. Василевс испуганно замахал рукавами как крыльями, отбиваясь от летучих мышей, неожиданно посыпавшихся из темноты на белый шелк его хитона, вскрикнул и исчез в чреве дворца.

— Дурное предзнаменование... — зевая во весь рот, прошептал логофет.

Глава XII



и одно заметное событие в жизни империи не обходилось без ипподрома. И, поскольку в истории Византии события чередовались с калейдоскопической быстротой, ипподром Константинополя почти никогда не пустовал с тех незапамятных пор, как был построен.

Ипподром примыкал к восточной стене Священного Палатия. В центре арены находился Хребет, представлявший собой вытянувшиеся в линию овальные приземистые постаменты, на которых торчали в ряд статуи и символические изваяния. Амфитеатром расходились от арены скамьи трибун. Эта гигантская чаша вмещала до десяти мириадов людей. И над всеми возвышалась кафизма, с которой созерцали состязания василевсы и их приближенные. В этот день, День Романа, зрелище можно было, пожалуй, назвать грандиозным.

Колыхалось море голов. Тысячи глоток в едином порыве извергали оглушительные вопли радости или разочарования. Тысячами горящих глаз в неописуемом экстазе следили зрители за бешеной гонкой по кругу. Сменяя друг друга, новые и новые пятерки квадриг выезжали на арену. Лучшие лошади соперничавших цир-

ковых партий несли колесницы, взрывая упругий наст из кедровых опилок.

В воздухе витали клички коней, имена возниц. Победителей уносили на руках в громе хвалебных возгласов. Побежденные убегали под градом сыплющихся на них с трибун ипподрома обьедков, камней, подушек. Не мелочь, а золотые солиды переходили из рук в руки.

По узкому газону, разделявшему арену и трибуны, и между рядами беснующихся зрителей носились в седьмом поту грозные курсоресы. Они, блюстители порядка, то и дело пускали в ход заостренные жезлы, пытаясь охладить чрезмерно горячих, но все равно там и сям бесконечно вспыхивали потасовки, нередко заканчивавшиеся поножовщиной, воплями раненых, избиением и изгнанием зачинщиков.

Многочисленные служители ипподрома обитали в тесных конурах под трибунами. Жилые помещения чередовались с отсеками, где содержали зверей для травли, с конюшнями и складами. Вместилища палестры Анита Непобедимого также находились под трибунами, в левом крыле ипподрома.

Когда-то это была гимнастическая школа. Но популярность состязаний гимнастов увяла. Зрители предпочитали кулачные бои. Старое название школы осталось — палестра. Невольники юноши в ней по-прежнему занимались гимнастикой, акробатикой, бегом, плаванием и даже под присмотром бывалых вояк обучались искусному владению различным оружием, но все эти занятия были лишь дополнением к главным упражнениям бойцов. Кулачных бойцов.

Палестра — гордость и насущный хлеб Анита Непобедимого, знаменитейшего из силачей Империи Теплых Морей.

Все знали его, но никто толком не знал, откуда он родом. Одни высказывали предположение, что атлет пришел в Константинополь вместе с группой искателей счастья с берегов далекой Вислы. Другие утверждали: он с берегов Нимфии. Находились и такие, что поговаривали даже, будто он лазутчик или беглый раб, присвоивший чужое имя и пробивший своим кулачищем дорогу к богатству и славе.

Сам Анит никогда и ничего о себе не рассказывал. Потому-то и окружен был ореолом таинственности этот великан с лицом северянина, с телом смуглым, как у

южанина, с характером, вобравшим в себя, казалось, и жаркий темперамент юга, и, холодную суровость севера.

В день, описываемый нами, а точнее, в полуденные часы сравнительного затишья на ипподроме между первой и второй частями праздника в неизменной своей кожаной рубаше, распахнутой на груди, по привычке заложив растопыренные пальцы за широкий набрюшник, сидел Анит в углу небольшого зала и внимательно следил за упражнениями учеников. Он не выкрикивал замечаний, не ругал, не хвалил, только беззвучно шевелил мясистыми губами, и подрагивала курчавая светловолосая его борода.

— Довольно! — с напускной строгостью крикнул наставник. — Готовые ступайте в бассейн и одеваться, остальные долой с глаз по своим местам.

Юноши устремились к узкой двери, на ходу утираясь ладонями и переводя дыхание. Стихло эхо drobных хлопков под облезлыми сводами зала, в котором устоялись запах человеческого пота и чад нафтовых светильников, ибо свежий воздух почти не проникал в его полумрак сквозь единственную отдушину — дверь.

— Твердая Рука! — негромко позвал Анит.

Тот удивленно обернулся, уловив в голосе наставника нечто похожее на смятение и печаль, приблизился к тумбе в углу, где, не меняя позы, продолжал сидеть Непобедимый. Анит отвел глаза, пошарил взглядом вокруг, будто что-то искал.

Все четыре стены были до половины обшиты досками с толстыми войлочными набойками. Войлок обветшал под вмятинами от ударов. На узких полках выше дощатой обшивки горбились стопки лоскутов воловьей кожи, которыми обматывались кисти и запястья перед схватками. На полу громоздились мешки и всякие хитроумные снаряды. Эка невидаль, нечего там искать Аниту.

Сколько ни блуждал его взгляд, а все же встретился с выжидающими глазами Твердой Руки. Непобедимый натянуто улыбнулся, легонько похлопал ученика по бицепсам и произнес наконец:

— Мальчик мой, я открыл тебе секреты своего искусства, я научил тебя презирать плоть, я старался вложить в тебя и другие знания, доступные только мыслящим, я когда-то спас тебя от меча твоего прежнего хозяина. Так ли это?

— Да, — последовал ответ.

— Я одинок, успел привязаться к тебе, моя надежда... Помнится, что обещал тебе благо. Так?

— Да.

— Память и у тебя хорошая. Запомни же то, что услышишь сейчас. — Анит поднялся с тумбы, плотнее притворил дверь, прислонился к ней спиной и умолк на некоторое время, очевидно, подыскивая нужные слова. Было ясно, что какая-то тяжесть легла на его сердце.

Он был хозяином. Светловолосый юноша, стоявший перед ним, был рабом. Раб не испытывал ненависти к хозяину. Это звучит чудовищно, но это было так. Ни один из подневольных учеников Анита Непобедимого не таил на него зла. Даже самый строптивый из них, Твердая Рука.

Анит не пользовался правом унижать, хотя, конечно, и бывал груб, как все, на чьей стороне власть. Он обладал силой и мужеством, а сила пользовалась особым уважением.

Хотя Твердая Рука не мог сказать себе: «Я ненавижу этого человека», — Анит все же был в его глазах одним из заслонявших свободу.

— Запомни, — повторил Непобедимый. — Сегодня ты впервые ступишь на Большую арену вместе с испытанными бойцами. Выйдешь в восьмую, последнюю, пару. Против Маленького Барса из Икония.

— Почему против маленького? Давай зверя крупнее.

— Погоди, — усмехнулся Анит, — увидишь, какой он маленький. — И вдруг вновь омрачился. — Справишься ли... Лучше, если не справишься с ним, ибо, как сказал Гомер, победа меж смертных превратна...

— Я не ослышался, Анит? Хочешь, чтобы я уступил?

— Ты не ослышался, а я не оговорился, — вздохнул атлет.

— Тогда я и шагу не сделаю из этого логова! Иди туда сам!

— Молчи! Да, Непобедимый учит побеждать. Да, в моей палестре победители таких состязаний, как сегодня, получали свободу. Да, тебе она тоже грезится. Да, да, да, все это истины. Но не сейчас. Слушай меня, не прогадаешь. Я приказываю тебе лечь перед бойцом из Малой Азии.

— Не верю, — сказал Твердая Рука, — не верю, что

тебе нужно мое бесчестье в первом же бою. Я ждал этого часа. Нет, не отступлюсь от надежды! Лицемерны твои обещания, лживы!

Анит так пнул ногой дверь, что крикнули петли, вне себя бросился к висячему пузырю, который недавно усердно колотили его питомцы, и от одного страшного удара бычьей кожа оглушительно лопнула. Кто-то испуганно заглянул в дверь и мгновенно исчез, точно его ветром сдуло. Неузнаваемый наставник схватил ученика за плечи и, обжигая дыханием, зашипел ему прямо в лицо:

— Маленький Барс — первый боец домашнего Фоки. Того всемогущего мужа, чей меч уже однажды едва не отсек твою пустую голову за отказ биться в его усладу. Кто тебя спас? Я! И тогда спас я! Анит! Маленький Барс прихлопнет тебя как муху, вот он какой!

— Я выйду на честный бой, — твердил юноша, — за свою свободу. Выйду, потому что ты сам объявил мне об этом.

— Выйдешь и уступишь азиату. Так нужно, если хочешь жить.

— Нет, Анит.

Наступившую в зале тишину нарушал лишь усиливавшийся гул толпы, вновь стекавшейся на ипподром. Прерванный праздник возобновился.

Анит сказал вдруг совершенно спокойно:

— Если Маленький Барс из Икония возьмет верх, домашник Никифор Фока вновь блеснет над столицей. Свободный Барс должен победить, и тогда против него выйду я, тоже свободный, и повергну азиата в честь василевса. Роман утешится, но и лавры Фоки не увянут. Существует среди высших такое, о чем нам не следует знать. Не будем дуть против ветра. А твое от тебя не уйдет, обещаю. Но сейчас... Ступай к остальным. Ты в последней паре. И помни: все, что слышал здесь, сказано человеком, которому ты дорог.

— Мне воля дороже слов, — сказал юноша, — надо за нее и с тобой в круг войти — войду. Я другое слышал. Будто еще старый цесарь объявил тут когда-то, что дарована будет воля всякому из палестры, кто тебя осилит в кругу.

Анит заглянул в глаза любимого ученика и молвил тихо:

— Бедный мальчик, огради тебя бог от этого...

Вышли к трибунам и уселись на скамье в ожидании своего часа.

Между тем наверху заполненные до отказа трибуны нетерпеливо требовали начала состязаний легких колесниц, по одной лошади в упряжке. Но сигнала не давали. Ждали василевса.

Наконец десять мириадом зрителей вскочили со своих мест, вознесли руки и пропели хвалу. Курсоресы врассыпную бросились от кафизмы, их сменили телохранители императора, и сам Роман II показался наверху башни. Божественный и его свита расселись и застыли, напоминая аккуратно расставленные раззолоченные бюсты.

Отворилась медная дверь у основания башни, из нее вышел глашатай, он картинно встал на площадке, упершись руками в ажурную оградку, медленно обвел взглядом обе крутые внешние лестницы кафизмы, словно хотел убедиться, что никто посторонний не осквернил своим присутствием их священные ступени, после чего торжественно выкрикнул традиционную фразу:

— Да озарит мой свет всех вас, римляне! * Начи-
найте!

Трибуны взревели с новой, восторженной силой, ибо голос этого глашатая считался голосом самого василевса. Просигналили буксины, и, взметнув опилки арены, рванулись из-под арки кони, и защелкали бичи возниц, и казалось, что вот-вот начнут лопаться от крика люди вокруг, и эхо ликующего ипподрома полетело над городом до самых дальних маслиновых рощ.

Колесницы — синие, желтые, зеленые, красные — пестрой вереницей растянулись по всему овалу арены. Но вниманием бушующего ипподрома завладела одна из них. Никто не сомневался в ее победе. Огненный конь и на пятнадцатом круге бежал так же легко, как и в начале гонки.

Изящен и стремителен бег огненно-рыжего коня. Выкрашенная в белый цвет колесница была достойна восхищения. Ею ловко управлял возница крохотного роста, он стоял на тонкой оси между высокими колесами, одновременно удерживая струны-вожжи и прикрывая, выставив локти, лицо кулаками, чтобы не захлебнуться ударами встречного воздуха.

* Нередко называя Константинополь, свою столицу, Вторым Римом, византийцы любили торжественно величать себя римлянами.

— Где вскормлен такой? — несло по рядам.

Начался предпоследний, девятнадцатый круг, когда из ниши под трибунами вышли кулачные бойцы. Анит в своем нарядном белом колпаке с пером и его питомцы расселись на специальной скамье, оглушенные воплями окружающих.

Едва Твердая Рука взглянул на арену — вскочил, точно ужаленный. Он даже не пытался скрыть или подавить волнение, охватившее все его существо. Впрочем, никому не было до него дела. Один лишь всевидящий учитель заметил судорожный порыв своего любимца.

— Что с тобой?

Ответа не последовало. А между тем завершался последний круг гонки, возбуждение ипподрома достигло высшей точки. И вдруг сумбурный гул толпы рассек резкий, пронзительный крик:

— Жар! Жарушко-о-о!

Перо отказывается описать то неопишемое, что произошло на ипподроме вслед за этим криком, ибо невозможно найти слова, способные в полной мере передать картину суматохи, какая всколыхнула и без того бурлящее людское море.

Не каждый из десяти мириадов горланов расслышал крик Твердой Руки, но все десять мириадов увидели собственными глазами, что сотворил этот крик.

— Жар! Жарушко-о-о!

Огненно-рыжий конь с белой колесницей, уже готовый разорвать грудью гирлянду из живых цветов, тот самый скакун, которому оставалось несколько прыжков до победной черты, непостижимым образом уловив в общем шуме голос юноши, взвился на дыбы и с громким ржанием завертелся на месте.

Столь внезапно остановившуюся белую колесницу с ходу сшибли другие, мчавшиеся за ней. С треском рассыпалась она. Точно стрелы из сломанного колчана, разметались спицы колес, покатались лопнувшие обода, кувыркотом отлетел в сторону ошеломленный возница.

А колесницы все сталкивались и сталкивались, образуя шевелящуюся грудую, в которой смешались разноцветные щепы, клочья тряпья, хлысты, ленты, обезумевшие лошади и люди. Вот так куча мала!

Жар растерянно носился по арене вокруг Хребта, над растрепанной светлой гривой развевались обрывки

поводьев. Невредимый, резвый, гордый, как алый факел, он искал того, кто его окликнул.

Улеба (мы, конечно, давно догадались, что это был именно он) буквально силой Анит и двое массажистов втолкнули в нишу и потащили в одну из комнатушек палестры. Хорошо, что Непобедимый не растерялся и проделал это сразу, пока толпа не разобралась что к чему, иначе бы не сносить головы нарушителю зрелища.

Отправив массажистов обратно и опустив за собой щеколду дверцы, Анит стал в позу судьи, сложив на груди руки и хмурия брови. Ждал, когда юноша придет в себя. Потом сказал:

— С меня довольно. Если выживешь после боя с Маленьким Барсом, сам не пощажу тебя.

— С меня тоже довольно! Не на потеху войду в круг, ради воли!

Улеб решительно шагнул к выходу, но Анит, играя желваками, преградил ему путь.

— Не выйдешь, пока не позову.

— Я хочу наверх! Должен выйти к нему! Он мой!

— Он хочет, -- с сарказмом заметил Анит, -- один свободный господин хочет видеть... кого?

— Своего Жара! Коня моего!

— Ах, вот как! — продолжал наставник, с трудом сдерживая негодование. — Разумеется! Ты же свободный! Ты же достаточно богат, чтобы выкупить его. Может, заодно приберешь к рукам все конюшни Царицы городов?

Анит размахивал в воздухе кулачищами, уже не сдерживаясь, кричал, потрясая бородкой:

— Не обещай я повелителю показать тебя, избил бы собственными руками! Только сунься наверх, разорвут и затопчут! Я догадался, что красный конь имеет к тебе какое-то отношение, сразу заметил, как исказилось твое лицо, едва ты вышел к арене. В который раз я спасаю тебя! Довольно же! Горький сей день для тебя, больше я не учитель, а враг твой! Буду смотреть без жалости, когда курсоресы крюками поволокут твой труп из круга!

Улеб глядел в одну точку, думал: «Анита прощаю, он не злобив ко мне, хоть и грозит. Это ль не радость, что видел Жара своего! Уж я разужнаю, где искать его, когда выберусь отсюда. Жди и ты, Улия-сестрица, я приду за тобой на чужбину. Быть бы живу мне...»

Сверху непрерывными волнами доносились шум и топот.

Удар гонга. Худощавые, как на подбор, жилистые меднотелые бегуны в разноцветных набедренных повязках застыли перед чертой, вытянув правые руки и слегка наклонив вперед туловища. Со вторым звуком гонга ринулись разом, только пятки замелькали. Притихшие было трибуны вновь всколыхнулись.

Пока бегуны носились по кругу, сменяя друг друга, кулачные бойцы всех фем под предводительством своих наставников и под надзором нескольких выборных граждан из числа зрителей торжественно направились к Хребту, где поочередно, нахлобучивая на голову покрывало, вслепую вынули из серебряной вазы «свои» буквы — бронзовые жетоны с выбитыми на них прозвищами доставшихся им соперников.

Вызвали Твердую Руку, велели ему оставаться на скамье под аркой. Он жребий не тянул. Противник был известен заранее, и Улеб искоса с любопытством поглядывал на того, кто также не касался вазы и тоже разглядывал противника, оценивая.

Человек огромного роста, могучего телосложения. Нелепое его прозвище — явный плод иронии, ибо менее всего он походил на барса и тем более маленького.

Широкий приплюснутый нос, близко сдвинутые к переносице глаза под низким лбом, покрытые редкой растительностью щеки, жесткие черные волосы, скрученные на затылке в тугую жгут, толстая коротковатая шея. Казалось, массивный подбородок прятался за дугами ключиц. Широкая и выпуклая грудь, расслабленно свисающие скобы мускулистых рук, тонкие поджарые ноги со вздувшимися венами. Если к перечисленному отнести еще наряд, состоявший, как подобает бойцу, из коротких штанов, набрюшника, обычно не столько предохранявшего живот, сколько указывавшего границу дозволенного чужому кулаку, и повязку из воловьей шкуры, уберегавшую пальцы правой руки от вывихов, — вот и весь внешний облик ставленника великого domestika восточных войск.

Жеребьевка окончилась. Те несколько граждан, что присутствовали при ней в роли свидетелей, облеченных доверием сограждан, разбежались к трибунам и объявили пары.

И тогда же глашатай с кафизмы под всеобщий ропот

недоумения громогласно призвал к себе Анита Непобедимого. Однако, как выяснилось, это не повлияло на ход празднества. Анит растерянно поплелся к кафизме, не понимая, зачем он там понадобился, и был еще на полпути, когда волею василевса начались бои и зрители успокоились, вернее, наоборот, разразились новыми страстями — спутницами массовых зрелищ.

Пары сменяли одна другую. Под неистощимые вопли толпы бойцы усердно тузили друг друга, как разъяренные петухи. Поверженных изгоняли с позором, причем особенно рьяно свистели и ревели те зрители, для которых их поражение оборачивалось денежными убытками. Победителей уносили на руках.

Вернувшись на арену, Анит напрямик направился к безучастно сидящему Твердой Руке.

— Эй, не узнаю задиру! — бодро обратился он к юноше, присаживаясь рядом на корточки. Видно, визит к кафизме оказался приятным или во всяком случае безопасным. — Выше голову, мальчик, не то подумают, что струсил мой хваленый боец перед Барсом.

Улеб невесело усмехнулся:

— Ты чему рад? Твои-то ложатся перед гостями, как сговорились.

— Не все, не все, мой мальчик, я видел оттуда.

— Не нравится мне лживое представление.

— Не беда, — оборвал его Анит, — Барс размахнется, понравится.

— Тем и тешусь.

— Там, внизу, помнится, было тебе не до шуток, — заметил Анит весьма благодушно, точно нравилась ему эта словесная перепалка, — теперь же, вижу, ты настроен шутливо, мальчик мой. Я не против. В круг нужно идти с легким сердцем. Могу порадовать еще. Сказали мне, что Барс из Икония готовился как никогда. Тебе не устоять, я знаю это лучше других. Отныне ты мне безразличен. Шути и смейся, все позволено обреченному. Глумись надо мной, не моргну даже. Я добрый, помолюсь за тебя, безбожника, Христом клянусь.

— Клянусь Сварогом, отплачу тебе когда-нибудь добром то же.

— Повтори.

— Отплачу тебе добром за доброту.

— Благодарю, — рассмеялся Анит, — запомню.

Сам же вспомни все, чему научен мною. Надеюсь, ты продержишься долго перед силачом Никифора Фоки, ибо богу в лице Романа угодно, чтобы боец domestica не блеснул слишком скорой своей победой. О чести же василевса снова позаботится сам Анит Непобедимый.

— Меня в круг кличут. — Улеб резко поднялся со скамьи и ринулся на голос зазывалы.

— Иди, мальчик мой... Прощай!

Ну и странный же был человек тот Анит, неровный характером, путаный в мыслях и поступках.

Твердая Рука уже стоял у кромки песчаного круга, истоптанного ногами предыдущих бойцов. Напротив также за пределами круга шириной в две маховые сажени стоял его грозный противник. По газону перед трибунами бегали служители в высоких пестрых колпаках и выкрикивали народу прозвища обоих, восхваляя их достоинства и прославляя тех, во имя кого они вышли на бой.

Согласно ритуалу два человека из свиты Никифора Фоки воздели руки своего Маленького Барса к небу. Двое чинов из Палатия проделали с Твердой Рукой то же самое. Зрители дружно откликнулись восторженными приветствиями.

Вот четверо посредников демонстративно ощупали воловь шкурки на правых кулаках бойцов, дескать, не припрятано ли под перевязями железо, и разом отбежали прочь, растопылив пальцы: все в порядке, мол, пара готова. Последовал привычный возглас глашатая:

— Да озарит мой свет всех вас, римляне! Пусть начинают!

Росич шагнул в круг. Левая рука, как должно, ладонью вперед, точно выставленный маленький щит, правая кулаком на бедре. Взгляд цепкий. Анит, наставник, учил в палестре по глазам врага угадывать его намерения.

Помнил юный и то, что перед схваткой полагались взаимные словесные угрозы. Умение предварительно оскорбить и охаять противника расценивалось как доказательство храбрости.

Приняв стойку подобно Твердой Руке, Маленький Барс разразился бранью под одобрительное гоготанье трибун:

— Эй, ничтожество, не вижу тебя! Где ты? Отзо-

вись, жалкий скиф! Хоть пискни, не то наступлю нена-роком, раздавлю пяткой! Вот беда, совсем затерялся среди песчинок!

Улеб молчал.

— Покажись! — куражился ромей, и зрители показывались со смеху. — Ах, как это я упустил из виду, — он хлопнул себя по лбу, — ведь червяки безголовы! Так пошевелись, червь, чтобы я смог разглядеть тебя под ногами!

Анит, раскрасневшийся от досады, издали усиленно подавал ученику знаки, требуя, чтобы тот отвечал Барсу, даже подсказывал начальные слова витиеватых ругательств.

Улеб молчал. Зато соперник его не терял времени даром, потешался вовсю.

— Ну вот, почтенные граждане, что же мне делать? — Корча рожи, он оборачивался во все стороны, как бы ища совета. — Как теперь быть? Граждане! Христиане! Как быть мне? Слышу исходящее от скифа зловоние, но не вижу его самого!

Молчал Улеб, побелев лицом.

— Скажи наконец что-нибудь, несчастный! — раздался отчаянный крик Анита. — Ответь ему, пока не забросали объедками! Отвечай, не то изгонят!

— Трус! Безъязыкий раб! — ревела толпа. — Утопи его в плевке, Маленький Барс! Бей, круши варвара! У-у-у, гнуснейший трус!

И Улеб воскликнул внезапно и страшно:

— Быть убийству!

Эхом прокатились по притихшим рядам бесчисленных скамей амфитеатра слова юноши. Будто от страха спрятались краешек мутного солнца за куполом дворца Антиоха, и голуби пали всей стаей на кровли домов, и дико прозвучал визгливый хохот какого-то пьяницы где-то далеко наверху, на самых последних местах трибуны.

Только сейчас понял Улеб, почему его противнику дали такое прозвище.

Огромный Маленький Барс преобразился. Казавшийся поначалу неповоротливым и угловатым, он весь собрался в подвижный комок. Упругими кошачьими прыжками перемещался по кругу, рассчитывая ошеломить всех каскадом обманных телодвижений, показной неутомимостью и рычанием. Туловище его то сжима-

лось пружиной, то изгибалось дугой. Он появлялся сразу со всех сторон.

Однако Твердая Рука был внимателен, ловко уклонялся от ударов, отступая пока, чтобы скомкать первый натиск самонадеянного, хитрого и опытного силача.

Они кружили, вцепившись друг в друга взглядами, кружили до тех пор, пока Барсу не стало ясно, что росоича не испугать наскоком, что тот не дрогнул, а умно выжидает, когда прекратится эта бесплодная пляска.

Настал черед азиату оценить соперника по достоинству. Сорокалетний мужчина перестал рычать зверем, прыгать козлом и молотить кулаками воздух впустую. Выровнял дыхание. Юноша оказался удивительно увертливым, и великан пошел на него массивной грудью без лишних выкрутасов, полагаясь теперь только на сокрушительную зрелую силу своих мускулов.

Когда они сошлись, Улеб не увидел тавра на плечах Барса. Правду сказал Анит: боец Фоки был свободным. Это озадачивало, ибо трудно понять, зачем свободный человек не посвятил свою врожденную мощь настоящему ратному делу, а топчет песок ипподрома ради прихоти и тщеславия других.

Словно угадав мысли Твердой Руки, Барс прохрипел:

— Позабавь меня, раб. Сдохни!

Пудовый кулак просвистел у самого виска, Улеб еле успел уклониться. Промажнувшись, Барс быстро наступил ногой на ногу согнувшегося юноши, не позволив тому отпрянуть, и вновь размахнулся.

Этот прием не новинка. Будто на упражнении в палестре, Улеб мигом припал на свободную ногу, вытянув придавленную, и вскинутой ладонью левой руки погасил вражий удар, одновременно посылая свой кулак справа в короткую шею Барса.

Но и встречный этот его удар оказался не лучше. Тугая повязка на кулаке лишь чиркнула по надежно прикрывавшей горло ключице ромея. Это не в палестре, напарник не тот. Там были семечки, здесь твердый орех, мужчина, живая крепость.

И все-таки Барс отшатнулся, Улеб выдернул ногу, точно из капкана. Присел и взвился. Цель ускользну-

ла. Снова присел, опять метнулся и вновь мимо. Барс умело защищался и уже не похвалялся, не грозился, не сквернословил, плотно захлопнул рот — не до того.

Вскоре симпатии зрителей разделились. Ловкие, четкие, полные грации движения юноши вызывали невольное восхищение многих.

— Бей, Маленький Барс! Проломи ему череп! — в экстазе вопили сторонники Никифора Фоки.

— Не поддавайся, Твердая Рука! Вперед! Смелее! Во славу Божественного! — кричали те, кто искренне принял сторону новичка, и те лицемеры, что находились неподалеку от кафизмы и надеялись привлечь внимание василевса своим рвением.

Будь Никифор Фока простолудином, он, наверно, кричал бы погромче низших. Однако великому военачальнику, жемчужине византийской знати, первому из прославленного рода, тайно, но решительно прокладывающему путь к трону, подобает хранить сдержанность, даже если снедает страстное желание посрамить своим ставленником бойца столичной палестры, подвластной сластолюбивому Роману, на глазах у всех, ибо чувства народа склонны к сильнейшему.

Между тем Барс вынужден был теперь отступать под ударами Твердой Руки. Удары эти все чаще и чаще достигали цели, становясь все ощутимее и ощутимее.

Пятился Барс, прилагая все усилия и призывая все накопленное годами умение, старался изо всех сил не выйти за пределы круга под натиском вездесущего кулака молодого бойца. Трижды переступивший черту побежден. А юноша был неистов, отважен, умен в бою. Да, не пустые были слухи об удивительном мальчишке Непобедимого.

— Довольно! — сложив ладони рупором, увещевал Анит ученика. — Ложись! Плати мне послушанием за доброту, как обещал! Хватит тебе для начала!

Но росич по-прежнему, впившись взглядом в растерянные глаза противника, теснил и теснил того, как пчела зверя. Не привык Барс к затяжным поединкам, задыхался, нелегко ему столько времени перебрасывать из стороны в сторону груды собственных мускулов. Услышал вдруг Улеб прерывистый шепот:

— Не выдержи больше... поддайся... одарю щедро...

— Неужто наконец заметил меня в песке?

— Ах так ты, проклятый червь! Изувечу!!

Лицо врага покраснело подобно железу в огне. И привиделась Улебу наковальня и раскаленная кузнь на ней. Не оплывший жиром злобный лик напротив — горячая крица из печи. Крицу бить-молотить — кузнецу дело спорое.

Рухнул Барс, как подрубленный, на колени. Жуткая гримаса боли и ужаса передернула его лицо, помутнели, остекленели глаза. Распластался и затих. Последний удар Твердой Руки стал роковым.

Ревел ипподром:

— Смерть варвару, погубившему праведника!

— Лавры!

— Кому лавры, убийце?

— Слава Твердой Руке!

— Кол заведомому убийце!

— Слава Божественному! Хвала Аниту! Честь молодому бойцу-триумфатору!

— Сжечь язычника! Дьявол двигал его руками! Сжечь в чреве Тавра!

— В театр на растерзание хищникам!

— Лавры ему!

— Сме-е-ерть!

Замелькали короткие зеленые плащи курсоресов, что, сомкнув ряды, сдерживали напивавшие толпы разъяренных и ликующих людей остриями жезлов и обнаженных мечей. Потрясенного Улеба пронесли на руках к мраморным ступеням кафизмы. Цветы и камни сыпались на него.

— Смерть или лавры? — громоподобно вопрошал ипподром, обратясь к василевсу.

Божественный молвил устами глашатая:

— Лавры!

Раздался трубный сигнал, извещавший об окончании состязаний. На арену вышли музыканты для заключительного шествия. Сопровождавшие их служители зажгли множество факелов, огненные языки замерцали блекло, невыразительно, ибо еще не наступили сумерки, хотя солнце и скрылось из виду. Возле выходов в город образовалась толча: самые нетерпеливые из зрителей поспешили домой, живо обсуждая виденное.

— Нет! — тщетно восклицал Улеб. — Нет, еще не конец! Хочу в круг с Непобедимым! Волю хочу добыть!



аставник палестры был приглашен в Палатий и вернулся оттуда с таким видом, будто спустился с небес.

Щедрость василевса распалила щедрость и в нем. Он решил одарить Твердую Руку горстью крупных монет. Тугой, как кулак, мешочек с золотом для раба — явление настолько редкое, что молве и не припомнить подобного.

И не менее редко можно видеть кубки с хмельным виноградным напитком в руках подневольных. Но сегодня Анит во всеуслышание распорядился выдать в его отсутствие вино и пищу бойцам, какую пожелают.

Так рассуждая, довольный собою и всем на свете, пересек Непобедимый опустевший ипподром, милостиво отвечая на приветствия полусонных сторожей, которые всегда безошибочно узнавали знаменитого атлета даже издали по особой, уверенной походке и его манере хлопывать по бляхам набрюшника при ходьбе.

Приблизившись к нише, ведущей в помещения палестры, он замер и прислушался. Голоса, сочившиеся снизу, отнюдь не напоминали веселый шум пирушки. От удивления и досады Анит не сразу заметил еще более странное отсутствие стражи наверху и на нижней площадке лестницы. Толкнул ногой дверь, согнувшись, чтобы не задеть головой дверную лутку, шагнул в зал и застыл у порога, повода взглядом.

Посреди зала лежал опрокинутый стол, повсюду валялись скамьи, черепки битой посуды. Курсоресы из охраны левого крыла ипподрома, ошетинясь жезлами, стояли в угрожающих позах перед оттесненными в угол учениками палестры. Все вокруг носило следы недавнего столкновения, как видно, прерванного появлением хозяина. В наступившей тишине лишь громко стонал стражник, что сидел на корточках, придерживая челюсть обеими руками, да потрескивали светильники.

— Что здесь происходит?

Один из курсоресов, тыча в Улеба пальцем, пояснил:

— Похоже на бунт. Этот осмелился громогласно обвинить тебя во всех грехах. И все они развесили уши, а Прокл с площадки услышал и позвал нас. Мы прибежа-

ли и тоже слышали, как раб чернит твое имя. Вот их благодарность за угощение! Прокл хотел покарать его жезлом, но скиф ударил его раньше, а потом схватил вертелo. Видишь, как мучается бедный Прокл. Мы собрались перебить их за неповиновение, и, клянусь, сделаем это, если ты не возражаешь.

— Все вон! — крикнул Анит курсоресам.

— Но, Непобедимый, ведь раб называл тебя бесчестным трусом. Все слышали.

Анит резко повернулся к Улебу, на побелевшем его лбу выступили капли пота.

— Это так? Отвечай, Твердая Рука!

— А разве это не так? — сказал Улеб, глядя Аниту в глаза.

— Значит, ты уже начал лить яд измены в души моих учеников? Ты, которому я нес золото в награду, хотел поднять их против своего благодетеля?

Улеб швырнул вертелo на пол, приблизился к Непобедимому вплотную.

— Ты обманул меня. Сегодня я заслужил свободу. Где твое слово, Анит? Стань со мной в круг. Или вели своим псам зарубить меня. Смерть или свобода!

Наставник, к общему удивлению, выслушал юношу спокойно, затем произнес:

— Убирайтесь все. Оставьте нас вдвоем.

Когда все, кроме Улеба, удалились, наставник несколько раз прошелся из угла в угол, затем поднял одну из скамеек и усталo опустилcя на нее.

— Смерть или свобода... — сказал он. — Боюсь, тебя ожидает первое. Ты умрешь, едва покинешь палестру. Бесславно умрешь от мечей охраны ипподрома или от копий городских патрулей. С твоим нравом не выжить в этой стране без моего надзора. Со мной же познаешь благо. Дай срок, и я срежу свой знак с твоих плеч. Но не сейчас. Сам Никифор Фока велел мне сбeречь тебя. Что у великого воина на уме, я не знаю, но могу ли послушаться? — Он взял Улеба за руку, усадил рядом с собой. — Нет, не трус твой учитель, не бесчестен, только хочет вывести тебя к славе. Имя Твердой Руки может воссиять рядом с именем Непобедимого. Не хватает времени, чтобы объяснить тебе все, но, чтобы доказать, необходимо время. Я старею и подумываю о том, кто способен продолжить мое дело. Нет тебе равных, я знаю.

— Хочу на родину, искупиться хочу перед родичами, — сказал юноша тихо. — Да не понять тебе, видно...

— Ошибаешься, мальчик мой, я понимаю больше, чем думаешь. Ты пробудил во мне воспоминания о тяжелой моей юности.

— Отпусти с миром.

— Повторяю, ты падешь за пределами палестры. Твой бывший хозяин, патрикий Калокир, уже пытался выкупить тебя. Кажется, ты понадобился не то кому-то в его отдаленном кастроне, не то самому динату. Это опасно, ибо Калокир теперь человек видный, умеет добиваться своего. Неспроста охотится за тобой, неспроста.

— Посторонись, Анит, и я сам о себе позабочусь. Ты лучше других и, если тебе будет худо, а я окажусь не слишком далеко, поспешу на зов. Вот мое слово.

Непобедимый знал цену словам любимого ученика, а те, что услышал сейчас, тронули сердце атлета.

Долго молчали они. Долго и мучительно раздумывал Анит. И молвил в конце концов:

— Тебе одному из всех я не скоблил головы. И кольцо с шеи снял, когда привел сюда прошлым летом с улицы Меса. Обещай, что не будешь биться во славу другого.

— Ни в кругу, ни в поле не стану биться во славу чужого племени. Я на Руси родился, росичем и помру.

— Храни тебя бог, безбожник. — Анит обнял юношу, ласково потрепал за льняные волосы, поднялся со скамейки. В эту минуту он показался Улебу прекрасным и мужественным как никогда. — Возьми, мой мальчик, это может тебе пригодиться. Бери, бери, твое по праву. — Он протянул Улебу мешочек с монетами и направился к двери. У порога обернулся с печальной улыбкой, подмигнул, погрозил пальцем и многозначительно добавил: — Я тебя не отпускаю, верно?

— Анит! Учитель! Я хотел сказать... Я хочу выразить...

— Сомкни губы, мужчина.

— Прощай, Непобедимый!

— Прощай, пока не задушил тебя собственными руками.

— Ох, Анит!.. Тебе не место здесь, идем со мной! Там, за Днестром-рекой, научу тебя лучшему ремеслу! Дам свой молот! Отцовский! Какое железо рождалось

бы в наших руках! Анит, ты создан для кузни! Та слава повыше твоей! Я покажу тебе красное от руды озеро в Мамуровом бору, там ее сколько угодно! Отыщем Улию — и домой, к нашим!..

Сначала Анит испугался, подумав, что малый тронулся умом, потом прислушался к сумбурным восклицаниям и, уловив их смысл, разразился хохотом. Он хохотал, запрокинув голову, держась за колыхавшуюся грудь, тряся бородкой и выпучив глаза.

Но почему-то хохот этот постепенно обретал какую-то странную окраску. Звуки, вылетавшие из kloкочущего горла атлета, становились все глуше и глуше, хриплые, точно кашель больного и скорбного. И вот стало тихо. И тихим был голос Улеба, когда он сказал Аниту:

— Не знаю, что со мной... Прощай... Нет, погоди. Ты не скажешь, где стояло того красного коня?

— Знаю, что у тебя на уме. — Анит открыл дверь и, уже переступив порог, бросил через плечо: — Первая конюшня от ворот.

И хлопнул дверью, ушел. Улеб потер щеки ладонями, встряхнулся, словно от забытья, и, выждав немного, выглянул наружу.

На площадке за дверью никого не было. Лестница, ведущая наверх, тоже была пуста. Улеб незамеченным прокрался к трибунам, спрятался между скамейками и огляделся.

Посреди арены под сенью статуй Хребта, гогоча и переговариваясь, десятка два курсоресов разделявались с бочонком вина в пляшущем свете смолистых факелов, воткнутых в грунт. Наблюдая, как стражи пируют, Улеб усмехнулся. Что же, пускай, ему это наруку. Ночь стояла теплая и звездная. За стенами ипподрома еще не стихли песни подгулявших горожан, мелодичные переключки музыкантов, крики и ссоры, обычно венчавшие чрезмерно затянувшиеся празднества.

Чтобы скорее достичь первой конюшни, можно было бы пересечь арену напрямик, вряд ли пирующие у Хребта курсоресы, ослепленные факелами и вином, разобрали бы что-либо дальше нескольких шагов от себя, однако осторожность не излишняя, и Улеб бесшумной ящерицей пополз вдоль скамей трибуны.

Конюшню стерегли двое. Сидя на корточках друг против друга, они вычерчивали что-то на песке, должно

быть, играли в какую-то игру. Внутри помещения горел свет и видны были стойла и кони. Обильный этот свет снопом падал наружу, образуя на песке резко очерченный четырехугольник, в самом центре которого и устроились играющие.

«Их, пожалуй, не трону, — сказал себе Твердая Рука, — если согласятся отдать Жара подобру-поздорову за мешочек Анита». Но, приблизившись к конюшне, подумал: «Ага, вот и Прокл, тут как тут. Нет, не стану платить за своего Жарушку. Кто платит за свое же добро!»

Притаился юный у самой кромки тени, совсем рядом с увлеченными игрой курсоресами, прислушался к их голосам. Оба были поглощены развлечением настолько, что и не подозревали о присутствии постороннего, надежно укрытого стеной ночи за пределами яркого света.

— А я так, — приговаривал один, расчерчивая пальцем песок.

— А я этак, — отвечал другой.

И вдруг оба резко обернулись в ту сторону, откуда донеслось тихое хихиканье. «Прокл, прекрасный Прокл, подойди ко мне», — игривым шепотом звала невидимая в темноте женщина. Оба открыли рты и захлопали глазами. А из тьмы опять: «Ну что же ты медлишь, Прокл, беги ко мне, глупенький, иль не узнаешь? Ах, Прокл, я бы сама бросилась к тебе, да света боюсь, заметят — прогонят, а ведь погляди, какие лакомства для тебя в моей корзинке». И снова хихиканье.

Прокл спросил приятеля, заикаясь:

— Ты слышишь? Я прекрасный? Меня зовут? Кто?

Зачарованным лунатиком он шагнул на таинственный зов, ибо так уж устроен мужчина. И, едва переступил черту света, трепеща от любопытства, в тот же миг, оглушенный, рухнул. Много времени спустя, когда утренняя свежесть вернет его в чувство, бедняга будет ломать голову, тщетно соображая, что с ним произошло и куда девались его платье и оружие.

Между тем другой стражник, оставшийся, оцепенел от непомерного удивления и набожного страха, ибо кто знает, кому принадлежал ночной шепот, земному ли существу или небесной сільфиде. Откуда же взяться на ипподроме обычной женщине?

Он стоял на четвереньках, а из тьмы доносились воз-

ня и хихиканье, потом наконец появился Прокл, пятящийся спиною. Вот Прокл обернулся, и сторож увидел, что это вовсе не Прокл, а настоящий ангел в одежде Прокла. И он, этот, можно сказать, подросток с еле различимым пушком над верхней губой, с глазами чистыми, как у младенца, со светлыми волосами, по-девичьи ниспадавшими на плечи, правда, плечи несколько великоваты даже для такого высокого мальчишка, почти извиняющимся жестом попросил потрясенного стража подняться. И когда тот, бессознательно повинуясь чудесному видению, выпрямился на ногах, ангел легко, точно крылышком, взмахнул кулаком — и второе тело, громыхнув кольчугой, распласталось на песке до утра.

Улеб бросился разыскивать своего любимца. Жар перебирал ногами, бил копытом, тряс пышной гривой, лебедем изгибал свою сильную шею. Его волнение передалось остальным лошадям, конюшня огласилась ржанием. Улеб спешно седлал коня, приговаривая:

— Ты узнал меня, Жарушко, узнал. Теперь мы вместе в чужой стороне, рядышком, как дома. Вырос ты, стал-то каким! Вот и свиделись... Не отдам тебя больше в чужие руки, не дрожи, успокойся, верный мой.

И гладил коня, и обнимал, и прижимался к нему лицом, и щемило сердце у юного росича, увлажнились глаза, будто видел себя летящим в седле по прибрежным тропинкам милой родины, где струится, как песня родичей, голубая река и звенит птичьим звоном Мамуров бор, а дымки очагов Радогоща вьются, точно длинные косы пригожих девчат, голосистых подружек красавицы Улии, и железо искрится под молотом вешего Петри...

Вывел Жара на поводу к воротам. Оглянулся. У Хребта еще продолжалось винопитие. Крюк на воротах тяжелый, сразу не совладать, и Улеб долго с ним бился, пока откинул. Очутившись на шумной улице, вскочил в седло, двинул коня шагом, готовый сразить всякого, кто надумал бы заслонить путь.

И внезапно едва не наехал на какого-то нищего. Их, убогих, полным-полно слонялось близ ипподрома даже ночью.

При виде чудом увернувшегося от копыт оборванца Улеб вздрогнул и досадливо обронил по-роски:

— Чтоб тебе лопнуть, расселся на дороге!..

В зыбком уличном свете остроносое ушастое лицо

нищего с нахлобученным до самых бесцветных бровей венком из сорных трав и увядших цветов казалось особенно жалостливым. Это жалкое, уродливое существо, наверно, умышленно вырвало клочок грязной одежды в том месте на боку, где виднелась давняя, плохо зажившая, гноящаяся рана, чтобы ужасным ее видом вызывать сострадание прохожих.

Напуганный оборванец собрался было разразиться привычными воплями и стонами, чтобы заставить того, кто чуть не пришиб его своим конем, раскошелиться. Однако стоило нищему услышать упомянутые выше негромкие сердитые слова наездника, как он тут же замер безмолвно с раскрытым ртом и вытаращенными глазами.

Улеб, поглядывая по сторонам, поспешно миновал уродца, опасаясь, чтобы этот короткий эпизод не привлек к нему всеобщего внимания.

Только не было, к счастью, до него дела в этот час ни переодетым ищейкам, ни полуночным гулякам, ни шутам, ни торговцам, ни музыкантам, ни зевакам, ни ряженым. Мало ли конных толкалось среди развлекающейся пешей черни, мало ли их бороздило городскую сутолоку.

Звезды гасли в фиолетовом небе, угасало и гулянье в Константинополе, когда у крайнего дома по улице Меса раздался требовательный стук. Слуга громко спросил, не отпирая:

— Кто там?

— Мне нужен династ Калокир, сын стратига Херсонского, — слышалось в ответ.

— Этот дом принадлежит славному патрикию Калокиру, — затараторил на редкость словоохотливый слуга. — Но моего хозяина сейчас нет дома. У него, мудрейшего, забот хоть отбавляй, и никто тут не знает, где он, кормилец наш бесценный, в Священной Обители, у Золотого Рога или, возможно, отбыл в кастрон предков своих незабвенных.

— Как туда проехать? — спросил решительный голос за оградой.

— Туда?! Нужно ехать до Фессалоники, потом в сторону, в сторону. — В тоне болтливой слуги слышалась явная насмешка, он даже высунул нос, чтобы поглядеть на чудака, для которого, судя по всему, ничего не стоило тотчас же отправиться на край света ради свидания с Калокиром.

В четком, грациозном силуэте всадника было нечто такое, отчего ухмылка мигом слетела с лица слуги, и он почтительно пробормотал, словно просил прощения за свою развязность:

— Слишком далеко. Ты, как посужу, нездешний, а я... мы не ждали в столь поздний час важного гостя.

— Есть тут скопец по имени Сарам? — нетерпеливо перебил его юноша.

— Хозяин там, там и Сарам! — вырвалось у неистового балагура.

— Ты, я вижу, малый бойкий на язык, — миролюбиво заметил юноша. — Держи золотой и отвечай, могу ли я выкупить немедленно человека по имени Велко без ведома Калокира. Или хотя бы увидеть его.

— О щедрый! О великий муж! — восторженно вскрикнул слуга, пряча монету. — Я знаю такого, да, да, его зовут Велко, но, прости великодушно, всех молодых невольников и невольниц наш хозяин, да продлятся годы его бесконечно, увез с собой. Ах, какой умный и замечательный этот Велко! Как он любит меня! Как я его люблю!

— Сомневаюсь, — бросил всадник и тронул поводья.

— Постой, — опасливо озираясь, окликнул слуга юношу и тихо добавил: — Я понял, ты вовсе не друг нашему хозяину. Смекнул кое-что. Словом, я, Акакий, прозванный Молчуном, готов развязать свой язык до конца и выложить все, что знаю. Ведь ежели, к примеру, дашь мне еще золотой, узнаешь правду и о хозяине, да падет на его голову мешок с камнями, и о молодом болгарине, да спасет и сохранит его бог, и о Сараме, чтоб он изжарился в аду.

Захлебывающийся шепот этого болтуна, весь его многозначительный вид указывали на то, что он действительно мог сообщить важное и полезное. Улеб сунул в его ладонь еще солид.

— Говори да поживей, недосуг мне стоять посреди улицы.

— Я сейчас, сейчас, мигом, — забормотал Акакий и потянул коня за узду в тень маленького дворика, — лошадь здесь привяжи, ступай за мной, укроемся в пристройке, никто не услышит, все спят. А твой человек пусть снаружи присмотрит за воротами.

— Какой еще человек?

— Да твой же. Ты мне доверься, храбрый. Нет мне милее того, кто намерен прищемить хозяина, да падут на его череп сто мешков с камнями! Скажи своему напарнику, пусть ожидает без шума.

— Я один, — раздраженно сказал Улеб, — протри глаза и дело говори.

— Будь по-твоему, ведь ежели, к примеру, ты так хочешь, я прикинусь слепым, — согласно закивал тот, — хотя глаза мои, как у кошки. Раз так желаешь, притворюсь, будто не заметил за тобою еще одного, пешего. Считай, что не видел я, как позади тебя тайлся твой телохранитель, да продлится его служба такому справедливому воину бесконечно!

Улеб оглянулся, настороженно потянувшись к оружию, но ничего подозрительного не обнаружил за спиной. По улице Меса по-прежнему безмятежно шатались поредевшие гуляки. С площади Константина доносилось нестройное песнопение нескольких неугомонных глоток, сменивших недавний хор веселившейся толпы. Небо заметно посветлело, и уже можно было различить на его фоне очертания куполов и неровные линии строев. «Уж не дурачит ли он меня? — подумалось Улебу. — Не ловушка ли это?»

— Эй, малый, — грозно сказал он, — со мной шутики плохи.

— Прости! Я пошутил, конечно, пошутил. Мне просто показалось. Никого я не видел, — залепетал слуга. Кланяясь и подобострастными жестами обеих рук пригласывая за собой, он попятился к пристройке. Там зажег свечу, плотно притворил дверцу.

В прилепившейся к стене дома, выходящей во дворик, тесной пристройке, на низкой крыше которой когда-то Улеб отбивался от тех, кто по приказу жестокого дината хотел лишить его языка, в этой самой пристройке сейчас он слушал угодливый рассказ Акакия.

Вот главное, что узнал Улеб.

Когда в отсутствие дината евнух Сарам неосмотрительно продал какому-то богачу из Македонии некую красавицу полонянку, Калокир хотел подвесить его за это на воротах, чтобы прохожие могли плевать в его сторону, ибо на воротах дома вывешивают воров. Взбешенный динат объявил, что Сарам украл у него долгожданное счастье.

Но евнух избежал наказания, поклявшись Калокиру

отыскать и вернуть деву. И он сдержал слово. Отправился в Македонию, выкупил красавицу, а заодно и некоторых молодых гребцов, поскольку Калокиру снова потребовались испытанные люди на весла, он готовился в очередное плавание. Среди выкупленных был и пригожий болгарин Велко из Расы. Сломленный путешествием слабосильный Сарам вскоре умер.

В Македонии Велко и юная полонянка полюбили друг друга крепко и чисто, как могут полюбить люди общей судьбы. Тайные светлые чувства юноши и девушки согревали обоих в нелегкой их жизни на чужбине надеждой на лучшую долю.

Динат предложил красавице стать хозяйкой, женою его. Но она не соглашалась. Уж динат ей подарки подносил, так и этак увещевал, да все зря. Плакала она, убивалась. Так и не скорилась дева. Тогда динат вскричал: «Заклевали б вороны! В темницу ее! В Фессалию! В башню! Пока не образумится! Сама запросится под венец. Я дождусь! Хоть год, хоть два! Десять лет буду ждать, а не выпущу!»

И ее увезли и заперли, как повелел. Сам же он остался до поры в столице завершать дела в гавани.

Велко все это время был на берегу, работал при кораблях, ничего не знал. А узнал, отчаянно поспешил на выручку. Но его сразу поймали, и за город-то не успел выбраться. Хорошо хоть живым оставили. Снова пригнали на корабль. Там и поныне.

Выслушав рассказ Акакия до конца, Улеб задумался. Он стоял, прислонясь к стене, смотрел на подрагивающий язычок пламени догоравшей свечи.

Послышалось тихое тревожное ржание коня. Юноша быстро выглянул наружу, сказал вполголоса:

— Тихо, Жарушко, я скоро. Потерпи.

Он не заметил, как чья-то тень отпрянула от ограды и скрылась за углом.

— Дай еще солид, — шептал ему в затылок слуга, — не видал я подобной щедрости. Никогда не видал, чтобы кто-нибудь так легко расставался с золотом. Да поможет тебе господь в грядущих подвигах! Ведь ежели, к примеру, человек не жадный — он человек, не кто-нибудь. Ведь ежели...

— А дева та, кто она? — спросил Улеб, резко прервав Акакия.

— Бог ее знает. Лицом бела, похожа на северянок,

тут их множество перебывало. И где только их Калокир не добывал! Он ведь с мечом в ладу, рыскал на верхних границах. А эту вроде бы снизу привез, с моря. Крассавица. Хозяин зовет ее Марией, но это, должно быть, не ее имя.

— Сестрица моя, подобно той деве, тоже светла лицом, — невольно произнес Улеб. — Как знать, может, и ее, бедную, степняки под замком держат да голодом морят, как динат деву ту, Марию... Велко, Велко... Ты говоришь, он в гавани здешней?

— Булгарин твой? Да.

— Прощай. — Улеб вышел к Жару, отвязал его, вскочил в седло и шагом двинулся вниз по опустевшей улице. Светало.

Ветер метался между плотно прижавшимися друг к другу каменными домами, гонял пыль и сор. Глазницы окон зияли чернотой. Подумалось Улебу, что сам он сродни гонимой ветром песчинке.

В стороне, за домами, шумно проскакала кавалькада. Еще одна, поодаль, уже в другую сторону. Слышалось бряцанье доспехов. Перекликались голоса. Было что-то угрожающее во всей этой суете.

Юноша остановил коня, прислушался, не рискуя двигаться дальше к лежащей впереди площади. «Заперт, окружен в городе, — мелькнула мысль, — не успел обратиться на простор». Но тут же попытался себя успокоить: «Сварог поможет, выпутаюсь как-нибудь. А коли нападут, я им костей наломаю много, прежде чем...»

Внезапно чья-то тень вынырнула из-за угла. Выхватив меч, юноша позволил незнакомцу приблизиться, и, когда тот резво приковылял к нему, делая какие-то непонятные знаки, Улеб узнал того самого нищего, которого чуть не сшиб у ворот ипподрома.

— Не бойся меня, златовласый, — озираясь, по-росски произнес запыхавшийся оборванец.

— Ты знаешь... нашу речь?! — изумился Улеб.

— Я родом полянин. Не трать время на лишние расспросы, тебя повсюду ищут. Повинуйся мне, если хочешь спастись.

Нищий в мгновение ока, как кошка, вскарабкался на коня, пнул Жара пятками, перехватил поводья, обняв Улеба сзади, точно какой-нибудь хазарин, умыкающий невесту, и уже через несколько минут они очутились в тихом проулке.

— Стой здесь, — коротко бросил узколиций и, соскользнув на землю, исчез в подворотне.

Улеб настолько был обескуражен, что все еще держался за меч, не зная, вложить его обратно в ножны или сжимать рукоять на всякий случай. Ждал, чем все это кончится.

Оборванец вернулся скоро с заспанным всклокоченным старцем с вызывающе драгоценной серьгой в ухе. Старик зябко скреб грудь, глядел неприветливо, явно недовольный тем, что его разбудили.

— Отдай ему весь кошель, тот, что за поясом у тебя, — приказал узколиций, — он принесет что надо.

Улеб повиновался. Старик поймал звонкий мешочек, кивнул оборванцу, затем онемевшему Улебу, после чего живехонько и бесшумно удалился.

А таинственный нищий вновь схватил уздечку, повел уже пешком коня с Улебом в седле через захламленные, зловонные дворики, мимо красильных мастерских с огромными чанами на тлеющих углях, мимо спящих вповалку подмастерий и бродяг.

Там, где остановились, Улеб огляделся и понял, что они оказались в заброшенном дровяном складе, примыкавшем к задней стене ночлежки для убогих. Нетрудно было догадаться также, что все красильни и ночлежка принадлежат старцу с серьгой.

Утренний свет сочился причудливыми нитями сквозь кривые щели прогнившей постройки, в углах которой, матовые от паутины, громоздились вязанки гнилых поленьев. Казалось, тронь их — и рассыплются трухой. Запах плесени, грибной сырости, истлевшей козьей кожи, остатки которой висели на ржавых гвоздях, вбитых в провисшие балки, неприятно щекотал ноздри.

— Слезай, здесь безопасно, — сказал оборванец.

— Чем обязан я твоей заботе? — Улеб постарался придать голосу как можно больше дружелюбия. — Кто ты, неожиданный спаситель? И почему решил, что я нуждаюсь в помощи?

— Когда-то меня звали Лис, а нынче и сам не знаю, кто я. — Он поднял было на юношу глаза, но тут же опустил их. — Уже известно, что из палестры бежал боец, он избил курсоресов, переоделся в их одежду и увел лучшего жеребца из цирковой конюшни.

— Я знаю, что и в этой стране достаточно честных и добрых людей. А ты, откуда ты?

- Из Киева-града.
- Эва-а!.. Давно тут маешься?
- Гм... не помню... давно.
- Как попал сюда?

Лис долго молчал, сидел на корточках, раскачиваясь, обхватив острые колени, выпиравшие из-под рубища, потом сказал:

- Не спрашивай, Твердая Рука, я... не помню.
- Ты меня знаешь?!

— Все мужчины столицы, даже презренные, знают лучших бойцов Непобедимого, — ответил Лис. — Живущим подаванием не удастся проникнуть на зрелища, но мы целыми днями толчемся у ипподрома с протянутой рукой. У избранных есть языки, у плебеев — уши.

— Но как догадался, что я Твердая Рука? Ведь ты не видел меня на арене.

— У Анита есть только один росич, Твердая Рука. Курсорес, наступивший конем на христарадника у ворот, не ругается по-русски. Я следовал за тобой до самого дома проклятого Калокира, подкрался и слышал, о чем ты толковал с Акакием, его прислужником, — продолжал Лис. — Я знаю все, что делается в столичном логове дината, у меня с ним свои счеты.

— У тебя? С ним? Ничего не понимаю. Тут какая-то тайна. Я могу ее знать?

— У тебя, златовласый, своя, у меня своя. Зачем тебе знать то, чего я сам не открываю?

— Но ты не посчитался с опасностью, помогая мне, почему?

— Динат лютый враг мой. Я понял, что он и твой недруг. Лис помог Твердой Руке, а Твердая Рука придет на помощь Лису, когда понадобится, разве не так?

— Конечно! — воскликнул Улеб.

— Нам сюда принесут все необходимое. Одежда курсореса выдает тебя с головой. Сменишь ее на платье странствующего воина. Я же, коли не возражаешь, превращусь в слугу-оруженосца. Коня смени тоже.

— Нет, Жар будет со мной.

— Ладно, — согласился Лис. — Прикроем его холстиной, как это делают франки. Мне бы только подступить к динату... Тебе же обещаю служить без обмана и корысти.

Улеб сказал:

— Пусть будет так. Только не ищу я прислугу, не

по мне помыкать другими. Будь товарищем. Не стану я гоняться за Калокиром, хочу отыскать побратима в бухте Золотого Рога. С ним или без него попытаюсь отправиться морем или сушей сперва за сестрицей в каганскую Степь, а после в Рось-страну, домой.

— Тсс!..

Красильщик привел на поводу оседланную кобылу, нагруженную двумя объемистыми тюками.

— Этот старец с драгоценным ухом не иначе колдун, — сказал юноша с иронией, едва красильщик ушел.

— Не в нем колдовская сила, а в твоём кошельке, — заметил Лис.

Когда торопливо переодевались, Лис повернулся к Улебу спиной, явно стараясь скрыть от него что-то. Но юноша, хоть и не рассмотрел как следует, а все же заметил ненароком, как блеснуло нечто золотистое, свисавшее с шеи Лиса на тонкой цепочке. Отчего тот прятал от глаз напарника какую-то безделушку, почему не выбросил нищенские лохмотья, а сунул их в суму у седла? Улеб не придавал этому значения, лишь усмехнулся про себя. Он начинал привыкать к чудачествам нового приятеля.

Преобразившийся Лис с наслаждением поглаживал на себе пристойное одеяние. Внезапно, увидев треугольники палестры на плечах юноши, он захихикал пронзительно, почти истерично и выпалил, подняв вверх кривой, давно не мытый указательный палец:

— А ведь ты раб, беглый раб, а я, слуга твой, был и есть свободный!

Улеб рассмеялся в ответ.

Глава XIV



ный франк!

— А ты, не обижайся, очень похож теперь на Калокира, — заметил юноша, — тоже преобразила одежда.

— Знаю. Не раз говорили и прежде.

— Едем на берег, к Велко. — Улеб тронул коня, и оба всадника, покинув двор красильни, выбрались в проулок, свернули за угол и направились вниз по выщербленным мостовым кривых улочек, ведущих к морю.

Лис был прав, редко кто обращал на них внимание. Разве что бойкие молодые торговки, подбоченясь при появлении пригожего чужеземца, ослепляли юного лукавыми улыбками, предлагая фрукты и сладости, игриво расхваливали красу рыцаря и потешались над неприглядным ликом его оруженосца.

Но ни Улеба, ни Лиса не трогали летящие вслед шуточки и насмешки звонкоголосых смуглянок Востока и их босоногих детишек, что шаловливыми стайками носились между лотками с нехитрыми товарами окраины под провисавшими поперек улочек веревками с бельем, путаясь под ногами у взрослых мужчин, встречавших день ремесленных кварталов привычной своей работой, безучастной ко всему постороннему.

Городские патрули сновали и здесь, то и дело попадались навстречу. Поначалу они вызывали настороженность у наших героев, те даже украдкой хватались за рукояти мечей под короткими своими плащами. Однако, надо полагать, поглощенным поисками беглого раба стражникам и шпионам некогда было и глаз поднять на роскошно одетых всадников, коих множество шаталось повсюду в праздном любопытстве.

И все же рискованно было сейчас появляться в гавани. Всякий беглец, если рассудить, устремляется либо на большие дороги, либо в порт, где можно сесть на уходящий корабль. Там-то, в гавани и на дорогах, главные поиски. Это понятно, потому-то Улеб не стал возражать, когда Лис вдруг сказал:

— К заливу нам спускаться нельзя. Переждем. Ищейки думают, должно, что ты успел ночью уйти за стены.

— Не предполагал, что из-за меня поднимется такой переполох.

— Да, — усмехнулся Лис, — забежали, точно по меньшей мере сам цесарь пропал. Признайся, перебил небось целую когорту, удирая с ипподрома?

Улеб пожал плечами.

— Какой там, задел рукой одного-двух походя, только и всего.

— Стало быть, отдали богу души, раз задел. Рученька у тебя известная... Сам Маленький Барс, рассказы-

вали, испустил дух. Плохо твое дело, рабу не прощают убитых воев, будь он хоть трижды знаменит на арене.

— Что ж, так и будем петлять меж домов дотемна?

— Лучше отсидеться в здешнем кружале. Да и поест охота.

— У меня ничего нет, — вздохнул Улеб, — мешочек Анита остался у старца с серьгой.

— Не беда, — хрипло рассмеялся Лис и похлопал по поясу, — тут припрятано кое-что на черный день. И еще храню клад в безопасном местечке, покажу в свое время хижину, где зарыт он. Кладут, кладут иногда, хи-хи, монетку-другую в длань несчастного калеки.

— Тогда спешимся, вон очаг и веселье, — предложил Улеб.

— Ну уж нет, в такой день не годится нам глотать хлеб пополам с половой, мы отметим твое вызволение в знатной харчевне, не с плебеями.

— Привык и хочу ломать хлеб с простыми людьми, — сказал Улеб.

— Хороши мы будем в доспехах средь бедного люда. Хочешь, чтобы народ сбегался поглазеть на паладина у котла уличных ремесленников? Хочешь, чтобы мигом узнали и схватили тебя?

— Будь по-твоему, — согласился Улеб, и они повернули к главным кварталам города.

Ехали рядом, почти касаясь друг друга коленями. Мерно стучали копыта неторопливо и грациозно вышагивающих коней. Лис полудремал в седле, разморенный ранним солнцем после бессонной ночи. Улеб же вовсе, казалось, не ощущал усталости. Ничего не ускользало от внимательных его глаз.

Подле старых каменных арок Валенотова водопровода вечнозеленые оливковые деревья выглядели совсем неказистыми. Тучи маслинных мух витали над этими кривоствольными рошицами. Вокруг богатых домов, облицованных мрамором, с декоративными порталами, среди аккуратных лужаек и цветников возвышались кипарисы, столь же непохожие на невзрачные маслины, сколь непохожи были на замузанных полуголодных детишек ремесленников сытые отпрыски аристократов, что лениво шурились на прохожих-проезжих, прислонясь к белокаменным колоннам портиков.

Толпа то рассасывалась, то вновь сгущалась. Все уживалось в общей картине городского хаоса: роскошь

и нищета, разум и глупость, горе и радость, граждане и бесправные, солнце и тень.

Улеб видел все это: людей, дворцы и лачуги и смутно угадывал те или иные признаки полузабытого пути от бухты к дому Калокира, который оставался сейчас где-то в стороне, между площадями Тавра и Константина. Ему казалось, что он припоминает каждый булыжник мостовой, по которой когда-то вели его, нагого и униженного, и новая волна обиды и гнева захлестывала сердце, снова и снова вставляли перед ним видения пережитого, и чудились призывные голоса родичей с Днестра-реки и тихий плач сестрицы, укоризненный шепот Боримки, звон отцовской наковальни.

— Войдем туда, — сонно произнес Лис и указал на вывеску таверны «Три дурака» в конце улицы Брэдбурев. — Там найдем вино и пищу достойные.

Перед фасадом харчевни была зеленая лужайка, разделенная на две равные части песчаной дорожкой, которая вела к увешанному гирляндами цветов входу. На стриженной траве кувыркались и балагурили ряженые карлики-зазывалы.

Чуть в сторонке сидел на скамье улыбающийся крепыш, чьей обязанностью, видимо, было следить, чтобы чернь не приблизилась к харчевне для избранных. Человек этот вскочил и почтительно склонил голову перед юным воином и его спутником. Улеб тоже поклонился в ответ, чем поверг того в изумление. Лис прошепел:

— Не забывай, что ты господин, не ровня ему. Ох, пропадем с тобой... Держись как подобает знати, иначе все испортишь.

Они передали поводья двум подбежавшим мальчуганам, наверно, хозяйским сыновьям, которые деловито привязали Жара и лошадь Лиса к кольям под холщовым навесом у задней стены и тотчас же помчались за кормом и питьем для животных.

— С коней накидок не снимать! — наказал Лис мальчишкам. — Ничего не трогать! Смотрите мне! — И, заметив вышедшего навстречу хозяина, пояснил: — Мы не задержимся, впереди еще долгий путь.

— Как пожелаете, доблестные и щедрые путники, — молвил хозяин, лица которого нельзя было как следует разглядеть из-за слишком низких и частых его поклонов. Он широкими жестами приглашал гостей в благоухающее чрево своего заведения, сам спешил впереди.

— Любезные, распрекрасные дочки мои, Кифа и Митра, украсят песнями вашу трапезу. Сюда, досточтимые странники, сюда.

Улеб и Лис спустились за хозяином в полуподвальное вместилище «Трех дураков», выбрали местечко поукромней.

— Разве мы не собирались выждать тут темноты? — чуть слышно спросил Улеб.

— Отсидимся, как порешили, но другим не обязательно объявлять об этом. Пусть кони будут наготове, мало ли что. А за хозяина не беспокойся, — усмехнулся Лис, — он не огорчится, коли задержимся, лишь бы плата была хорошей. Да, сытно и чисто тут... Тебя здесь искать не станут.

— Почему ты знаешь?

— Это место вне подозрений, сюда, хи-хи, не впустят и свободного простолюдина, не то что беглого.

— А вон там, гляди, пируют простые все. Те, в желтом.

— Ну, в такой ранний час, должно, кой-кого пускают... — неуверенно молвил Лис, вглядываясь в дальний угол, куда указал глазами Улеб. Затем сказал твердо: — Нет, люди те не простые, позолоты на них хватает. Сдается мне, они с того берега, уж я-то разбираюсь, кто откуда. — Он махнул рукой. — Не мешают, и ладно. О чем мы?.. Ах да. — Лис придвинулся к собеседнику и зашептал в самое его ухо: — Так вот, харчевня эта известна повсюду. Прежний ее хозяин — отец Феофано, женки Романа ихнего, василевса. Случай привел сюда владыку, и, сказывали, он пал перед красотой певуни Анастасии, то бишь нынешней Феофано. Хи-хи, от этих самых столов и бочонков пригожая девица птичкой выпорхнула к престолу. Такая пригожая да лукавая, что этим же престолом и поиграть может, а воеводами ихними уже играет, сказывают...

Лис умолк: к ним уже торопились хозяин и обе его дочери с обильным и разнообразным угощением.

Хозяин был еще не стар, как и его благообразная супруга, что беспрерывно высывалась из-за полога, передавая дочерям все новые и новые блюда.

Прелестные сестры щебетали без умолку, живоставляя кушанья и напитки на гладких, темных от времени досках массивного стола с резными толстыми ножками, словно исполняли какой-то веселый танец. Лис,

осклабься, подхихикивал им, а Улеб сидел потупясь, смущенный несколько легкомысленными одеждами девчонок.

Заметив хмурый вид рыцаря, хозяин прогнал дочек, и те послушно отступили в тот самый дальний угол зала, где в полумраке пировали трое шумных мужчин. Других посетителей не было в столь раннее время.

От мяса и фруктов, от изящных кувшинов с вином и затейливо нарезанных овощей и сыра исходил аромат. Улеб и Лис с наслаждением принялись за еду.

Блаженствуя за столом, Лис разоткровенничался:

— Эх, копил я монетки, откладывал, от животика отрывал, мечтал собрать добрый кошель, с ним и подняться, а вышло... Пойми, даже среди попрошаек убогих, с кем водился у ипподрома, прослыл скрягой, потому что не вносил свою долю в их поганый вечерний котел после дня унижений. Грыз, бывало, отбросы вместе с собаками, чтобы сберечь каждую номисму*. Ждал и верил, что настанет мой час...

— Послушать, в пору от угощения твоего отказаться.

— Ну нет, Твердая Рука! Для однодумца ничего не пожалею! Только и ты услуги мои и ласку не забудь после.

— Имени моего не выкрикивай, — строго сказал юноша, хотя вряд ли кто мог их услышать в эти минуты. — Не пей больше зелья, хватит.

— Да, помутился малость, — согласился Лис, — отвык. А бывало, когда-то с братиной по кругу... — Внезапно встряхнулся, глаза — щелками, отшвырнул обглоданную кость, зашептал взхлеб: — Нет, златовласый, Лис не покойник. Я всегда воскресал. Били меня в открытом поле, били и укромно. От меча Калокира тоже выжил. А доберусь до него... Отдаст мое — отступлюсь, не отдаст — самого порешу. С тобою на него пойти — ладно...

Улеб пристально посмотрел на Лиса, сказал:

— Калокир и мой враг, и Велко, и твой. Это мне понятно, но неясен смысл многих твоих слов. Что-то прячешь ты от меня за словами-то. Может, лучше откаться? Недомолвки вредны меж своими.

— Душа не кормежка, на стол сразу не выложишь. — Лис громко рассмеялся, произнеся это.

Смех его был услышан хозяином харчевни, который

* Номисма — золотая монета.

тотчас приказал что-то дочкам. Те заупрямились было, но потом младшая сорвалась с места, как егоза, выскочила на коврик посреди зала и звонко запела какую-то не эллинскую песню, подпрыгивая и пристукивая бубенцом о колени и бедра. Трое воинов в желтых накидках, что пировали в дальнем углу, подбадривали ее восторженными криками.

— Зачем эта юница притворяется радостной? — молвил Улеб, смущенно отводя глаза от танцующей девушки.

— Не суди ее строго, уж такая у девчонки доля — забавлять кружало. — Лис с трудом ворочал языком. — Хозяину, видно, и впрямь не дает покоя судьба Феофано. А девчонка, скажу я тебе, пригожа на диво.

Хитрый Лис не слепой, заметил, как юноша, краснея, нет-нет да и стрельнет своими светло-серыми глазами в красавицу. И любопытство в его глазах, и робость, и неведомый трепет. Снова Лис рассмеялся, приговаривая:

— Для тебя старается, все перед тобою вертится, прямо зависть берет. А о чем поет, не разберу ни слова, непонятен язык ее песни.

Улеб вздохнул, откинулся на скамье, прислонясь спиной к стене, повел вокруг подчеркнуто безразличным взглядом.

В глубокой огнедышащей и закопченной нише, выложенной изнутри грубо отесанными камнями, помещался огромный вертел. Под вертелом — противень с желобом, отведенным к широкому, как корыто, чану, чтобы не пропадал жир. Пламя очага лизало с боков вращающуюся тушу барана, отблески огня шевелились на каменных стенах, круто уходявших к округленным сводам и сплошь покрытых высеченными изображениями животных.

Зал был вместительным, гулким. Полтора десятка приземистых дубовых столов располагалось полукругом, обрамляя уже упомянутый коврик из раскрашенного тростника, на котором продолжался танец, и занимая почти все пространство от внутренних ступеней живописного входа до тяжелого полога, за которым хлопотали страпухи под присмотром хозяйки.

— Сидим, — вздохнул Улеб, — не сидеть бы мне на жиру...

Лис причмокивал лоснящимися губами, любуясь девушкой, и бормотал:

— Надо сидеть дотемна, сам знаешь. Щебечет-то как, приглянулся ты ей, златовласый, ой, приглянулся! — Вдруг крикнул певунье: — Как звать тебя, птичка?

— Я Кифа! Ки-и-ифа!

Звон бубенца и голос шалуни стали нетерпимыми для юноши. А может быть, невыносимым почудилось ему собственное смятение, какое испытывал он оттого, что глаза сами собой отказывались созерцать жаровню, стены, скамьи и прочее, все чаще и чаще обращаясь к малютке Кифе. Так или иначе, но Улеб вдруг хлопнул ладонью по столу и воскликнул:

— Довольно! Уймись, притворщица!

Она сразу умолкла, точно внезапный хлопок юноши сорвал маску с ее личика. Смутилась, зарделась вся.

Лис бросил на Улеба досадливый взгляд, собираясь образумить того каким-нибудь язвительным замечанием, но не посмел, сообразив, что Твердую Руку сейчас лучше не задевать.

— Уйди, милая, не серди моего господина, — сказал он. — Вот тебе в утешение. — И царственным жестом бросил ей горсть оболков. Девушка обиженно отпрянула, и монетная россыпь долго звенела на полу.

Она, чуть не плача, смотрела на Улеба. То юность, загадочны и неожиданны ее порывы и проявления.

— Пора к Велко в гавань. — Улеб встал решительно и непреклонно. — Надоело прятаться. Подкрепились, и будет.

Но не успели они сделать и двух шагов к выходу, как из глубины зала раздался окрик:

— Стой!

Тихо охнув, шарахнулись хозяин с хозяйкой и старшая дочка их, Митра, за полог, высунули оттуда лица с открытыми в испуге ртами. Трое воинов шли из своего угла прямо на Улеба, угрожающе поправляя на себе нагрудники и наплечники, пристегивая на ходу ножны мечей.

Лис обмер, словно его окатили ледяной водой. Он не мог понять, отчего едва ли не радостная улыбка вдруг озарила юношу, когда до того дошел смысл происходящего. Хозяин спохватился, кинулся к выходу, чтобы

кликнуть с улицы людей, но Улеб коротко приказал Лису:

— Дверь! Запри и стой там щитом!

Трое незнакомцев в желтых плащах еще не успели приблизиться, тогда как Лис, надо отдать ему должное, уже исполнил приказ Улеба с поразительной ловкостью для калеки, взлетев на ступеньку. Хозяин растерянно повернул обратно.

— Кто ты, презренный чужестранец, изгнавший прекрасную Кифу и отнявший у нас удовольствие? — раздувая ноздри, спросил первый из троих. — Кто ты, если с самого начала оскорбил нас своим непочтением, не приветствовал наше оружие, войдя сюда?

— Я Улеб, росс по прозвищу Твердая Рука, — впервые четко произнес юный слова, которым суждено отныне и впредь хлестать слух недругов.

— Твердая Рука?! Римляне, вот беглый раб Анита!

— Да, это он! — подхватил второй. — Узнаю беглого скифа, убийцу нашего Барса!

— О счастье! — продолжал третий. — Удача! Мы поймали его! Сам попался!

Улеб, выслушав их, обратился к Лису:

— Напомни-ка, приятель, как называется эта харчевня?

— «Три дурака», — охотно откликнулся Лис со ступеней у выхода, где стоял со щитом и мечом, как было ему велено.

Улеб кивнул с усмешкой, оглядел недругов с ног до головы, сказал:

— Их действительно трое.

Резко отпрыгнул в сторону. И вовремя, ибо сразу три клинка вдребезги разнесли посуду в том месте, где он только что находился. Удары были нанесены с такой силой нападавшими, что они замешкались, выдерживая глубоко вошедшее в доски стола оружие.

Их замешательство позволило Улебу мгновенным ударом кулака сокрушить того, что был поближе. Бедняга рухнул с коротким стоном и уже не пытался подняться даже тогда, когда случайная струя прохладной влаги из опрокинутого кувшина, пролившись на его лицо, вернула ему сознание.

Двое других, наглядно убедившись, что Анит Непобедимый дает своим ученикам весьма точные прозвища, приняли позы по всем правилам воинской выучки и

вновь попытались атаковать юношу. Улеб в эти минуты напоминал отчаянного мальчишку, увлеченного любимой игрой. Все попытки нападавших поразить его заканчивались неудачей, Твердая Рука ускользал от них как заколдованный.

Между тем с улицы доносились беспокойные крики, кто-то ломился в запертую дверь. Хозяин и хозяйка возмущенно кричали, не смея, однако, вмешиваться в драку. Обе девчонки, особенно Кифа, напротив, встречали радостным смехом каждый головокружительный трюк Улеба. Их симпатии были явно на стороне пригожего юноши. Лис наблюдал за проделками земляка, возбужденно приговаривая:

— Ай молодец! Научили ромеи малого на свою беду! Что творит-то с ними, меч не вынув, голыми руками! Что, красавицы, хорош оказался мой паладин? Гляди, Кифа, вот это танец!

Если бы не эти нескромные речи Лиса, юноша, возможно, продолжил бы опасную игру в ловкость. Кроме того, дело начинало принимать серьезный оборот, поскольку дверной запор уже трещал под натиском ломившихся снаружи. Настало время выбираться из за-падни.

Улеб обнажил наконец свой меч правой рукой, а левой подхватил клинок солдата, лежавшего под столом. Встретил нападавших взмахом обеих вооруженных рук, показал им особый прием, известный среди искусных пеших витязей под названием «два креста».

Вот уж воистину стоять двум крестам над могилами.

— Перун твой хранитель! — вскричал потрясенный Лис. — Проси его, пусть выведет нас отсюда! Дверь не выдержит скоро! Должно, полгорода сбежалось на шум!

Снаружи били в дверь уже размеренно каким-то тяжелым тараном. Раздался треск проламываемого дерева. Лис втянул голову в плечи и зажмурился.

Улеб лихорадочно соображал, как быть. Метнулся к очагу, где жарился баран, и, зачерпнув из противня первым попавшимся под руку сосудом горячий жир, плеснул его на ступени перед дверью. Сам прижался к стене, крикнув Лису:

— Сюда! Делай, как я!

И тут в полуподвальный зал «Трех дураков» ворвались уличные блюстителы порядка во главе с тем са-

мым крепышом, что встречал посетителей у входа в заведение. Ворвались и... кувырком покатились, считая лбами жирные скользкие ступеньки, давя и подминая друг друга.

Пока они барахтались на полу, Улеб и Лис прошмыгнули в дверной проем и очутились возле залитой солнцем лужайки. На глазах оторопевших хозяйских мальчишек мигом отвязали своих оседланных лошадей, га-лопом помчались по улице Брадобреев.

— Держи-и-и! Хвата-а-ай! — понеслось вдогонку.

Жар стремительно бы умчал Улеба, но юноша чуть придерживал скакуна, щадя менее резвую кобылу Лиса. И все же бег их был достаточно быстрым, ибо прохожие едва успевали сторониться, бранясь во все горло. Даже не оглядываясь, чувствовали беглецы нарав-няющую сзади лавину погони.

— Нашелся раб, убивший Барса! Ловите Твердую Руку! — покатилося от квартала к кварталу. — Варвар и его сообщник оставляют за собой бездыханные тела христиан! Не дадим уйти безнаказанно!

Молва обгоняет любого коня. Все чаще и чаще из-за углов выскакивали навстречу вооруженные смельчаки, и всадникам приходилось прокладывать путь мечами. Вопли раненых и ушибленных придавали новую ярость погоне.

Впереди открылась запруженная народом площадь. Казалось, это конец, ибо немислимо было пробиться сквозь такую толпу. Благо Лис, хорошо знавший лабиринты нижней части города, не растерялся и с криком: «За мной!» — свернул в проулок, ведущий на сравнительно пустынную улицу Шерсти.

Беглецы беспрепятственно миновали уже большую часть зловонных сушилен и мастерских скорняков, швейных цехов и примерочных, чередовавшихся с тесными жилищами вдоль узкой, но длинной улицы, когда увидели впереди двух других седоков, скакавших в том же направлении.

Скорее всего это были мирно торопившиеся по своим делам портняжка и его подмастерье, потому что перед обоими лежали на спинах мулов тряпичные рулоны, которые они бережно придерживали локтями, согнувшись в три погибели. А за ними в самом конце улицы Улеб разглядел притаившуюся засаду.

— Держи-и-и их! — вдруг подражая приотставшей

погоне, что есть силы закричал юноша, указывая на скачущих впереди себя швецов. — Хвата-а-ай!

Солдаты выбежали из засады и, размахивая копьями, набросили веревочные путы на ни в чем не повинных портного и его помощника, которые возмущенно отбивались как могли, звали на подмогу собратьев по цеху, и те, конечно же, не замедлили откликнуться. Завязалась шумная потасовка. А когда дружные обитатели улицы Шерсти дубинами и речами разъяснили служивым их ошибку, Твердой Руки и Лиса уже и след простыл.



Глава XV

тро следующего дня Улеб встретил в заброшенной рыбацкой хижине, откуда просматривались и крутой скалистый берег, и лазурная гладь воды за колючими маквисовыми зарослями, и едва различимая тропинка между нагромождениями камней.

Пробудившись от беспокойного сна, Улеб долго сидел на охалке жесткой, собранной накануне травы, послужившей ночным ложем, словно не мог понять, где он и как здесь оказался.

Наконец вскочил на ноги и тревожно позвал:

— Лис!

Ответа не было. Только поодаль тихо заржал конь, услышав голос хозяина. Осторожно ступая, юноша углубился в кустарник и без труда отыскал крошечную просеку, где они спрятали на ночь лошадей. Жар и кобыла напарника были на месте.

— Лис! Где ты, Лис?

Солнце уже поднималось высоко. Беспечно щебетали птицы, и ни скрипа колес, ни людского гомона, ни звонниц, ни шума работы и торга, ничего привычного уху. Никогда еще Улеб не вставал так поздно.

Встревоженный отсутствием напарника, он вскарабкался на утес. Перед взором простиралась земля ромеев, и вода, и небо, и столица их, и гавань Золотого Рога.

Теряясь в догадках, просидел на утесе до полудня, обратив лицо в сторону залива. Когда уже отчаялся до-

ждать пропавшего, сзади вдруг слышался шорох осыпающихся камешков. Улеб вздрогнул от неожиданности, быстро обернулся и увидел человека в лохмотьях и с посошком в руке.

— Ты! — изумился Улеб.

— Я. Кто ж еще? — Лис беззвучно смеялся. — Что, златовласый, испугался? Проглядел меня? Я таков.

— Где ты был и почему на тебе снова эти ужасные рубища? Иль опять решил христарадничать у греков? Зачем ушел тайно?

— погоди, — перебил его Лис, — погоди сердиться. Послушай лучше меня.

— Нет, — вспыхнул юноша, изнуренный слишком длительным ожиданием, — сперва объясни, зачем ушел тайно.

Лис прекратил смех, заворчал:

— Нетерпеливый ты. Я не разбудил тебя из жалости: измотался ты вчера. Хоть и плох был твой сон, беспокойный, а все же сон. Ты стонал и метался ночью, звал кого-то: «Подойди, подойди ближе». И еще: «Скорей в степь, скорей, Жар, ждет лебедушка горемычная». А то и командовал по-эллински: «Руби! Ложись! Встань! Еще руби! Бей ребром! Локоть в сторону, вниз, вперед!» Скажи, златовласый, для чего во сне локтем-то двигать, а?

— Ты не виляй, Лис, говори дело. Куда бежал на заре? Почему в развалюшке рыбацкой яму вырыл?

— Я тебе раньше сказывал, небольшой кладушко там у меня был схоронен, вот и вырыл. А куда бежал... идем в хижину — сам увидишь.

— Тут говори!

— Хорошо. Твердая Рука хотел разыскать болгарина по имени Велко? Так вот, я его нашел.

— Велко здесь? — Улеб радостно бросился к Лису. — Привел его?

— Я видел его, все рассказал, и он поклялся, что приплывет к той скале с наступлением темноты.

— Ты видел его собственными глазами... он жив, слуга дина та не обманул меня. Рад ли был он восточке обо мне?

— Еще как!

— Лис, добрый мой Лис, — растроганно молвил Улеб, — прости, что едва не подумал о тебе дурно. Вовек не забуду преданности твоей!

— По правде говоря, не я его разыскал, а дева. От нее и узнал.

— Дева? Какая дева? Лис, я умру, если сейчас же не объяснишь все по порядку!

— Когда мы переоделись на складе красильщика в одежду странствующих воев, я не выбросил нищенские лохмотья, помнишь? — не спеша начал тот. — Спрятал их в свою суму. Сегодня они мнегодились. Много убогих шляется на берегу, и я смешался с ними. Так, неузнанный и незамеченный, пробрался к пристани, где наготове стоят и корабли проклятого Калокира.

— Дальше, дальше, — поторапливал Улеб.

— Я долго наблюдал, как люди дина та с кают по сходам мешки и бочки, прислушивался к именам. Ни одного из них не звали Велко.

— Он там! — вскричал юноша. — Должен быть там!

— Разве я сказал, что его вообще нет на берегу? Я сказал: Велко нет среди грузчиков. Убедившись в этом, я хотел убраться восвояси, когда чья-то нежная ручка прикоснулась к моему затылку. Ах, златовласый, что это было за прикосновение! — Лис сморщил рожицу, закатил глаза и благоговейно причмокнул губами. — Я готов сломать собственную шею, чтобы поцеловать свой затылок в том месте, которого коснулась ее прелестная ручка!

— Ты издеваешься надо мной! Где Велко? Отвечай, не то моя ручка прикоснется к твоей башке, и ты поцелуешь Нию!

— В арсенале, — выпалил Лис, которого угроза Твердой Руки мигом вернула из сладострастного забытия в грубую реальность. — Велко и еще одного раба отправили в Манганский арсенал за греческим огнем для кораблей. Видно, Калокир снаряжает их очень далеко. Я видел твоего булгарина, когда они вернулись. А когда их послали за новым сосудом, я успел шепнуть ему, что ты здесь и будешь ждать его вечером у скалы за мусорной свалкой. Они уплыли двумя моноксилами, на каждом всего по одному надсмотрщику. Я только взглянул на твоего дружка и сразу понял: он будет здесь! Уж и одежду раздобыл для него. А ведь самое интересное, он, оказалось, и без меня уже знал, что исчезнувший из палестры боец-триумфатор, о котором толкуют повсюду, это росич Улеб, его побратим. Так и сказал мне. Он, булгарин твой, еще вчера ухитрился

сбегать к постой киевских купцов у церкви святого Мамы, надеясь там встретить тебя. Сказал: там ищеек претора * тьма тьмущая.

— Как же ты догадался, что это был именно тот, кто мне нужен, ведь ты прежде не видел Велко?.. Что-то в рассказе твоём темно...

— Идем в хижину, может, и понравится, — ничуть не обидевшись, предложил Лис и первым заковылял вниз по расщелине, цепляясь за выступы камней и корневища растений. Не оборачиваясь, приговаривал самодовольно: — Когда войдем, сразу хватайся за что-нибудь, чтобы не упасть от удивления.

Улеб спускался с утеса следом, умышленно приотстав и держась за рукоять меча.

— Смотри, кого привел тебе! — раздался торжествующий возглас Лиса, едва они очутились перед лагучой. — Что же онемел, Твердая Рука? Приветствуй ее! Сама принесла тебе свое сердце!

— Здравствуй, — с трудом выдавил из себя юноша, — вот уж и впрямь диво дивное... Что потеряла, красавица, за городской стеной?

— Тебя, — чуть слышно ответила смуглянка, опускающая ресницы.

Улеб тоже вдруг зарделся почему-то, откашлялся, глаза отвел. Так и стояли друг против дружки молча. Девушка смотрела в землю, юноша — на облачко. Лис глазками этак стрельнул в нее, потом в Улеба, хмыкнул в кулачишко, насмешник:

— Ишь затараторили, языкатые, спасу нет. Пусть уж вас, беседуйте, а я отлучусь пока, сменю рубища свои на ладное. — И отошел в хижину.

Молчали, молчали юные, да сколько ж можно? Вот подняла она ресницы. А Улеб подбоченился, глянул открыто, будто на чудо желанное.

Голубая, покрытая вышитыми белыми лилиями, символом девичьей чистоты и целомудрия, одежда с широкой рострой охватывала гибкое, стройное тело Кифы. Даже выглядывающие из сплетенных ремешков сандалий ноготки пальцев на маленьких ножках были выкрашены в голубой цвет, цвет покорности. Как скромна и тиха была она, как непохожа на ту прежнюю Кифу,

* Претор — придворный чин, возглавлявший византийских сыщиков, вербовавших платных доносчиков из числа горожан.

что бесенком кружилась меж столами в харчевне батюшки.

— Зачем забрела в такую даль? — ласково спросил Улеб. — Как нашла сюда тропку?

— Слуга твой привел.

— Не слуга он мне, а товарищ, — поправил Улеб. И тут же спросил строго: — Добром пришла иль с обманом?

— Ты меня оттолкнул, тем и привлек...

Кифа неуверенными шажками приблизилась к Улебу, положила ладошку на боевую его перчатку. Он руки своей не отвел, сел на камень, и она опустилась рядышком, осмелела, принялась рассказывать бойко:

— Пела тебе одному. Не такой ты как все... Лучшего не встречала. Отец подумал, что вы знатные странствующие франки. Белолиц ты, волосы светлы, как у северных рыцарей. И велел развлекать вас. Вспомнила старую песню франков, что пела мне в детстве стряпуха одна, вспомнила и обрадовалась. Эта песня о птице, которую заперли в клетке, и она все щебечет, бедняжка, кличет далекие ветры, чтоб сломали прутья и выпустили ее к солнышку. Я пела тебе, потому что казался мне ветром залетным, долгожданным, но ты рассердился. Лишь после узнала, что ты Твердая Рука.

— Как же нашла? — растроганно молвил Улеб.

— Поняла я два слова из всего, что крикнул ты своему человеку. «Велко» и «гавань». Никому не призналась. Вы ушли от погони, то я умолила всевышнего уберечь тебя. И думала: «Знаю, где искать его». И поспешила в гавань к старой Галли, несчастной моей тетушке, попросила: «Галли, милая, помоги отыскать на берегу человека по имени Велко. Имя редкое в наших краях, значит, он иноземец». А она: «Велко — имя болгарское. Где спрашивать его, среди граждан или рабов?» — «С кем может быть в дружбе подневольный боец палестры, избранник мой? — подумала я и сказала: — Ищи меж рабов». А когда прибежала к ней на заре, узнала, что есть у Золотого Рога два Велко — виновар на Малом винограднике и молодой гребец с корабля фессалийского динаата. О эта умница Галли! Захочет, отыщет иглу на дне залива! Я помчалась к молодому болгарину. После, там же, увидела и твоего слугу... товарища, узнала, хоть он и переоделся нищим, хитрец этакий. Возрадовалась, словно тебя самого узре-

ла, едва не бросилась ему на шею от счастья. Все рассказала, все объяснила ему.

— Ты хорошая, Кифа, добрая, — молвил Улеб в раздумье. — Ты тоже мила мне. Жаль, пути у нас разные, не судьба... Спасибо тебе, будь благословенна. А скажи-ка, Кифа, никто не видел, куда вы пошли с Лисом?

— Нет. Мы брели через лог у самой воды.

— То-то я не заметил вас с утеса. Смотри не проговоришься в городище своем.

— Снова меня прогоняешь! Не хочешь взять с собой? — Девушка вскочила, всплеснула руками. — Побойся бога!

— Если б сам я мог знать, где начинается мой путь...

— Разве твой Лис не сообщил главного? Он просил меня обождать в этом домике, сам же полез на утес, чтобы сразу же рассказать тебе все.

— Что он должен был еще сообщить мне? — удивленно спросил Улеб. — Что еще, кроме сладкой вести о Велко? И о тебе.

— Но ведь он сторговался в гавани с тем купцом, который обещал ночью принять нас с тобой на корабль.

Услыхав эту новость, Улеб громко позвал:

— Лис!

Тот явился сразу, и, не будь Улеб и Кифа так взволнованы, они без труда догадались бы по выражению хитрой его физиономии, что он подслушивал их, притаясь внутри хижины.

— Ты, приятель, как видно, непревзойденный мастер запутывать разум ближних, — сидя на камне и вперившись пытливым взглядом в Лиса, строго произнес юноша, — однако всему есть предел, моему терпению тоже. Купец и корабль, что значит эта загадка? Объясни. Даю тебе срок ровно столько, сколько понадобится твоей тени, чтобы продвинуться на пядь.

— Срок достаточный, — Лис ухмыльнулся. — Итак, златовласый, будешь век меня помнить, ибо я не только умею запутывать разум, как ты изволил выразиться, но и заботиться о ближних. Считай, что сегодня поутру я снова спас тебя.

— Все слышу, как твердят вокруг: спасаем, спасаем тебя, спасаем. То Анит, то ты...

— Тень моя движется, Твердая Рука, не перебивай. Предыстория слишком долгая, пядь коротка. Слушай

суть. Нашелся купец, который ночью отплывает на торг в Рось-страну. Птолемей, купец тот, невзлюбил почему-то великого воеводу ихнего Никифора Фоку, он был счастлив видеть на ипподроме, как посрамил боец столицы ставленника Халкедона. Смута между высокими порождает вражду и меж подданными. По эту сторону Босфора молва гласит, будто люди Фоки похитили бойца-триумфатора в отместку василевсу и упрятали на улице Бладобреев, но он, то есть ты, Твердая Рука, перебил их и бежал. Говорят, что сам Анит Непобедимый подтверждает это. Многие внизу восхищаются Твердой Рукой. Для тех же, кто наверху, пусть совершивший подвиги, но поправший обычай — беглый преступник и только. Однако тебе беспокоиться нечего: Птолемей охотно возьмет тебя с собой, не выдаст. Возьмет, понятно, тайно. Корабль его полон товаров, и такой воин, как ты, на борту дорожке целой когорты обычных. послужи ему, пока не достигнешь родины.

— Если так, я согласен, — молвил Улеб, внимательно выслушав Лиса, — при условии, что он прихватит и Велко с тобой. Не оставляю вас на произвол судьбы.

— Нет, Твердая Рука, я остаюсь. Тебе нужно в Степь за сестрицей, мне в Фессалию, рассчитаться с Калокиром, велик должок за ним, окаянным. Булгарин твой тоже сказывал, хочет в замок динаата, чтобы выкрасть из заточения возлюбленную. Стало быть, дороги расходятся. Я, признаться, думал на динаата идти с тобой, да уж коль подвернулся булгарин — добрый путь тебе в Рось без нас.

— А я? Как же я? — вскричала Кифа со слезами на глазах. Обхватила колени Улеба, взмолилась: — Унеси меня ветром! Возьми с собой, единственный, несравненный! Не хочу без тебя! Не смогу!

Юношу тронул и смутил порыв девушки, он бережно поднял ее, точно хрупкую голубую птицу, улыбался тепло и нежно. Кифа склонила голову, и рассыпались черные в лентах ее волосы на широкой груди Улеба, как сгоревший ковыль на крутом холме. Он сказал ей:

— Прости меня, Кифа... Не взвалю на тебя своей тяжкой доли. Я одинокий воин, а врагов у меня много в твоей стране и дальше, в Степи, до самой родимой межи. Я один, и одному быть мне, покуда не исполню свой долг. Ищи отраду на своей земле.

— Ах, желанный мой рыцарь, как хочу я увидеть

вместе с тобою другие земли! Увези в свою крепость, буду петь и плясать для тебя от зари до зари, станешь пить виноградный сок из моих рук! Я сама изгоню слуг из твоих покоев, сама разожгу фимиам в кадилах и сама буду вплетать свежие розы в твой венок на пирах!

— Моя крепость... — усмехнулся Улеб. — На земле родных улличей были у меня молот с наковальней да железная крица в огне — все богатство. А иного не надо.

— Неправда! — Смуглянка капризно надула алые губки, даже стукнула кулачком по его груди. — Грех обманывать! Все знают, у Анита в палестре бойцы из плененной знати восточных и северных стран. Всем известно также, что господь наш не плебеев наделяет такою отвагою, благообразием и умом. Просто хочешь отвергнуть любовь мою, хочешь сердце мое разбить обманом. — И расплакалась.

Улеб в полной растерянности заморгал, обернулся невольно к Лису, словно прося совета и помощи, а тот дрожал от непомерного старания подавить в себе смех. Сдержался все-таки от неуместного смеха, поскреб белобрысую голову, подмигнул Улебу, дескать, не страдай и не майся, парень, Лис ее привел, Лис ее и отвадит.

— Вот что, ягодка, — обратился он к Кифе, — милу быть — это еще не все. Я и сам любоваться тобой не устану, а что толку в том? Шла бы ты домой, в «Три дурня», к батюшке. Чем иным утешься, а друга моего не смущай, и так уж темнее тучи. Он еще дитя малое, рано женку ему искать, рано брать на себя обузу. Ступай, сладкая, ступай себе, нам забот без тебя хватает. Повидалась, и будет.

Улеб, «дитя малое», показал ему кулак, и Лис сразу осекся, снова поскреб макушку, соображая, что бы придумать получше да повнушительней, тем паче что Кифа и ушком не повела. И придумал, хитрец. На то он и Лис. Собрался с духом и крайне вычурно, приподняв за подбородок заплаканное девичье личико:

— Согласна ли гореть в геенне огненной вместе с антихристом, неразумная? Если согласна топтать верность господу своему ради верности человеку по прозвищу Твердая Рука, иди с ним!

Мигом высохли слезы на округлившихся глазах девушки. Отшатнулась, бедняжка, попятилась, потрясенная, конечно, не столько напыщенностью речи, сколько

страшным ее смыслом. Улеб, сам того не подозревая, также онемев от выходки Лиса, как нарочно, застыл в позе, могущей быть расцененной как поза гордого еретика на костре. Лис же нашел в себе силы величественно ретироваться в хижину, точно в келью, где рухнул на жесткую травяную подстилку и забился в беззвучном хохоте.

Слепая набожность Кифы оказалась во сто крат сильнее ее рассудительности и смекалки, еще недавно удивлявших Улеба и Лиса. Девушка фанатично крестилась и пятилась, пятилась от юноши, точно от дьявола.

Вскоре Улеб и выскочивший из лачуги Лис могли видеть, как далеко внизу, будто мельтешащий бело-голубой мотылек, убегала она, путалась в длиннополом своем наряде, устремляясь туда, откуда начинались проложенные колесами повозок дороги к стенам города.

Улеб, омраченный и подавленный, смотрел ей вслед. Лис, напротив, смеялся до колик, все пришлепывал себя по бедрам, хвастался:

— Ай напугал я рабу божью! Ай ловко отвадил девку-то!

— Может, зря ты с ней так... Ведь искала меня с доброй заботой. А теперь оставаться рискованно.

— Нет, девчонка болтать не станет. Ей, прозревшей, хи-хи, нынче денно и ночью каяться перед богом своим. Хороша она, твоя Кифушка?

— Не знаю. Мне и правда о девах не время гадать. — Щеки Улеба залились краской, он откашлялся и глаза отвел точно так, как было это накануне, когда неожиданно обнаружил смуглянку возле хижины. — Надо бы, Лис, с конями спускаться, ждать Велко у воды. Любовь, любовь... у Велко любовь, у Кифы... Будто нету уже места в мире для ненависти...

— Есть еще, есть, — отозвался Лис, погружаясь в одному ему ведомые мысли.

Стайки пестрых рыб сверкали в прозрачной воде, омывавшей подножие скал. Лениво колыхались бурные нити водорослей в затопленных расщелинах. Чайки прилетали сюда отдохнуть после суматошных кружений в гавани.

Скоротечны мысли. Бесконечны часы напряженного ожидания.

Лис плескался поодаль в крохотной заводи, фыркал, бултыхался, шарил руками в трещинах, с шаловливым

смехом извлекал оттуда крабов. Улеб задумчиво сидел на полоске песка под крутым тенистым навесом берега.

Пустынно окрест. Лишь далеко в стороне различим был в солнечном мареве плот искателей моллюсков. Точно призраки, исчезали в воде обнаженные загоревшие ныряльщики и вновь появлялись на поверхности, чтобы тут же, жадно глотнув горячего воздуха, опять погрузиться на дно.

Время шло. Сумерки пали, сменил их вечер, близилась ночь. Ловцы моллюсков зажгли на плоту факелы, и не видно уж было во мгле ни плота, ни самих ныряльщиков, только огоньки дивно плясали на отмели.

Лодка появилась из тьмы внезапно. Черная, просмоленная насквозь долбленка ткнулась носом прямехонько в крошечную песчаную бухту. Взволнованно, крепко обнялись побратимы после долгой разлуки, молча, как подобает ратным мужам.

Лис вклинился меж ними, бормоча:

— Довольно вам, братья, кости ломать друг другу. Надо спешить. На вот, болгарин, оденься, заранее припас для тебя. А мы пока челн утопим. — Лис вынул меч, шагнул к однопалубнику и тут же удивленно спросил: — Это что ты привез, парень? Не труп ли надсмотрщика?

— Нет, — рассмеялся Велко так, что заблестели в темноте его белые зубы, — я не кровожадный. Все уснуло, когда я похитил моноксил, а заодно и посудину со священным огнем греков. Нет им большей досады, чем пропажа боевого огня. Мне бы еще лук добыть да стрелы...

Улеб и Лис с любопытством ощупывали серебристые бока сосуда, поднимали его, прикидывая на вес, покачивали, слушая, как полощется внутри знаменитая горячая жидкость.

— Ишь ты, — восхитился Лис, — разумны ромеи. Только на кой оно нам? Утопим тоже.

— Зря, что ли, старался брат мой? — возразил Твердая Рука. — Спрячем и бочку, и челн в рыбацкой хижине. Может, и сгодится когда добрым людям. Лодчонка-то просмолена добротнo, век сохранится.

Вытащили лодку с сосудом на песок, подхватили с двух концов и понесли наверх, осторожно ступая по осыпающейся каменистой тропке ущелья. Улеб и Велко в оживленной беседе делились былым и чаяниями.

— Значит, опять расстаемся, — сказал Улеб. — Видно, и впрямь завладела тобой пленница Калокира, коли жизнью готов рисковать ради свидания с ней.

— Она мне дороже жизни, Мария моя, дороже всего на свете, — отвечал молодой чеканщик. — Я должен вырвать ее из темницы.

— Что ж, — подумав, согласился Улеб, — ты прав. Я ведь тоже спешу на помощь сестрице. Что-то общее есть в наших помыслах, тем и утешимся.

Лис сказал:

— Я позабочусь о болгарине, как позаботился о тебе, Твердая Рука. Ну, прощайтесь тут. Пора. Уже ждет, наверно, корабль Птолемея в трех сотнях шагов за последним мысом.

С лошадьми на поводу побрели они вдоль кромки воды. Иные места приходилось преодолевать вброд, иные даже вплавь. Ночь выдалась безветренная. В воздухе тонко верещали летучие мыши.

За последним мысом берег выравнился, триста шагов отсчитали скоро. Лис поднял руку, все замерли, прислушиваясь.

— Никого, — сказал Улеб.

— Тсс... — Лис пошарил под ногами, отыскал два увесистых камня, и два громких всплеска разорвали тишину. И внезапно из ночи донеслось два хлопка в ответ, потом частые удары весла о воду.

— Это за тобой, златовласый, — сказал Лис, облегченно вздохнув. — Прощай. Надеюсь, меня не забудешь.

— Спасибо за все, Лис, прощай и будь счастлив, — сказал юноша.

— Прощай, брат, — Велко положил свои руки на плечи Улеба, — горжусь тобой.

— Прощай, Велко. Жаль расставаться. Мы бы у купца лук и стрелы добыли для тебя, показал бы свое умение перед степняками. Береги Жара, он верно тебе послужит. Будьте с удачей! Может, и свидимся когда, кто знает.

Улеб погладил шелковистую гриву Жара, прижался щекой к влажным губам животного. Конь опустил голову низко, он ведь все понимал, умница.

— Эх, Жарушко огненный мой, — вздохнул юноша, — далеко забросила нас судьба-разлучница, повидали мы горюшка вместе и врозь, всяко бывало. Настал час воротиться в родные края одному мне. Ты уж про-

сти, коли что не так. Велко люби как меня, он не чужой нам с тобою.

Тут причалил к берегу плотик, какие обычно содержатся на всех больших византийских парусниках, с него прыгнул рослый моряк. Он помог сойти на сушу худощавому вооруженному мужчине в кольчуге, затем, бросив весло, поднял с настила лук, приложил к тетиве стрелу и застыл в позе преданного телохранителя, широко расставив босые ноги.

Мужчина в кольчуге приблизился к нашим героям и, узнав среди них Лиса, обратился к нему низким, спокойным голосом смелого человека:

— Ты не обманул меня. Твердая Рука здесь, с тобой. Всякий, кто видел его на арене днем, признает и ночью. Он согласен с моим условием?

— О да, — быстро ответил Лис.

— Хорошо, — сказал Птолемей, ибо это был именно он, и вынул из-за широкого пояса длинный, как чулок, кошель, протянул Лису. — Получай сполна, как договорились. — Купец еще раз оглядел всех троих, спросил: — Где женщина?

— Ее нет и не будет, — хихикнул Лис, тщательно пряча деньги за пазуху, — сбежала еще днем, чтобы поспеть в храм к вечерне.

— Хорошо, — усмехнулся Птолемей и обернулся к моряку: — Ты слышал, Андрей, женщины не будет на корабле, не забудь сразу же порадовать этой вестью своих головорезов. Оставь лук и подай записку.

Моряк опустил лук, принес с плотика тонкую деревянную пластину, на которой были вырезаны слова соглашения. Приняв дощечку из рук телохранителя, Птолемей передал ее Улебу вместе с кинжалом.

— Поставь свое имя при всех, — сказал он, — режь на ощупь в правом углу.

Улеб резко повернулся к Лису и, с трудом сдерживая негодование, спросил по-русски:

— Что это значит, Лис? Снова загадка? Может быть, лучше мне сесть на Жара, Велко — на твою кобылу, а тебя вместе с этими наглецами уложить навеки? Что за награду он дал тебе? С какой стати?

— Все правильно, златоустый, таков был наш уговор с купцом, — заикаясь, пояснил Лис. — То заручная записка. Ты сам согласился мечом сберечь его в пути. За это и выдал он золото. Договор был — платить за-

года. Я так рассудил: нам с булгарином оно нужней на чужбине-то, ты же, Твердая Рука, вернешься на родину.

— Я о золоте не слыхал от тебя, — рассерчал на Лиса и Велко, — а коль был у вас такой уговор, сейчас же отдай его Улебу.

— Мне все ясно, — прервал его Улеб, — мудрый Лис прав, как всегда. Ничего мне не нужно, хочу скорее на корабль. — Он высек свое имя на доске, вернул ее невозмутимому Птолемею, обратился к нему по-эллински: — Я Улеб, росс по прозвищу Твердая Рука, готов защищать твою жизнь и товары от разбоя в море до тех пор, пока не высадишь меня далеко от своей страны в месте, которое я укажу тебе. Клянусь, не нарушу запись!

— Хорошо, — сказал достойный купец.

И они ударили по рукам.

Улеб еще раз сердечно распрощался с Велко, Жаром и Лисом, прежде чем ступил на плот, который под тяжестью уже троих, плохо повинаясь веслу в руках Андрея, не скоро доставил его на корабль.

Когда наконец плотик стукнулся о высокий борт судна и все трое вскарабкались на него по узловатой веревке, купец сразу же распорядился зажечь сигнальные огни и поднять парус. Птолемей был не только храбр, но и предусмотрителен, ибо корабль находился за пределами бухты Золотого Рога, выход из которой пересгораживался на ночь гигантской цепью.

Парус бессилен в безветрии. Гребцы налегли на весла.

Плыл корабль. В блеклом свете луны вырисовывались зубчатые очертания удалявшихся укреплений византийской столицы. И чудился Улебу топот копыт его огненного Жара, уносящего в седле вольного Велко, и слышался серебристый голосок прелестной смуглянки Кифы, молившей в отчаянии: «Верни-и-ись!..» И виделись юному просторы отцовской земли за печенежской степью.

Плыл корабль. Улеб стоял на его носу, презирая сонящих на палубе воинов-наемников, подчиненных ему, он смотрел вперед и тихо запел с детства памятную песню уличей.

Славный сын коваля, честный и сильный, не знавший руки, способной свалить его, в эти благодатные ми-

нуты он не мог и предположить, какой страшный удар поджидал его впереди.

Плыл корабль. Плыл далеко и долго, ибо крепки мускулы гребцов, а ночь велика. Как забрезжил рассвет за спиной, дунул ветер попутный, наполнился парус, украшенный каким-то таинственным знаком, и запенились барашки в море. Улеб видит: красив и надежен парусник Птолемея, не остановить его никаким бурям. Бока высокие, выпуклые, в три цвета крашенные, впереди, на носу, два обитых железом кола торчат, один ниже другого.

Только Улеб недолго любовался кораблем. Взгляд все больше тянулся к берегу. И чем дальше и пристальней всматривался он, тем ощутимее вытеснялась из груди радость нараставшей тревогой. С восходом солнца бросился юноша к купцу:

— Эй, куда мы плывем? В Рось-страну? Почему солнце сзади?

— В город Рос. А страна там норманнская.

Птолемей был все в той же кольчуге, с кинжалом на тонком ремне возле пояса, нос орлиный, глаза мудреца, строен, легок походкой, руки скрещены, на обветренном, темном лице глубокие складки морщин. Он не мог понять, отчего побледнел Твердая Рука, гордость и глава его охраны.

— Ты плывешь в Рось-страну, к моей родине! — крикнул юноша как безумный. — Мы должны в Рось-страну! На восток! Там другие берега! Поворачивай! Я сойду на землю печенегов! Нет?! Ты меня обманул! Умри, мошенник! — Улеб метнулся к изумленному купцу с кулаками и, вероятно, убил бы того на месте, но споткнулся, будто подкосило стойкого жуткое прозрение, и тотчас же навалились на него все, кто был на палубе.

Птолемей смотрел, вытаращив глаза, на барахтающуюся грудю тел, слышал стоны и вопли тех, кого Улеб калечил в безудержном гневе. Но все же десятки рук сумели опутать его канатом и привязать к мачте.

— Мне нужно на восток! Мне нужно к морю Русскому! — срывалось вместе с тяжелым дыханием с окровавленных губ Улеба. — Мне нужно в наше море!

— Помилуй, я не скрывал, а ты знал, что уплываем в другую сторону! — с искренним недоумением воскликнул Птолемей. — Вот запись, там имя твое! Постой, постой... кажется, я начинаю понимать... Нет, Твердая

Рука, не я тебя обманул. Рось-страна... Рос... Конечно! Знай же, сначала плывем мы к пустынным берегам Кордовского халифата, где, думал я, собирался ты нас покинуть. Потом достигнем океана, а там мимо франков и саксов, через Северное море к норманнам в Роскильде. Этот торговый город мы, купцы, меж собой называем коротко — Рос. Так и сказал я подосланному тобой человеку: «Плыву в Рос». Клянусь, нет моей вины пред тобою.

Улеб ошеломленно молчал. Невидящий взгляд его блуждал по столпившимся вокруг ромеям.

— Развяжите его, — приказал купец. Однако никто не шелохнулся, боясь приблизиться к росичу. — Эй, кто-нибудь! Оглохли?

Разрезали кинжалом путы, освобождая Улеба, но он остался сидеть под мачтой, уронив голову на руки.

— Безвинный я, поверь, — сочувственно говорил Птолемей, присаживаясь рядом. — Помочь тебе нет возможности. Слишком дорого ты мне достался. Хочешь не хочешь — обязан служить мне. Не такой ты человек, чтобы нарушить клятву. Кто кого не понял или извратил мои слова, меня не касается, корабль поведу как должно.

— Велик путь туда и обратно? — глухо спросил Улеб.

— Да неблизок, признаться. Годы. — Птолемей вдруг ободряюще похлопал юношу по плечу. — Зато оба воротимся богатыми. Увидишь полсвета, богаче вдвойне. Трус для меня — червь, а такой воин — все. Ты ведь от клятвы не отступишься.

— Оставь меня. Уйди.

Но Птолемея, обрадованного тем, что Твердая Рука внешне выглядел уже довольно спокойным после недавней вспышки, трудно было унять.

— Никто, кроме меня, не отваживается ходить к северным людям за мехами. Милуют меня их страшные плавающие драконы, благоволит ко мне сам Олав, вождь норманнов. Вот он, охранный знак их Олава, на моем парусе. Дважды ходил я в северные города, даст бог, ворочусь и после третьего раза.

Юноша медленно поднял на Птолемея полные боли глаза, сам поднялся, точно хмельной. Было что-то такое написано на прекрасном его лице, что даже бесстрашный из мореплавателей Византии вздрогнул.

— Скажи, ромей, скажи мне правду, — хрипло произнес Улеб, расправляя плечи, — тот хромой славянин, что сговорился с тобой обо мне, знал, куда ты плывешь на самом деле?

— Знал.

Юноша круто повернулся и направился к своему дозорному месту на носу корабля. Заслышав его шаги, наемники, щеголяя военной выучкой, вскочили, выстроились, приветствуя своего нового командира. Улеб взошел на пурпурную площадку прямо над торчащими из корабельного носа железными кольями — таранами, под которыми разламывались упругие волны, и устремил взор в синее безбрежье.

— Измена!.. — шептал он навстречу соленым брызгам. — Измена... Хотя ты, Велко, прозрей и не дайся проклятому извергу. Сварог всевидящий, надоумь моего побратима покарать предателя в этот час!



Глава XVI

т Большого дворца василевсов к Медным воротам Палатия неторопливой походкой имущего, окруженный слугами, с высоко поднятой головой шествовал всем известный династ из Фессалии Калокир, сын стратига Херсона в Крыму.

Тяжелые его сандалии гулко и уверенно ступали по плитам аллеи, в то время как шаги многих встречных почтительно замедлялись. Иные вельможи и вовсе останавливались, чтобы поклониться одному из самых частых посетителей Священной Обители.

Так, погруженный в мысли или просто напустив на себя благородную задумчивость, он приблизился к стене крепости, где когорта стражников избранной императорской гвардии отдала ему честь.

Шагая впереди слуг и телохранителей по коридору, образованному выстроившимися воинами с длинными, до земли, щитами и поднятыми торчком копьями, Калокир с удовольствием слушал, как кричали стражники с башен тем, кто находился с наружной стороны ворот:

— Дорогу патрикию!

— Коней!

— Благословен гость владыки нашего!

— С богом!

«Слыхала бы гордячка Мария, как прославляют ее господина здесь, смягчилась бы, может... — размышлял Калокир, полезая в седло своего вороного. — Но знаю, ни славой моей, ни богатством строптивую не сломить. Брату требует воли, русичу этому, а где его взять, если сам Анит не знает? Ох-хо-хо...»

Не будь сердечных забот, Калокир был бы жизнью доволен сполна. Он начинал привыкать к почестям и вниманию, которые выказывались ему не только низшими, но и знатными людьми столицы.

Ходили про него всевозможные слухи и догадки. Калокира боялись, завидовали ему, льстили в глаза, а за спиной, как водится, презирали, глумились, ненавидели и в тайных разговорах называли не иначе, как «этот длинноносый выскочка».

Калокир слеп и глух в своем честолюбии, он и не подозревал о презрительных насмешках и скрытой неприязни окружающих, принимал показное за чистую монету. И обольщался без меры, наполняясь сознанием собственной значимости, втайне надеялся достичь даже трона.

День начался очень удачно. Сам всемогущий правитель пожелал его видеть и выслушать. Он, Калокир, был принят Романом Вторым, и услаждали его слух слова похвалы из святейших уст Божественного.

Обернувшись к громаде крепости, на массивных стенах и башнях которой лежало раскаленное небо, динат мысленно воскликнул: «Будет день, вознесусь в Крепость Власти!»

Витая мысленно в облаках, динат не сразу заметил группу всадников, неотступно следовавшую за ним и его свитой от самой кипарисовой рощи, что разделяла Палатий и городские кварталы. Когда же обнаружил преследователей, удивился, затем встревожился. Остановился. Вгляделся внимательно. Скромная одежда мирных граждан, в какую были облачены подозрительные наездники, не могла скрыть от наметанного глаза их воинскую выправку.

Калокир почувствовал неладное. Выхватил меч, взмахнул им несколько раз в воздухе, точно рассекал воображаемые фишки в излюбленном упражнении, чтобы придать себе храбрости. Опасная неожиданность

страшней, чем просто опасность. Противный холодок пополз от затылка к спине.

— Заклевали б их вороны!.. Похоже, эти четверо пронюхали о драгоценностях василевса в моих суммах. Или же... Нет, охрану негласную высылать не станут вослед. А может... подосланные убийцы? Но кем? Неве- роятно. Среда бела дня, на виду у толпы... Это воры.

Между тем преследователи, посовещавшись, свернули в проулок, всем своим видом выражая досаду, поскольку поведение Калокира и его всполошившихся телохранителей привлекло внимание горожан. Даже нищие потянулись от углов и папертей в предвкушении схватки.

Представление не состоялось, и разочарованные зеваки разбрелись. Все еще взволнованный династ поспешил прочь.

Как ни гнал своего вороного осмотрительный Калокир, лошади незнакомцев оказались проворнее. Он глазам не поверил, когда обнаружил всех четверых, уже поджидавших его у ворот дома по улице Меса.

— Спрячь свой меч, достойнейший, мы безоружны, — дружелюбно и негромко сказал один из них. — Меня зовут Евсевий Благоликий. Не слыхал? Я не обижусь, суть не в этом. Мы посланы к тебе с добрым делом. Пославший нас наказал избегать любопытства посторонних.

— Кто он, пославший? Что нужно вам, христиане? — несколько успокоившись, тоже вполголоса спросил Калокир.

— Это узнаешь. Да озарит и тебя, как нас, сияние его немеркнувшей доблести!

Калокир поспешно изрек:

— Нет большего сияния, чем сияние диадемы наместника божьего! Я уже созерцал его сегодня, слышал Богоподобного, стало быть, не его волею вы гнались за мной.

Приблизившись к оторопевшему династу, Евсевий принялся нашептывать тому что-то на ухо.

Когда он кончил, Калокир нахмурился, забежал глазами по сторонам заерзал в седле, отослал слуг, потер лоб в лихорадочном раздумье, вымолвил:

— Я могу, я готов... соберусь только с духом...

Евсевий и трое других всадников, спокойные, самоуверенные, двинулись шагом к площади Константина.

Калокир же, полный смятения и неведомых нам со-

мнений, спешившись, одиноко зашагал в противоположную сторону через весь город по мощеному спуску. Добрался до нужного места на берегу пролива, бормоча, как во сне: «Либо все потеряю, либо приобрету неизмеримое на новом пути».

Обычную хаотическую и живописную картину являла собой пристань. Шум и гам в торговых рядах и под полотнищами навесов, где укрывались от зноя моряки, их подруги, продавцы сладостей и пресной воды, игорные мошенники, прихлебатели, наниматели, работодатели, попрошайки и прочий разношерстный люд.

На обособленной стоянке малых суденышек дина́т отыскал челн с желтым парусом величиною не больше столовой скатерки и груженный охапками свежих роз, на корме которого, точно на краю плавучей клумбы, кроткой птичкой примостился божий человечек в монашеской рясе.

Непостижимое существо этот Дроктон. Всякий раз, когда происходили важные повороты в жизни дина́та, непременно и необъяснимо, как вещее видение, возникал монах-карлик, о котором, сколько Калокир ни пытался, ничего толком не мог разузнать. Какая же роль отведена власть имущими этому недоростку в сложной и часто трагичной суете сует? Символ рока в подобии человечьем?

Так или иначе, устами Евсевия полководец Фока повелел Калокиру немедленно явиться в Халкедон, и этот монах, уже в который раз снова именно он, молча и загадочно увлекал за собой дина́та в новую авантюру. Вдвоем на утлой лодчонке они пересекли Босфор.

«Хитро придумано, — успокаивал себя Калокир, — конечно, мы везем цветы. А обернись их хитрость лукавее моей, рассеку карлика, как подброшенную дедвяшку».

Калокира не назовешь простачком. Он умел извлечь выгоду из любых ситуаций, гордился собственной дальновидностью, мирился с мыслью, что в великих играх не без риска, не знал роковых ошибок и надеялся не узнать их и впредь.

Признаться, он давно уже пронюхал кое-что о скрытном соперничестве между слабовольным Романом и суровым воином Фокой, хотя первый всячески и во всеуслышанье возносил второго. Чужал, чужал дина́т-пресвевт, что главная сила в стане последнего,

Все в Халкедоне напоминало военный лагерь. Подавляющая часть населения — войска. Лишь у самой воды в неказистых домишках-склепах, прилепившихся к берегу, влачили существование мелкие торговцы, ремесленники и рыбаки, подвизавшиеся около армии. Издали плоские крыши этих домишек напоминали выщербленные ступени широкой лестницы.

Добротные казармы с вклинившимися в их ряды церквами и скромными жилищами военачальников тянулись бесконечной спиралью. Мостовые грохотали под колесами тяжелых обозов и копытами катафрактарной конницы*, которой особенно славился Восток империи.

Дроктон привел Калокира к высокому увенчанному белым куполом зданию с далеко выдвинутым портиком. Внутри они не вошли, а направились к ротонде в глубине не ухоженного виноградника. Монах безмолвно указал динату на скамью и удалился.

Калокир долго ждал в одиночестве, прислушиваясь к топоту марширующих где-то солдат и зычным командам, долетавшим к ротонде, из которой хорошо просматривалась лишь тропа между пыльными виноградными шпалерами. Ждал, когда позовут.

Но Никифор Фока пришел к нему сам. Без охраны. Он прошагал по тропе и очутился в ротонде так стремительно, что никак не предполагавший увидеть великого домашнего именно здесь, среди неприглядных лоз, над которыми роились мухи, динат растерялся и не успел отвесить достойный поклон. Сообразив, что стоит с таким человеком лицом к лицу, динат похолодел от ужаса.

И потом, спустя много времени после этой встречи, он будет мучительно вспоминать короткий их разговор, ибо протекал он столь же стремительно, как и само появление Фоки, и оборвался внезапно, почти не запечатлевшись в памяти.

— Для чего был в Палатии сегодня? — быстро, с ходу спросил некрупный плечистый воитель.

— Велено плыть в Округ Харовоя! Пора Куре собираться на Киев!

— Ответ воина. — Поощрительная улыбка тронула мужественное лицо домашнего.

— Ходил на болгар, твоя милость, когда-то.

— Немного прожил, а уже исходил полсвета.

* Катафракта — тяжелая бронированная кавалерия.

— Истинно так, наилучший! — Калокир молодец-ва-то втянул пузцо и выпятил грудь. — В Руссию ходил дважды до твоей благосклонной воли.

— Уплывешь туда, но не теперь, а когда велю. Возвращайся в Фессалию, замкнись там и жди моего наказа. Моего. Ты расслышал?

— Ох... да, налюбимейший.

Фока саркастически усмехнулся:

— Вот бы поучился у тебя любви ко мне вздорный племянник мой Варда. У стратига в Херсоне были еще дети?

— Нет, обожаемый. Нет у меня брата.

— Отныне будет. И, гляди, не забудь возлюбить его тоже. Имя ему — Блуд, тебе знакомое. С ним заодно возлюбишь и еще два десятка верных мне воинов. А чтобы любовь твоя была надежнее, получишь награду похлеще Романовой. И еще запомни. Блуд и все, кого отправляю с ним, возлюбят тебя всей душой, уж присмотрят за тобой в Фессалии, будь спокоен.

Сказал Никифор Фока, как отрезал, и ушел.

Калокиру казалось, что его ударили чем-то тяжелым по голове. Снова оставленный наедине с мухами и пыльным виноградником, он ухватился за колонну ротонды, чтобы не упасть. Страх, унижение, гнев и смятение исказили и без того неприглядный его лик.

— Что? Что он сказал? — бормотал динат, скребя ногтями ослизлый мрамор колонны. — Изгоняет меня в кастрон под стражу? За что? Понимаю! Не понимаю... Нет! Скорее отсюда! Скорее к василевсу!

Но динат никуда не бросился, а бессильно опустил-ся на корточки, сжимая свой череп.

— Блуда, этого безродного проходимца Блуда, представит ко мне соглядатаем! Я для Фоки ничтожная тля. Как мне быть? Подчинюсь и запомню унижение от Фоки. Меня, Калокира, сына стратига... А сам он, боже, на кого похож! Топчет пыль собственными сапогами, заклевали б его вороны!

— Грех прерывать молитву ближнего, да время не терпит, — внезапно раздался голос.

Калокир вздрогнул, поднял глаза и увидел стройного улыбающегося юношу с необычайно красивым лицом. В жгучей своей обиде динат не заметил, как возник Блуд, за спиной которого стояли дюжие воины в легких желтого цвета плащах.

— Слава непревзойденному нашему повелителю! — стараясь взять себя в руки, ответил династ, нажимая на слово «нашему», и тоже изобразил улыбку. — Всемиловейшему угодно, чтобы я принял тебя, как брата, в своем имении. Дорога в Фессалию с тобой, брат, мне в радость. — А про себя добавил: «Нет худа без добра, скоро увижу Марию».

День спустя завершили показательные сборы, сели на корабли династа и отплыли на глазах у столицы. Однако, едва Константинополь скрылся из виду, пристали к берегу. Люди Блуда, оставшиеся на борту, увели суда на полных парусах куда-то. Сам же Блуд вместе с Калокиром и двадцатью воинами, сойдя на сушу, пересели на ожидавших их коней, чтобы двинуться на запад, где веют ветры с моря Эгейского.

Ни Одноглазый, ни остальные надсмотрщики, боясь расплаты за беспечность, так и не признались господину о похищенном мидийском огне и сбежавшем гребце-булгарине. Они были несказанно рады, узнав, что хозяин покидает их. Безудержная радость моряков удручила Калокира, ибо он расценил ее как проявление черной неблагодарности.

Но настоящим оскорблением для Калокира явился поступок Блуда, который обезоружил династа с издевательской ухмылкой и со словами: «Брат мой, ты доверен моим заботам, и я уже сейчас хочу проявить их. Не обременяй высокородное тело тяжестью излишней ноши, прошу, передай мне свой меч».

Глава XVII



аконец Лис сказал:

— Довольно спорить. Никто из обитателей кастрона-крепости, кроме самого династа, ни разу меня не видел. Я проникну туда. Жди меня или вестей ровно три дня. Я управлюсь.

Велко задумался, опустил на тростниковый жгут, заменявший скамью, и сидел некоторое время, сжимая виски ладонями. Затем поднял на приятеля карие, доверчивые, как у младенца, полные надежды и страдания глаза, кивнул согласно и произнес короткое напутствие:

— Будь осторожен.

Высунувшись из шалаша, Велко наблюдал, как сгоняли гурт, как Лис, босой и обросший, в грубошерстной и драной пастушьей рубаше, перехваченной на бедрах веревкой, с длинной крючковой палкой в руке, отбирал вместе с подпасками тех овец, на которых указывал пальцем старик.

Старший пастух был угрюм и сдержан. С того самого момента, когда Велко и Лис избрали пристанищем его шалаш, молодой болгарин не мог отделаться от сомнения и тревоги. Велко не раз уже делился своими опасениями с Лисом, но последний лишь улыбался в ответ, как всегда, загадочно и самонадеянно, успокаивал:

— Он не выдаст, верь мне.

И Велко старался верить Лису, как доверял ему в течение всего долгого, изнурительного, невероятно трудного пути от моря до Фессалоники. Лис поражал простодушного юнака умением легко и ловко выпутываться из самых сложных положений, в какие им приходилось попадать довольно часто.

Когда они достигли владений Калокира, Лис каким-то чудом сошелся и поладил с пастухом, вел с ним секретные переговоры, завершившиеся, к немалому удивлению Велко, тем, что неприветливый с виду мистий*, укрыв их коней в каштановой роще, не только кормил и поил пришельцев, но и взялся помочь Лису пробраться в кастрон, который каменной твердыней виднелся вдали, опоясанный полями и глинобитными жилищами земледельцев.

Овец, отобранных на убой, погнали по пыльной дороге к укреплению. Блея и толкаясь, удалились они. Стихли и крики погонщиков.

В отсутствие Лиса пастух запретил Велко покидать шалаш, сам же подолгу бродил с козами и овцами в лугах. Его широкополое подобие шляпы из листьев каштана можно было разглядеть то над высокими травами пастбища, то у придорожного колодца, то в группе крестьян, останавливавшихся, чтобы посудачить с мудрым.

Поначалу Велко обижался на почтенного мистия, явно избегавшего общения с ним, однако вскоре догадался, отчего старик умышленно уходит от шалаша подальше. Каждый, кому вздумалось бы заглянуть к пастуху в гости, сразу бы понял, кого он прячет. Вот и

* Мистий (или мистот) — наемный работник феодала.

кружил старик, не щадя слабых ног, до самого вечера в отдалении, точно птица, отвлекающая опасность от своего гнезда. Порой юноша горячо сожалел о том, что послушно остался, но нарушить уговор не мог.

Третий день настал, протянулся тишиной, завершился.

Таяли бледные языки костра. Пастух сидел на бревне. Плоский лик его был спокоен и задумчив. Из ворота шерстяной рубахи выглядывала такая же коричневая и морщинистая, как лицо, иссохшая шея, обвитая чернеющими набухшими жилами, словно змейками. Старик жевал не спеша, как всякий знающий цену хлеба насущному.

Велко взволнованно мял кусок сыра, напряженно прислушивался к предвечерним шорохам.

Вдруг мистий заговорил. Впервые заговорил многословно и доверительно:

— Я человек мирный, тружусь по найму, лишь бы пропитаться. Но если всевышний немилостив к твоему напарнику, я не откажусь от помощи тебе. Все равно выкрадем твою деву, не пощажу и старости своей ради доброго деяния. Не падай духом, сынок.

— Ты все знаешь? — воскликнул юноша. — Отец, твой народ зол и несправедлив к нам. Я тоже, как ты, жил в мире когда-то. Я обижен на твой народ. А у тебя сердце из доброты и сострадания.

— Нет злых народов, есть злые люди.

— Как же ты сможешь помочь мне, если это не удастся Лису, самому хитроумному из всех, кого я встречал?

— Я еще думаю.

— Нет, отец, я не стану подвергать тебя...

— Не перечь, скажи лучше, зачем связался с родственником нечестивого Калокира?

— Не понимаю, о чем ты?

— Не хитри со мной, сынок, — глухо сказал старец. — Блекнет твой помысел в союзе с одним из их рода. Для чего тебе пачкаться прикосновением к склоке господ? Я хоть и немощный годами, а не слепой. Вижу, что оба они единоутробны, оба две капли воды и лицом и телом. Хоть и одет твой поскромней Калокира. Жаль мне, что во имя спасения своей девы ты прибегнул к его содействию. Я их породу знаю, не отпустит тебя без отплаты, и увязнешь в их неведомой распре.

Велко уразумел заблуждение собеседника, рассмеялся:

— Успокойся, добрый человек. Лис не родня Калокиру. Внешнее сходство их действительно поражает без меры. Только Калокир — негодяй, Лис же друг моего побратима.

— Нехорошо, значит, вышло. Согрешил я, думая так о человеке. Ты уж, сынок, не рассказывай ему, если вернется.

— Лис вернется, я верю.

Велко встал и отвернулся от костра, жадно вглядываясь туда, где еще различалась в сиреневых сумерках кривая утоптанная дорога, петлявшая от укрепления на холме до ближних пастбищ, разделенных темной рощицей, в которой спрятаны были верные кони и оружие.

Юноша не ошибся в своих ожиданиях. Едва ночь опустилась на землю, слышались торопливые шаги. Лис почти бежал, постукивая палкой.

— На колени, болгарин! — издали крикнул он и захихикал, увидев юношу в свете костра. — Я несу прекрасные вести!

— О Лис! — Велко бросился обнимать его. — Она в безопасности? Ты видел ее?

— Дай отдышаться и жажду утолить. — С притворным ворчанием Лис отстранил Велко и, приняв из рук старика миску с водой, сделал несколько больших глотков, утер губы, возбужденно поглядывая то на юношу, то на пастуха, сидевшего с крайне заинтересованным видом.

— Отвечай же! — Велко нетерпеливо тормошил его. — Где она?

— Жива и здорова твоя милая, трепещет небось, ожидая скорой встречи с ненаглядным. Тебе нужна Мария — ты ее получишь, строптивую затворницу дината. Мне же нужен сам динат, да только не повезло мне, нет его тут, нету. — Лис огорченно шлепнул себя по ляжке. — Опять упустил я лютого врага.

— Могу ли я в чем понадобиться? — слышался голос пастуха.

Лис глянул на старца и сказал:

— Сейчас мы уйдем оба, но, возможно, поутру снова заявимся. Уже втроем. Заготовь нам харчи в долгий путь, если можешь. А сам язык проглоти, пока не остынет наш след.

— Не беспокойся, — сказал пастух, — мы с теми, кто против наших притеснителей, чтоб им пропасть, господам ненасытным! — И он затряс седой головой, забормотал что-то невнятное, то ли проклятие, то ли молитву.

В роще, где были их лошади, Лис и Велко сменили пастушьи рубахи на воинскую одежду. Затем двинулись в сторону кастро́на, придерживаясь полосы редкого кустарника.

Осторожно и осмотрительно ковыляя впереди, Лис тихонько бросал спутнику через плечо:

— Времени нет порассказать тебе все подробно, да и нужды в том тоже нет. Дева будет с тобой, положишься на меня, не зря я истратил три страшных дня в гнездовье Калокира. Ох, болгарин, чего только не слышался я за то время.

Они добрались до сто́жка сена на краю поля, что доставало своим краем до самого берега крошечного и вытянутого озера. Взошла луна, и свет ее засеребрился на полоске воды у подножия холма, на котором возвышалось спящее укрепление феодала. Словно страж на часах, изредка окликала кого-то выпь. А уж где-то за множеством стадий и верст вечерняя заря сплетала объятия с утренней.

— Что еще удалось узнать тебе, Лис?

— Калокир далеко, он отправился к печенегам с подачкой Палатия.

— Что же мешкаем? Поспешим к ней!

Лис удержал Велко за руку, сердито молвил:

— Тсс!.. Сядь! Так, горячий, недолго испортить все мои хлопоты. Сказано: жди, значит, жди. Мне видней, коли взялся тебе помогать. — Он настороженно высунул нос из сто́жка, задержался взглядом на запертых воротах кастро́на и, успокоившись, нырнул обратно в душистое сено. — Зорька твоя ясная, голубка... А ведь, болгарин, дружку твою дина́т перед отъездом из заточения выпустил. Сказывают, и впрямь голубкой заворковала с ним всем на удивление.

— Что? Повтори, что сказал!

— Сказал, что слышал. Калокир будто бы побожился ей брата́ вызволить из каганского плена. Для того, дескать и снарядил корабли в Степь. Вот она и помягчала, недотрога

— Лис! Убью тебя!

— Стой! Да она ж тебя, неистовый, одного-то и любит пуще жизни! Как услышала про тебя — залилась слезами, дуреха, от радости. Потерпи еще малость, доставят ее тебе прямо в руки. И крови-то лить не придется. А кто позаботился? Я.

Внезапный порыв ветерка прошелестел травой, словно оповещал о близком рассвете. Но, как ни коротка летняя ночь, она еще не уступила землю свету. Еще не пробудились птицы, и сон людской в этот час особенно крепок. Тишина.

Но что это? Безмолвие уходящей ночи нарушил вкрадчивый лязг отодвигаемых запоров. Две тени пробирались вдоль стены. Спустились к подножию холма, исчезли, словно погрузились в воду. Вот крошечный плот с едва уловимыми всплесками пересек рябь лунной дорожки.

Лис жестом велел юноше оставаться на месте, сам поспешил к плоту. Велко видел, как Лис не то пожал обе руки приземистому оглядывающемуся человеку, не то сунул ему что-то, после чего последний кинулся наутек и мигом растворился в сумраке.

Лис бежал с девушкой по тропинке через пастбище к роще, размахивал рукой, приглашая юношу следовать за ними.

Беглянка путалась в полах длинного тяжелого хитона с чужого плеча, глаза ее закрыты, прерывистое дыхание срывалось с уст, и даже в темноте была различима мертвенная бледность девичьего лица. Поравнявшись с любимой, Велко поймал трепетную и прохладную ее руку.

— Мария!..

— О ладо, долгожданный мой, я чуть жива...

Развесистые кроны деревьев роняли глубокую тень, укрывшую их. Расступились каштаны, открывая полянку, и призывно заржали застоявшиеся кони, почуяв людей.

Противоречивые чувства, презрение и зависть, охватили Лиса при виде столь откровенных проявлений торжества со стороны молодых людей. Но чем дольше поглядывал он на них искоса, тем явственней просыпалось в его душе нечто совершенно неведомое прежде. Оно, это незнакомое, непонятное, одновременно сладкое и щемящее чувство росло, пугая своей новизной.

Лис, убийца и лжец, впервые в жизни испытывал удовлетворение, наблюдая чужое счастье.

Велко и девушка сидели рядышком на обломке упавшего дряхлого дерева, держась за руки. Ласковые их слова нежной песней вплетались в тихий шелест листвы. Казалось, не будет конца умильным их речам.

— Ну будет ластиться-то, надо готовиться в путь, — сказал Лис. — Стало быть, так: я на своей кобылке с основным грузом, а вас Жар легко вынесет и двоих. Пора. А еще завернем к пастушьему шалашу. Прихватить бы полтеи баранчика. Как достигнем первого города, распрощаемся. Ты хоть имя открой напоследок, красавица.

— Улия, — ответил за девушку Велко. И повторил благоговейно: — Улия.

— А сама-то онемела? — рассмеялся Лис ободряюще. — Что невесела?

Девушка встала, стройна и печальна, полными слез глазами неотрывно смотрела на Велко. Сказала чуть слышно:

— Прощайте... Я остаюсь.

Велко с Лисом отшатнулись, разом вскрикнув от изумления.

— Я остаться должна, — повторила тверже.

Вот уж кто онемел, так это Велко.

Лис же в гнев встряхнул ее за плечи, воскликнул, срываясь на визг:

— Как смеешь глумиться! Мы добирались сюда вечность! Я отдал стражнику последнее, что сберегал на черный день! Я не динат, капризов бабьих не потерплю!

Струились слезы по щекам, плакала Улия и шептала:

— Должна я остаться, должна, должна... дождусь его, родимого...

— Калокира, что ли?! — Лис даже подпрыгнул. — Ах, такая-сякая, он родню твою погубил, а ты же по нем рыдать?! Опомнись! Или правду молва гласит о твоём сговоре с динатом?

— Он тут ни при чем, — отвечала бедняжка, — не о постылом печаль моя...

Велко, словно очнулся от страшного удара, спросил:

— Неужто, Улия... Ох, Мария, я немил тебе больше?

— Ладо, милый, что же делать мне, коли обещал

грек воротиться с Улебом, братцем моим младшеньким, беззащитным, из заморских степей. Как же можно мне не дожидаться Улеба?

— Улеб, сказала ты? — взволнованно переспросил ее Велко.

— Улебом звать твоего братца? — словно эхом отозвался голос Лиса. — Уж не тот ли Улеб, что пленен был печенегами на Днестре, в земле уличей?

Девушка охнула и опустилась на траву, как скошенный цветок. Лис и Велко ошеломленно обменялись взглядами.

— Нет, не может быть, — бормотал Лис. Припадая на нездоровую ногу, он сделал несколько шагов по полянке, затем вдруг резко обернулся, в два прыжка очутился рядом с девушкой, которая, казалось, вот-вот лишится сознания, и, отчетливо выговаривая каждое слово, спросил:

— Как звалось селцо, откуда ты родом?

— Радогощ, — обронили остывшие губы.

И тут Велко, сорвавшись с места, подхватил ее на руки, целуя и крича, точно безумный, так, что слетели с веток и закружились в светлом небе над проснувшейся рощей птицы.

— Это он! Мой славный Улеб! Он! Ах, твой братец, Улия, брат и мне! Утешься, голубка, наш Улеб вовсе не беззащитный, он свободный воин! Люди нарекли его Твердой Рукой! Тебя он помнит, ничего, никого не забыл! И мне и ему, — юноша указал на Лиса, — Твердая Рука в разное время поведал о несчастной доле Радогоща, и все рвался он в приморские степи, чтобы спасти тебя и отомстить ненавистным.

— Мечь, мечь, мечь... — неожиданно вырвалось у Лиса. — Люди волками рыщут по миру с мечью на острие меча. Видно, нет ни конца, ни начала у злобы нашей.

— Не слушай, милая, не слушай! Нет, Лис не прав, люди добры повсюду, злы только нелюди. Сам Улеб сердцем мягок ко всякому чистому, — пылко продолжал юноша, — рука его тверда лишь против подлых!

Улия жадно ловила слова возлюбленного, бедняжке казалось, что все это сон: и встреча с Велко, и вести о братце, и рассвет с громким пением птиц. Канула ночь, солнце вышло к лугам и перелескам, осушило слезы-

росу, и засверкали девичьи глаза, будто солнце своим светом озарило не только землю, но и саму жизнь.

— Где он теперь?

— Нам известно главное, — отвечал Велко, — он уплыл в Рось-страну. Взгляни, вот его конь! Узнаешь? Да, это верный его Жар! Он унесет нас в земли славян, где, клянусь, мы отыщем Улеба! В дорогу!

— А как же мясо пастуха? — подал голос Лис.

— Сколько можно тянуть с неимущего! — возмутился болгарин. — Сам-то он одним сыром питается. Надо совесть иметь. Пожелаем ему добра, и в путь!

— Я баранчиков печеных страсть как...

— Вперед! — Велко вскочил в седло и, наклонясь с нетерпеливо гарцующего Жара, подхватил девушку с земли, усадил за своей спиной.

Счастливая и слегка встревоженная грядущей неизвестностью, Улия обняла своего избранника так, что маленькие ее ладошки скрестились на его груди, и прижалась щекой к его затылку.

Лис тоже, отвязав свою кобылку, вскарабкался в седло, тронул поводья, поцеловав при этом воздух, и все трое покинули каштановую рощу и выехали на дорогу.

Вскоре очертания кастрона скрылись из виду, наши герои спустились в низину и облегченно вздохнули: теперь никто из слуг Калокира не мог приметить беглянку и ее спутников. Ну а встречаемых крестьян можно было не опасаться, они не враги.

— Унеси меня, сокол ясный, унеси в родимую сторонушку, — ласково шептала Улия в шелковистый затылок чеканщика.

Велко млел от блаженства. Лис ехидно и завистливо бубнил в кулак:

— Ну, бабы! Горазды ластиться да мурлыкать! А он-то распустил слюнки. А и то сказать, хороши они, наши девицы. Эта, пожалуй, покраще Кифы. И не одна-то еще не склонялась на мою грудь... Тьфу!

Мертвая, каменистая равнина простиралась вокруг. Вид ее был бы совсем удручающим, если бы за валунами, похожими на надгробия, не лежало небольшое и круглое, как голубая миска, новое озерцо. По берегам рос густой и высокий тростник. Дорога изгибалась у озера, подступая к прибрежным зарослям, а дальше вновь тянулась к горизонту прямая как нить.

Лис пристально вглядывался в даль. Его внимание

привлекло подозрительное облачко пыли на дороге. Внезапное волнение Лиса передалось остальным. Спешившись и ведя лошадей на поводу, они на всякий случай углубились в заросли. Уложили коней неподалеку, сами принялись наблюдать.

— Целый отряд, — тревожно заговорил Лис, отличавшийся необыкновенной зоркостью, — не меньше двух десятков. Кажется, акриты... * Желтый цвет?.. Азиаты?..

— Что нам до них, — отозвался Велко, — пусть себе скажут стороной.

— Однако далеченько забрались от своей границы, — продолжал Лис, — у ромеев не принято, чтобы акриты одной фемы шатались по дорогам другой. Что-то неладно. Судя по нарядам и снаряжению двоих... Конечно, те двое патрикии. Но почему... похоже, того господина на вороном жеребце охраняют как пленника.

И вдруг Лис умолк и побелел. Пальцы его рук судорожно впились в плечо Велко. Приближавшийся отряд уже оглашал окрестность дробным стуком копыт.

— Калокир! Гляди, болгарин, там Калокир под стражей. Или я не в своем уме?

Лис и впрямь, казалось, лишился рассудка. Немалых усилий стоило Велко удержать его на месте. Юноша обернулся к Улии, кивком головы указал на послушно лежащих коней, и она, поняв немую его просьбу, отползла к животным и приложила ладони к их ноздрям, чтобы не заржали, почуяв кавалькаду, не выдали.

Запыленные, свирепые от усталости воины ехали, не соблюдая строя. Породистые, отменно обученные лошади тоже выглядели утомленными, ступали, низко опустив шеи и чуть приседая задними ногами.

Калокир что-то коротко произнес, обращаясь к конвоирам, вероятно, предложил воспользоваться удобным местом для водопоя. Все стали слезать с коней.

— Мы пропали, — в отчаянии прошептала Улия, — схватят нас.

Велко глянул на Лиса и взялся за рукоять меча, готовый к смертельной схватке. Лис приложил палец к губам и сморщился, как бы наказывая молодым людям помалкивать и не шевелиться, сам же, обронив уже вслух: «Чему бывать, того не миновать, коль сам он ко мне явился», — внезапно поднялся во весь рост и решительно заковылял навстречу отряду.

* Акриты — солдаты пограничных византийских войск.

— Привет тебе, Блуд! И тебя я узнал! — воскликнул он, видя, что воины вытаращили на него глаза, будто выскочил к ним водяной из болота. — Я одинокий путник, избегаю встреч с разбойными людьми, оттого и прятался, заметив вас издали.

Солдаты окружили его плотным кольцом, ибо так повелел им жест командира, который, надо отметить, весьма оживился, будто какая-то сила смахнула печать усталости с красивого, как у девушки, его лица.

Динат же крестился и лепетал:

— Сгинь!.. Сгинь!..

— Оставь, Калокирушка, оставь свои знамена, — сказал Лис, болезненно улыбаясь, — не оборотнем, а собственной плотью предстал перед тобой. Я жив и не помню коварства. Забудем прошлое. С миром пришел в твои земли, с миром и уйду, если вознаградишь меня за все былые заслуги и страдания. — И, понизив голос, чтобы не расслышали в своей засаде Велко и Улия, продолжил, доверительно подмигивая: — Если поладим добром, я тоже в долгу не останусь. Так услужу тебе тут же, на месте, что сам удвоишь награду. А тебя-то, любезный Блуд, никак не предполагал встретить в этих краях. Эхе-хе, сколько воды утекло с тех пор, как виделись в последний раз. Ну и денек выдался! Вовек не забуду! Дай обниму!

Блуд молча и безгласно оттолкнул Лиса, который на самом деле намеревался заключить того в объятия.

Тут динат наконец пришел в себя настолько, чтобы собраться с мыслями, и бледное от природы его лицо покрылось пятнами от ударившей в голову ярости.

— Вели отдать мне меч! Рассеку наголо, как деревяшку! — в гневе обратился он к Блуду.

— Стало быть, так порешил, Калокирушка... — прошипел Лис. — Что ж, Блуд, ты воевода видный, будь же и правым. Я неглуп, сразу смекнул, что и тебе досадил изменой окаянный, иначе бы не волок ты его под стражей за тридевять земель. Ты меня знаешь, так позволь рассчитаться с нашим обидчиком.

С этими словами Лис бросился к динату, чтобы поразить его в самое сердце, и уже сверкнула острая сталь, но раздался грозный окрик Блуда:

— Стой! Эй, так не годится. Я тебя знаю, верно, но и противник твой мне знаком. — Блуд рассмеялся, эхом прокатился смех и в кругу его воинов, им, видно, при-

шлось по вкусу неожиданное развлечение, даже про водопой позабыли. — Ты немного ошибся, Лис, совсем немного. Я не судья достойному динату, а гость его. Мой гостеприимный хозяин требует оружие, пусть получит его. Решайте свой спор поединком, а мы раступимся.

Солдаты живо расширили круг, не расслышав странного шороха в зарослях. Лишь чуткие уши Лиса уловили шелест тростника, и он догадался, что это Велко порывается выскочить ему на помощь, а девушка из всех сил удерживает его от безрассудного шага.

Лис крикнул, задрав подбородок к небу, громко, чтобы Велко услышал:

— Это моя забота, мне и расхлебывать! Молчите, что бы ни случилось! Один не трое! Помни, кто с тобой, помни о своей клятве ей! Авань огрею сейчас Калокирушку — ножки вытянет!

Воины и оба патрикия, принимая выкрики Лиса за диковинное обращение язычника к духам, подивились прыти хромого уродца. Лис второй раз в жизни ощутил в себе сладкое и щемящее чувство, подобное тому, какое испытал в каштановой роще, когда привел туда счастливых влюбленных.

Со звоном и скрежетом скрестилось оружие двух очень похожих друг на друга противников.

Необычайно умение Калокира, страшен и неотразим меч в его натренированной руке. Хоть и бывал Лис когда-то в рядах известной на весь мир дружины, а все же не устоял уже под вторым ударом искусного в рукопашном бою динаата. Да, Лис был обречен. И рухнул он, обливаясь кровью, испуская жуткий предсмертный вопль.

Этот душераздирающий вопль изрубленного, корчащегося в чудовищных судорогах был настолько ужасен, что солдаты и оба патрикия бросились прочь. Живое достигли кони византийцев крутого холма, лишь на гребне которого вздумалось Калокиру оглянуться.

— Мария?! — вскричал динаат. — Там Мария! И не одна! Сбежала! Скорее, Блуд, хватайте их! Озолочу!

Да, к несчастью, Велко с Улией слишком рано покинули убежище, торопясь хоть чем-нибудь облегчить страдания умирающего. До ромеев ли было им, когда Лис в двух шагах от них, прекратив свой страшный вопль, тихо отдавал небу душу.

— Он еще жив, спаси его, Велко, спаси, — умоляла Улия в растерянности.

— Ему уже не помочь, — вздохнул юноша, подкладывая под голову лежащего свернутый свой плащ и откупоривая тыковку с водой, чтобы оросить запекшиеся губы умирающего.

— Что он говорит? — ломая в отчаянии руки, спросила девушка.

Велко и сам заметил, как мучительно шевелились губы Лиса. Он низко склонился и расслышал прерывистое:

— Изверг... Вижу немого изверга... лес... на Белградской дороге... за Киевом... Я продал... родину продал... подыхаю... как изверг... на чужой... Я убил гонца Богдана... А Блуд... Блуд назвался Милчо... из Карвуны... назвался послом Петра... оклеветал болгар... Калокир клеветал... Это ромеи послали Курю... на улицы... с подлогом... Велко, Велко... Быть войне... болгарам и нашими... Прокляни меня...

— Он бредит! Прощай, Лис, прощай! — крикнул юноша, не веря тому, что услышал. — Кошмарный бред его.

— Это не забыть... — собрав остатки сил, Лис нащупал что-то за пазухой, вытащил, разжал кулак, и Велко с Улией увидели позолоченный медвежий клык на цепочке.

— Знак высоких гонцов великого князя Киевского, — прошептала Улия. — Откуда он у него?

— Не болгары... я погубил Богдана... возьми, Велко, спрячь... сохрани...

Юноша повиновался, ошеломленный, а Лис продолжал страшную исповедь, с невероятным трудом выдавливая из себя хриплые звуки:

— Быть войне... меж братьями... Прокляните, заблудшие... Я продал... Улеба продал... обманул... Корабль Пто... Птолемея увез его... не в Рось-страну... в другую сторону... Не вернуться Улебу...

— Молчи! Не смей! — Велко отпрянул, подхватил девушку на руки. — Он лжет, Улия! Лжет!

— Нет, это правда... тайна душила... теперь мне легко... мне хорошо... умираю... — Лис вздрогнул и испустил дух.

С бесчувственной девушкой на руках Велко стоял, оцепенев, посреди дороги и слепо глядел на марево пы-

ли, из которой, точно желтые привидения, с громким топотом выскочили конные воины. И не мог он понять, почему набросились на него эти люди, зачем вяжут его и Улию, куда тащат.

Когда, так и не дождавшись зова хозяев, огненный светлогривый Жар вместе с навьюченной лошастью Лиса вышел из прибрежных зарослей, вокруг стояла полуденная тишина. Только прошуршала где-то в сухой траве вспугнутая копытами ящерица да на озере какая-то птица вскрикнула одиноко и печально.



Глава XVIII

Немного лет кануло с тех пор, как проводил Роман отца в мир иной. Думал ли он, обожавший земные радости, что сам отправится следом за Порфирородным так скоро...

Вновь отшумел над Византией погребальный звон, сотрясая столицу и все провинции, и снова птицы, всполошенные звонницами, кружили над куполами и обелисками. Отслужила империя панихиду, прокатили военачальники катафалк с прахом почившего, проползли по улицам и площадям Константинополя плакальщицы.

Событие это завершилось бунтом народа, воспользовавшись которым, Никифор Фока мечом проложил себе путь к власти. А через месяц женился на лукавой августейшей вдове, красавице Феофано.

И ликовали толпы, приветствуя нового василевса, первого из рода Фок.

Итак, взошел Никифор Фока на трон империи, чтобы править.

Неспокойно, черно было в стране. Воюя против Сирии, Никифор Фока не мог одновременно сражаться и с Русью, он искал союзников в Булгарии, печенегов же поторапливал в их сборах на Киев.

* * *

— Веди! — отозвалась дружина единым криком. — Веди и верь!

— Веди, — сказал Асмуд, — не гневись на меня, старого, верь в походе!

Святослав рукой сжал-тряхнул удила, громыхнул в сердцах левым кулаком о червлёный щит у колена, молвил сердито и тихо:

— Попусту за словами хоронимся. Едем же! — И сдернул боевую рукавицу, разрезал ладонью воздух перед собой. — Вперед, соколы!

Но не покатилося эхо звонких бубнов, не пели кленовые дудки, и копыта утонули в мягкой траве. Тихо двинулись конные ряды, молча, как велел князь. Дружина выступила из Киева.

Сдержанным был ропот толпы на холмах. Малышня голопузая не высыпала на дорогу, как бывало прежде, жалась к матерям, подавленная общей печалью. Развернутый стяг дружины провожали тысячи влажных глаз.

Бежала дружка князя ключница Малуша по обочине, закрыв ладонями рот, босая и простоволосая, боялась вслух повторять тревогу ночных сновидений, долго-долго бежала, словно все еще надеялась, что обернется он, да суров был Святослав, вел свои копыта решительно, слеп и глух ко всему и всем, кроме дороги и гридей.

На возвышении замерла девушка, и слышали задние ряды пеших и конных громкое и отчаянное:

— Погода, храни россов!..

Скрылся город вдали. А Малуша все виделась на косогоре, недвижимо стояла. Трепал ветер белую холстину платья с вышитым узорочьем на широких рукавах. Руки прижала к груди, где висел княжий подарок — золоченый футляр с иглами для шитья, и светился игольник на солнце, сиял, будто сердце.

Уходя, пожелали мужчины мысленно: «Вам, матери, жены, сестры и девы юные, не скучать без нас под опекой Мокоши. Ждите за пряжей с богиней своей да шейте рубахи нам, в коих праздновать возвращение».

Не Днепром и морем двигалась дружина на Дунай, а в седлах, ибо так было сказано на вече. «Правы отцы полков твоих, Святослав, веди посуху, — говорили старейшины. — Сколько ни плыли Славутой, всегда на порогах засады каганские. Не страшен Куря, били его походя, но и многих своих молодцев потеряли бы под погаными стрелами на Крарийской переправе*, да на

* Крарийская переправа — узкое, опасное место на днепровских порогах, удобное для нападения на проплывающие суда.

каменьях волоков. Нынче с истинной силою мериться».

Едут и едут плотной, упругой лавиной, не спеша и усердно. Много новых прямоезжих путей проложили сквозь дремучие пуши и буйные степи. Оружие не в обозе, на них. И обозов-то самих нету. Не просто выступили, а понесли «рыбий зуб» — моржовую кость, древний знак обиды меж народами.

День за днем, день за днем миновали городища и погосты. Выходили навстречу общинные старшины. Дружина же мимо шла, на поклоны и приветствия отвечала сдержанно. Подымался грозный стяг, распятая медвежья шкура под остроконечным наверхием. И дивился встречный люд сему угрюмому походу, переговаривался:

— Сам великий князь золота не надел.

— Каждый при нем в обуvenье веревочном, в дорожной шерсти и железе без украшений.

— Стало быть, предстоит нашим сеча многотрудная, коль не украсились.

На своей земле воеводы не высылали сторожевые отряды, смело шли. Посылали вперед лишь зажитников, не волчьей же сытью питаться. За битую птицу и говядину, за каждую миску еды, за воду и корм лошадям никому не платили. И боярину попутному и смерду — тяжкие убытки. А уж бедному, конечно, тяжелее тяжкого.

От зари до зари стучали копытами. Только ночью знала дружина большой привал и отдых.

А ночи стояли звездные, душные. Костры редко жгли, так было тепло и ясно. Прогревались за день пески и камни, не хранилась в дубравах прохлада, млели цветы на лугах, а змеи спали прямо на голой потрескавшейся земле. Иссохли ручьи, заплесневели затоки рек. Лишь колодцы, давая студеную влагу своих глубин, утоляли жажду воспаленных ртов.

С рассветами, сколько хватал глаз, простирались необъятные степи, и все чаще и чаще попадались среди стелющихся под суховеями трав на верхушках курганов тесанные из валунов чужетворные древние идолы, божества кочевников, забредавших сюда с Дона и находивших здесь не отраду, но гибель, ибо и тогда, и теперь, и впредь не снискать пощады тем, кто злонамеренно ступал или ступит на землю россов.

Наши гордые предки изгоняли незваных нещадно,

да щадили, не рушили изваяния хазар и половцев. Так и стояли чужие лики окрай южных степей наших.

Росские боги все больше из дерева резаны. Не из сухого, из живого дерева. Сухое дерево мертво. И глядят воины Святослава на колченогих, грудастых половецких баб, что сложили уродливые руки на каменных плоских своих животах, каждая — повторение предыдущей.

Дивятся воины. Юный направит коня к старому воеводе, спросит негромко:

— Старший брат мой, голова твоя в снегу, все тебе ведомо, ты скажи-ответь, отчего не повалены идолища поганых?

Седовласый ему степенно:

— Камень тесан умело, лики эти — человечье творенье, в них покой, не угроза, нашим истинам не помеха. Мирное творение всякого человека велми прекрасно. Нам завещано, завещаем и мы: не предай красу поруганью.

— Даже если чужого племени?

— Красота едина для всех.

Мудрая правда в словах этих. Для всех красота едина. Но она не единый предмет или зрелище, а повсюду, во многих, и тем мила сердцу и разуму людей, способных постичь и сберечь ее или найти.

Где предел прекрасному? Его не ищи. А всего краше небо Родины, ее леса, холмы, равнины, города и сельца, лежащие во всю ширь земли-кормилицы, на которой века оставляют следы нашествий, изгнаний, смерти и возрождения. Пусть останутся потомкам в напоминание об истерзанном прошлом и курганы, и изваяния — все. Пусть грядущие знают былое.

Брод через Днестр указал юный ратник Боримко. Перешла дружина реку и за нею села на отдых. Княжич велел три дня сидеть. Чистили оружие, выгуливали коней, чинили одежду, набирались сил. Удивил свои полки князь, прежде не знали от него подобных приказов в походах, никогда не сидели попусту. И хмурый он, сердитый, все мыслит-размышляет, уединясь, чернее тучи.

Боримко, едва объявили велик привал, набрался смелости, подступился к вождю.

Святослав остался верен своему походному правилу: с мечом в дороге — невзгод поровну. Словно простой воин, прилег на потник, седло сунул под голову, оружие

у изголовья положил, охрану свою отослал к общим огнищам. Лежал в одиночестве, заложив руки под затылок, не мигая смотрел на звезды, вдыхал едкий дымок тощего костерца, собранного из сухотравья и кизяков, слушал гридей, что тихо пели поодаль.

Боримко пробрался к его костру с охапкой веток, вроде бы заботясь об огне, сам преклонил колени уструга, воткнутого древком в земную трещину, покашлял негромко.

— Кто тут?

— Это я, Боримко из Радогоща. Не прогневайся, заступник, позволь испросить.

— Почему тут?

— Я огонь стерегу. Позволь слово молвить, великий, тяжко мне...

— Говори.

— Недалеко отсюда, полночи бегу верхом, пепелище моего Радогоща. Я к Днестру ворочусь, на берег, где стоял родимый дом, поклонюсь, перечту поминание. Отпусти, княжич, сделай милость, уважь сыновний долг. Завтра с заходом солнца буду здесь.

Святослав вдруг вскочил, подошел к молодому соратнику, поднял его с колен, сказал твердо:

— Нет.

Никак не ждал Боримко отказа, удивился безмерно. Испугался даже сердитого вида князя. А тот стоял рядом, глядел куда-то в сторону, поверх головы онемевшего юноши, сам юный, властный, озабоченный. Лунный свет отражался на влажных скулах и лбу, русый локон волос прилип к бритой макушке, крупные белые, как соль, зубы покусывали травинку.

Вот Святослав, точно в забытии, положил руку на плечо дружинника и сказал уже мягко:

— Нам идти будет еще труднее. Сбережем и коней и себя до времени. Потому-то и отдал три дня на покой. Твоя просьба достойна хвалы, понять тебя могу, но и ты уразумей мои опасения. Не на Степь идем, не в Югру*, не за море Сурожское, а идем на Дунай. Обиду несем, не злобу. Не пушу тебя, брат, огражу твою рану от новой боли, не хочу распалять в твоем сердце жажду крови, ибо кровная месть слепа, не щадит ни малых, ни старых. Русский воин не зверь прыскающий.

— Я не зверь. Поклониться хотел только жальнику.

* Югра — старинное название Западной Сибири.

— Вот накажем виновных за все злодеяния, разом поклонимся и Радогощу, и Богдановым сиротам, и святому капищу.

— Эх, княжич, не уважил сыновний долг мой... А что до малых и старых... наших-то резали без разбору, того не забыть.

— Ступай! — вспыхнул князь. — Знай место свое в строю! Ладное войско не стая вразброд. — И, когда Боримко, покорясь сквозь досаду, удалился и смешался с россыпью густо мерцавших шлемов и кольчуг вповалку отдыхавшей братии, Святослав бормотал что-то, ворочаясь с боку на бок.

Настал час, когда двинулись вновь тысячи конных и пеших. Шли и шли в череде восходов и закатов, а Русь за спиной. Ясно, шли нелегко, часто с кровью продирались.

Нежданны-негаданны были для всякого человека иного племени. Упрямо держал Святослав свой путь к Дунаю, на Доростол, долгий путь, не единым павшим росичем на дорогах отмеченный.

...Окаймляли поляну поросшие орешником косогоры. Беззаботно журчал ручей. Влажный воздух напоен запахами скошенных трав, овечьих стад и свежего сыра, хотя ничего этого: ни стогов, ни овец, ни сыроварен — не было видно.

И не сразу первые ряды дружины разглядели встречный отряд на фоне густой и высокой поросли. Статные воины, как на подбор, восседали на тонконогих конях.

Подчеркнуто спокойные, в одинаковых расшитых цветными узорами шерстяных безрукавках поверх белых рубах со шнуровкой на груди, в коротких штанах из дубленой коровьей кожи, с остроносими прабошьнями на ногах, с непокрытыми головами, смуглолицые, черноусые, с длинными волосами, перехваченными на затылке ремешками, юноши, прикрыв шеи коней щитами и приспустив острия пик, неторопливо переводили взгляды с приближавшегося киевского стяга на своего предводителя и обратно. И всего-то отряд насчитывал щитов сто, не более.

Предводитель их, старый, с отечным и, казалось, сонливым лицом, одетый куда богаче прочих, совершенно безоружный сидел на пне шагах в двадцати спереди сотни, наблюдал исподлобья, как выстраивают пришельцы знаменитый свой клин на всякий случай, заполняя

поляну. Чуть позади пня за спиной хмурого старика махонький черноглазый мальчонка с трудом удерживал за поводья двух гарцующих скакунов.

Асмуд и Свенельд вмиг оказались подле Святослава. Первый с ходу спросил князя:

— Что за люди? Булгары, волохи, угры?

— Волохи все.

— Сметем их или станешь слушать?

— Послушаю.

— А на что строй меняем, княжич? — подал голос Свенельд. — Нешто горстка нашему ходу помеха? Нешто слал ты им вызов?

— Может, за буграми схоронилось в листве целое войско. Я теперь никому не верю. Мы ж незваны здесь — им и спрашивать.

— Однако старший волох не выказывает тебе почтения, — недовольно заметили оба воеводы, — не поклонился тебе, великому, не назвался, даже с пня-то не поднялся.

— Я сказал: то его право. Кто-нибудь ступайте к нему с разговором. — Святослав прыгнул наземь и направился к ручью смыть с лица и рук дорожную грязь. Его лучники без команды натянули тетивы, беря под прицел пространство, разделявшее ручей и орешник, где стояла встречная цепь.

Асмуд кликнул толмача и, позвякивая кольчугой, вместе с ним приблизился к старцу на пне. Видя, что тот даже не шевельнулся, тоже присел на кочку, сказал:

— Великий князь россов шлет тебе привет, человек!

Старший волох, словно очнувшись, заговорил в ответ неожиданно высоким и бойким голосом:

— Где же сам? Где он, князь ваш суровый?

— Аль не узнал? У ручья.

— Как узнать, если все вы одеянием схожи один на другого.

— Он таков, — молвил Асмуд. — Он велел узнать, почему твои копыта у нас на пути.

Старик долго молчал, жуя впалыми губами, потом, будто не расслышал вопроса или подзабыл, сказал так:

— Какое то войско. Собрал пастухов, дал оружие. Вы зачем здесь, с войной или в гости?

— Несем булгарам рыбий зуб, — удивленно ответил Асмуд. — Разве это не известно тебе?

— Нет. Откуда знать, если Киев нарушил свой же обычай.

— Ну уж нет! — возмущился Асмуд. — Не таков сын Игоря! Он при мне отправлял болгарского гонца со свитком, а в нем слова булгарам «Хочу на вас идти». Уж давно то было. Видно, крепко они готовились встретить нас, коли до сих пор не удосужились ответом.

— Кто гонец?

— Сейчас... как бишь его... Да! Милчо из Карвуны. Малый близок к свите Петра.

— Что ж, — сказал волох, — может, и был такой. Только сам я не все могу знать. Мое дело тут стеречь. А прослышал о вас только вчера. Вышел встретить с тем, что собрал. Не знаю, как быть...

— Да никак, — улыбнулся Асмуд, — дай за золото-серебро то, чего князь для дружины запросит. А не дашь, прощай и на том.

— Ваш с булгарами спор нам противен.

— То уж наша забота, отважный. Уведи, волох, своих молодцов-то, не накличь понапрасну беды на их пастушьи головы, мало их у тебя.

— Идите с рыбьим зубом мимо, воля ваша. Только мир подивится этой войне, не добудете на Дунае славы. — Сказав так после раздумья, старик поднялся наконец с пня, взобрался на одного из коней, что держал под уздцы его мальчик, и удалился в глубь орешника, явно нехотя уводя за собой свою сотню.

До Асмуда и всей росской дружины донесся прощальный тонкий, как свист, его голос:

— Ничего не дадим вам и за гору серебра!

Дальше день и ночь двигалась киевская дружина, как по пустыне. Никто ничего не продавал Святославу, не менял, не пускался в переговоры. Поизносились, конечно, поизорвались. Ели конину, походя битую дичь, спали под открытым небом.

Спешно шли, минуя уже попадавшиеся богомильские общины булгар. Точно привидения в длиннополых ветхих одеяниях, подпоясанных веревками, сбегались богомилы*, шаркая стоптанными калигами, поднимали невообразимый шум, жгли гигантские факелы.

— Анафема вам! — кричали. Плевались, исступлен-

* Богомилы — еретики, отрицавшие обряды, почитание икон, креста, призывавшие не работать на своих господ и на царя.

но колотили кулачишками по собственным мослам, царапали тощие груди и снова плевались. — Да сломятся ваши мечи! Трижды анафема вам, ведомые дьяволом!

— Братоубийцы! — отвечали россы, оглядываясь. — Не видим хлеба-соли! Значит, повинны вы! Горе вам!

Ветер приносил через версты, поля и скалы зябкое, пасмурное дыхание моря, колыхал камыши Дуная. Чумазы лохматые тучи заволокли небо. Молчали птицы, и солнце скрылось за набухшей небесной мглой. Все омрачилось вокруг.

Ранним пасмурным утром показался Змиевый вал над рекой. За ним Доростол. Скоро отыскиали брод, перешли Дунай. Еще издали, прежде чем увидеть защитные сооружения, услышали россы тревожный перезвон разноголосых клепал. А ближе подошли, разглядели группу всадников, галопом несшихся навстречу по извилистой каменистой тропе, пестрели длинные косицы на поднятых копьях скачущих.

Князь кивнул воеводам, и те вскричали дружине:

— Сто-о-ой!

И отрывисто зазвучали другие команды, полетели эхом над разворачивающимися полками, и взрыхлилась земля ископытью. Затихли тысячи, ожидая, как один. Лишь кони ржали, пугаясь нараставших раскатов грома. Начал накрапывать дождь, усиливаясь, усиливаясь, и вот уже полило как из ведра. И новый грохот огласил окрестности, но это уже не гром, это воины разом подняли щиты над головами, укрываясь от хлестких струй.

— Женщина! — закричали, указывая на приближавшихся всадников.

— Женщина, — вглядевшись, произнес Святослав растерянно и досадливо. — Оскорблением встречает имя мое сей город.

Между тем болгары в полном боевом облачении осадили лошадей в нескольких шагах от спешившегося Святослава и его свиты, сгрудились полукольцом. Лица суровые, мужественные. Застыли как вкопанные, почтиительно склонили копья с яркими косицами, скрестив наконечники над женщиной, что недавно скакала во главе их. А она по-мужски соскочила с коня, подбежала, взмахивая руками, чтобы удержать равновесие на скользком, размытом грунте.

Небольшого роста, гибкая, как мальчишка, она не скрывала волнения. Тяжело дыша после скачки, резким

движением сдернула с плеч широкий плащ, швырнула в грязь и ступила на расстелившуюся шелковую ткань красными забрызганными глиной сапожками, вскинула голову, презирая ливень и ветер.

Стройное тело плотно охвачено тонкой кольчугой из блестящих серебряных колец, изящных, точно рыба чешуя, и вся она в этот миг почудилась серебристой рыбкой в потоках воды. Глаза глядят строго, в упор. К ней приблизился один из болгар, передал что-то, и вот уже разглядеть в ее правой руке накрытый тяжелой крышкой кубок с вином, в левой короткий меч. Обе руки, с мечом и кубком, протянуты к русскому князю, снявшему шлем.

Не шелохнулся Святослав, выдержал взгляд, лишь губы прикусил.

Видя, что он не решается сделать выбор, она воткнула меч в землю у его ног, рядом поставила кубок и, скрестив на груди руки, стала ждать, что скажет.

А он молчал, потупив взор. Молчали и неотлучные Свенельд с Асмудом, и воевода Волк, и Сфенкел. И прочие отцы полков тоже не проронили и звука. Только в задних рядах прошуршало некоторое движение, поскольку многие поднимались на цыпочки, раздвигая шишаки впереди стоящих в попытке разглядеть происходящее. По прекрасному лицу гордой болгарки струился дождь, чистый и теплый как слезы.

Но вот из гущи ратников самовольно выступил Сфенкел, доселе державшийся поодаль. Косматые брови его сошлись над переносицей, борозды морщин собрались на лбу. Бросил искоса взгляд на княжича, осуждая его немоту, и, стараясь придать своему хриплому голосу сдержанность, обратился к удивительной посланнице крепости:

— Великий князь руссов давно сделал выбор. Он сам пришел бросить рыбий зуб к ногам вероломных. И не тебе, дева, пристало встречать его, а достойному, не тебе говорить с ним на открытом судилище.

Слушая воеводу, она так и не отвела глаз от Святослава, которого, надо заметить, встряхнула и вернула к действительности короткая речь Сфенкела. И едва воевода умолк, княжич властным движением руки отстранил его, сам спросил незнакомку, поразившую его воображение по-девичьи прелестным и в то же время воинственно-отважным своим обликом.

— Ты кто?

— Сейчас ни имя, ни жизнь моя не стоят и пера ра*, — сказала она. — Вон Доростол, ворота Булгарии, о нем вся забота наша. Алеманов** мы встретили бы стрелами без разговора, к вам же вышли, ибо надеялись, что молва неверна. Да видно...

— Болтливая женщина в одежде мужей, кто ты?

— Я и семеро этих юнаков — исконные болгары, — отвечала она, не дрогнув, — сам царь слушал бы лютого из нас, не перебивая. Мои предки, истинные болгары, триста лет назад пришли сюда с ханом Аспарухом, чтобы стоять славному государству на Балканах. Мой отец, храбрейший из комитов***, сложил голову за Доростол. Мой брат, Кинчо Чашник, неизменный паракимомен преславского царевца****. Мой муж, здешний владыка, давно в отъезде, к несчастью. Нет сейчас никого выше меня в Доростоле. Кому же еще встречать неожиданных? — Молодая женщина провела тыльной стороной изящной ладони по лицу, убирая мокрые пряди волос, затем снова скрестила руки на груди и выпрямилась. — Ты знаешь теперь, что я достойна внимания, знаешь, что Доростол — ворота нашей страны, знай же еще, что не пустим вас в те ворота, пока живы.

— Ох женщина... и где только собираете вы такое множество пустых слов? Не из тех ли книг, что в руках твоей свиты? Для чего они держат письма-то на виду?

У некоторых болгар, что прибыли с ней, действительно были массивные книги в деревянных обложках с застейливыми металлическими застежками.

— Всякая книга в руке говорит о высокородности держащего ее, — последовал ответ.

— Это верно, — сказал княжич, — однако мы от дела уходим. Ты сказала: ворота страны. Ворота... Не из этих ли ворот выходили убийцы? Ну-ка взгляни, что покажу.

Святослав подал знак, и Боримко тут как тут, злой, промокший до нитки, с мешком на плече. Бросил парень ношу к ногам женщины, развязал тесьму, вывалил на шелковый ее плащ груду тряпья и железа, в коей, хоть и с трудом, а все же можно было опознать одежду бул-

* Перпер — мелкая монета.

** То есть германцев.

*** Комит — вельможный титул.

**** Паракимомен — начальник царской опочивальни.

гарского покроя и несколько поржавевших секир, тех самых, что оставлены были печенегами в сожженном Радогоще.

— Ваше?

Она оглянулась на своих юнаков. Подошел тот, что прежде передал ей кубок и меч, поглядел, пожал плечами, ничего не понимая, кивнул ей и отступил на свое место.

— Признали! Деваться некуда! А невинную кровь разглядели? А это узнаешь? — загремел Святослав, закипая гневом, и показал на ладони два полукруглых обломка цветного воска, что скovyрнул когда-то со свитка, помеченного Петром и принесенного в Киев коварным Блудом.

— Печать царева... — недоуменно проронила болгарка. — Что означает все это?

— Прочь же с дороги! — Князь мигом взлетел в седло, и белый как снег жеребец взвился под ним на дыбы. — Братья! Довольно мокнуть под недобрым небом! Войдем в крепость! Настанет сушь, двинем дальше, на Тичу, к стенам Преслава! Выше стяг!

Дождь бил, косой и хлесткий, сходились с грохотом тучи, ломали друг друга, высекая молнии, и, озаренная огненными сполохами безумствующей стихии, простерла руки отважная женщина в отчаянной попытке удержать всколыхнувшуюся массу людей. В громком крике ее боль и негодование:

— Остановитесь! Всевышний наполнил плоть земных существ горячим соком, доколе же разумным из живых проливать его, алый сок божий! Именем господа нашего заклинаю!

— Прочь!

Не повернули болгары обратно, не разомкнулось крохотное полукольцо юнаков, храбро подняли копыта навстречу лавине, и лавина подмяла их, и потонули крики семи несчастных в общем гуле, и покатилась русская дружина неудержимо и мощно, а в городе видели это, и с новой силой ударили звонари в клепала церквей.

Расторопный Боримко успел подхватить с земли знатную деву, спас от копыт. Она вырывалась, билась в цепких его руках, как скользкая рыбешка в неводе, колотила его по щекам, царапалась, а парень терпел, удерживая ее на коне впереди себя, приговаривал только:

— Уймись! Да уймись же, с женками не воюем. Цыть, глупая, благодари, что цела. Вишь, на княжице лица нет.

Надрывались звонницы в Доростоле-твердыне, терзая сердце и слух. Крепость — будто еж перед медведем. Святославо войско развернулось, построилось.

Позади рва насыпь, поросшая плющом и бузиной. Плющ вился и полз до самого верха стен. У подножия насыпи грядки возделанной марулы, там влажно, благоуханно, и река, прикрывавшая город по одну сторону, и стоки от нее по дну рва чистые, не захламленные, даже рябь от мечущихся рыбьих мальков видна, едва гром ударит.

Башенки-вежи любовно окрашены и расписаны по ладно подогнанным брусьям незатейливыми, но весьма выразительными узорами. Что-то схожее, перекликающееся было в общем рисунке этого города и тех, что остались на родной земле пришедшего войска.

— Проклятый Похвист! — воскликнул Святослав, сердясь на упрямого духа, ниспославшего нескончаемый ливень. Спыхватился, вздрогнул, ожидаячи небесного огня и грома в ответ на ругань.

Асмуд тем временем распорядился, чтобы князю наскоро соорудили шатер из белой холстины, которую воевода таскал за собой на сумной лошадке. Паробки управились споро, и Асмуд предложил Святославу укрыться от непогоды, но тот и глазом не повел, пристально вглядываясь сквозь пелену дождя в очертания лежащего впереди укрепления.

— Начнем, княжич? — спросил воевода Свенельд.

— Пускай Боримко отведет болярку в шатер. Да стерегите в оба, — сказал князь. — Ты, Свенельд, речами горазд, отправляйся и покричи им. Поднимут запоры добром, отдохнем, подождем царева вестника. Объясни: великая смута у меня на душе, я готов принять их повинную и откупную, коли выдаст их царь злодеев, погубивших село на Днестре и Богдана.

— Мудрое слово твое! — громко молвил Свенельд. Затем, понизив голос, чтобы слышал один Святослав, добавил: — Слово словом, а дело делом. Оглянись, княжич. Копья с мечами трудно шли за тобой. И что же теперь, когда дело близко к завершению?

— Ну, варяг, помолчи-ка!

— И не смолчу. Ты в соплях еще на коленях моих сидел, — осерчал воевода. — Зря мы, что ли, сюда до-

бирались столько дней, коренья да конину жрали. А пришли, ты развесил уши перед бабой ихней.

Раздался гул в стане россов. Это волнение вызвали стрелы булгар, что посыпались сверху.

Под крики дружинников поднял Святослав копьё-сулицу, метнул в сторону города, конечно, не целясь, вполсилы, и недалеко пролетело княжье копьё, да и не нужно ему далеко лететь, то просто сигнал. И, по обычаю, обратились воеводы к полкам своим кратко:

— Князь начал! Начнем и мы!

Притащили порубленные в ближайшей роще дерева, забросали ими ров в двух местах, против Западных и Восточных ворот, а поверх деревьев щиты и по настилу этому устремились на приступ.

Булгарские лучники — меткие стрелки, засели в бойницах, разят оттуда. А бойницы защищены навесными плашками. Россы долго метали сулицы, пока наконец не посбивали ими подпорки. Без подпорок плашки захлопывают бойницы-то, мешают стрелкам,

Там и тут уперлись в стены гибкие леса — длинные, наскоро сколоченные шесты из обструганных древесных стволов с набойными поперечинами. По ним, по лесам, карабкаются, звенят мечами, да никак не достичь верха: больно стойки защитники и умелы, неприступны крепостные заборолы.

Лязг и скрежет железа, треск ломающейся древесины, хлопки сыплющихся камней, ржанье лошадей, крики сражающихся, топот, брань, шум дождя и неумолкающий перезвон церквей — все смешалось.

Откатились назад, тысячи рук натянули тетивы, и со свистом взметнулись тысячи стрел. Под их прикрытием поволокли таран и ну раскачивать, ну ломиться в ворота. Удар за ударом. Каждый страшней предыдущего. Так и пробили брешь, разворотили массивные створы.

Юнаки из крепости вышли перед проломом с бревенчатыми щитами на подпорках. Те щиты диковинны, огромны, как плоты, вытащенные на сушу.

— Долго маетесь! — вскричал Святослав. Коня ударил, рванулся вперед, обнажив свой меч. — А-а-а!..

— А-а-а-а! — подхватили вокруг и следом.

Силу такую не удержать, коли хлынет сполна. Захлестнула людская лавина, смяла преграды и ринулась в поверженные Восточные ворота, словно река в щель плотины, растеклась по кривым узким улочкам.

Вскоре на площади, на лобном месте, князь въехал на помост, куда прежде взбирались лишь глашатаи да палачи, и, не слезая с коня, возбужденно оглядел смешавшихся воинов, своих и здешних. Схватка внутри города грозила обернуться затяжным и страшным побоищем.

— Болярку ко мне! Живо!

Самые дюжие гриди, построившись клином, с трудом прокладывали путь сквозь беснующуюся людскую запруду. Благодаря их усилиям конь, несущий Боримку и его подопечную, притихшую от увиденной картины знатную болгарку, медленно, но верно продвигался к площади. Глаза округлились от ужаса на бледном ее лице, а побелевшие губы беззвучно шевелились в молитве.

Как пушинку, вознесли ее на руках, поставили рядом с князем. Он легонько потрянул поникшие плечи женщины, просит, багровея от крика:

— Не дадим же волкам сытно рыскать окрест! Призови к смирению! А жилища не разорим, сама знаешь! Помедлила. И все же кивнула согласно.

Все, кто был возле них, принялись колотить о щиты рукоятями мечей и секир. Зазвучали сигнальные дудки, привлекая внимание сражающихся.

— Слушайте! Слушайте! Слушайте все!

Противники, заведя знатную болгарку и русского князя стоящими на возвышении рядом и простирающими руки к бурлящим улицам, мало-помалу прекращали схватку, застывали на месте в тех позах, в каких застигал их сигнал отбоя, и обращались в слух. Булгары удивились и обрадовались тому, что цела и невредима их господарка.

Постепенно угасла битва. В наступившей тишине шелест ливня почудился скорбным, жалобным, укоризненным. Пронзительный и внезапный, срывающийся женский голос, казалось, достиг самых отдаленных уличных лабиринтов:

— Люди! Славные мои юнаки! Не хочу, чтобы головы полегли! Мы не сложим оружия, отступим на Балту, к Переяславцу, и вольемся в цареву войско! Там нужнее удаль живых, а не весть о погибших! Здесь же силы слишком неравны! Бог немилостив к нам, пал Доро-стол!..

Лил бесконечный, невиданный дождь.

СКАЗАНИЕ ТРЕТЪЕ



И НАСТАНЕТ УТРО...









Глава XIX



атилося колесо истории, подминая годы.

Не вышло у Палатия намеченное, не истребили славяне друг друга, а слились единой силой, хоть и всяко бывало. Думал с тревогой об этом Никифор Фока, василевс.

А за его царственной спиной поднимал голову крупнейший малоазиатский феодал, победоносный красавец полководец Иоанн Цимисхий, к которому воспылала страстью жена венценосца, неумная Феофано. С ее помощью Цимисхий достиг взаимопонимания с дворцовыми чинами, недовольными василевсом, и готовил переворот.

В интригу был вовлечен и Калокир, искушенный в политических играх и дипломатии.

Спешной и скрытой была миссия вновь вынырнувшего на поверхность Калокира в Округ Харовая. Он даже вопреки обычаю не прихватил с собой товаров, ни кораблей торговых с лишними свидетелями. Один корабль не караван, в глаза не бросится. Мало ли их, быстроеходных военных посудин, одиноко мечется вдоль побережья Понта.

И уж так случилось, так совпало, что в тот самый день 968 года, когда хеландия пресвефта вошла в Босфор из моря Русского, с противоположной стороны, из моря Эгейского, вошло в пролив еще одно судно. То был корабль купца Птолемея, на борту которого находился беглый кулачный боец Улеб Твердая Рука, бывший раб Калокира.

Суетливым и чрезмерно раздражительным стал Калокир в последнее время. Годков прибавилось, а степенности, как ни странно, поубавилось. Может, сказалось долгое вынужденное безделье в Фессалии под присмотром Блуда и его распоясавшейся солдатни. А может

быть, и сладостное предчувствие сгущавшейся грозы над диадемой главного обидчика, василевса Фоки, наполняло дина́та новой надеждой и вдохновением.

Итак, не мешкая ни секунды, Калокир помчался из гавани к улице Меса, намереваясь передохнуть и принарядиться дома, чтобы затем в лучшем виде отправиться с докладом прямо к Цимисхию, минуя трон.

«Пусть Иоанн первым узнает о моих успешных переговорах с Курей, — возбужденно рассуждал он на ходу, — этим польщу ему. Скорей бы Цимисхий и патриарх Полиевкт расправились с ненавистным Фокой, тогда бы и я рассчитался с Блудом и всеми, от кого претерпел надругательства».

Добравшись до дому, перевел дух и, отмахиваясь от славословия слуг, спустился в подвальное помещение, где искупался и, наскоро помоясь, набросился на тут же поданные ему яства.

Насытился, отвалился от стола, прислонился спиной к угодливо подставленным сзади растопыренным рукам прислужника, и, шурясь от удовольствия, вкушая фрукты, глядел на искристый напиток в кубке.

— Хм, — произнес дина́т, — там, откуда я вернулся, угощают не виноградным питьем, а молоком кобылы. Заклевали б их вороны! Ты, Молчун, жаждешь молока лошади?

— О нет, господин, — с готовностью отозвался лакей по прозвищу Молчун. Это был тот самый болтливый Акакий Молчун, с которым в ночь побега из палестры встретился и говорил Улеб Твердая Рука. С той поры, как не стало евнуха Сарама, обязанности старшего прислужника дина́та исполнял Акакий. — Нет, нет, господин, не хочу я лакать пойло варваров. Ведь ежели, к примеру, дать мне кобылье молоко, я могу заржать. Я люблю благодатную кровь винограда! Ах, как люблю!

— Да? Уж не твоя ли страсть к винограду опустошает неприкосновенные запасы моего подземелья?

— О нет, господин! — Акакий собрался даже замачивать руками для пущей убедительности, но тут же спохватился и вновь бережно подпер ладонями спину чуть не опрокинувшегося хозяина. — Нет, нет, я не люблю виноградный сок! Это он все требовал. Сам не больше кошки, а поглощает, как буйвол, даром что божий человек. Ведь ежели, к примеру, подать ему не то, он сразу хватъ по лбу.

— Кто «он»? — удивился динат.

— Я же говорю: божий человек. Седьмой день сидит в твоих покоях. Он утверждает, что так ты велел.

Калокир вскочил на ноги, уставился на слугу и, прожевывая финик, глухо воскликнул:

— Что болтает твой язык? Какого еще проходимца посмел впустить под мою крышу? Кормишь и поишь кого попало в мое отсутствие! Где этот самозванец?

И тут в гулкой, тускло освещенной купальне, наполненной запахами пищи и легкими ароматными испарениями бассейна, раздался негромкий, но отчетливый голос, исходивший от аксамитовых * занавесей у входа:

— Я здесь. Успокойся и изгони своего слугу. Мне есть что сказать тебе.

Калокир обернулся на голос, всмотрелся и... тихо опустил на скамейку.

Монах-карлик как ни в чем не бывало присел рядом, облокотился о мраморное изображение рыбы, из раскрытого рта которой била в чашу купальни струйка воды, выждал, пока не стихли шаги Акакия, и сказал, точно каркнул:

— Выплюнь кость.

Калокир послушно выплюнул косточку от финика.

— Рад тебя видеть в своем доме, — произнес он. — Чем обязан твоему посещению? — Все внутри дината заныло от страха. Он вообразил, что эта ищейка из Палатия пронюхала о его причастности к тайному заговору Цимисхия и патриарха против Никифора Фоки.

— А я рад твоему возвращению из Округа Харовоя, — сказал Дроктон, не ответив на вопрос дината. — Что обещал Куря?

— Хочешь фигу? — любезно осклабился динат, пытаясь собраться с мыслями.

— Благодарю, не голоден, — еще любезнее отказался монах. — Так что же Куря? Поведет сабли на Борисфен?

— Я пресвевт василевса, и лишь ему, Божественному, отнесу свои вести. Прости, но мне следует поторопиться. Я мечтаю пасть к стопам владыки сегодня.

Дроктон рассмеялся, запрокинув голову так, что куколь едва не слетел с его макушки. Это было более чем странно для монаха.

— О-хо-хо! Полно тебе! Мечтаешь пасть к стопам

* Аксамит — бархат.

Фоки! Ха-ха! Ты мечтаешь яд ему подсыпать! Яд, но не хорошие вести.

— Как смеешь ты! Как смеешь обо мне... ужасное кошунство... заклевали б тебя...

— Молчи и внемли, — прекратив смех, жестко сказал Дроктон. — Я послан к тебе за сведениями о печенегах, о намерениях их кагана. А тебе и впрямь следует торопиться. Только не в Палатий, а в крепость Адрианополя, где будет ждать тебя наш спаситель Иоанн. Сейчас он в Европе.

— В Адрианополь? Где доказательства твоих слов?

Монах ухмыльнулся и уже мягче добавил к сказанному выше:

— Мне дозволено сообщить тебе, что сыну херсонского стратига будет пожалован очень высокий чин.

— Мне? Боже милостивый!..

— Служи верой благодателю нашему, — изрек Дроктон и с горделивым видом наполнил кубок себе, затем динаду. — За диадему Иоанна Цимисхия!

— Ты с нами?!. Но это зелье и твой сан... как можно... мое вино мирское, не ровня... — промолвил Калокир.

Дроктон на сей раз придержал куколь, когда запрокидывал голову в новом взрыве смеха. Калокир смотрел, как подрагивает, словно пламя свечи на ветру, язычок во рту карлика, и сам улыбался, ощущая радостное облегчение. А монах, насмеявшись вдоволь, подмигнул, поднимая кубок, сказал:

— Осушим до дна! Согрешим и забудем, ибо грешить грех!

Полчаса спустя, проводив коротышку, счастливый динад распорядился, чтобы слуги приготовили все необходимое для дальней дороги. Он отправил Акакия в еще более долгий путь, в свой кастрон, наказав тому перевезти красавицу Марию под надежной охраной из Фессалии в Адрианополь, не снимая с рук и щиколоток непокорной девы стальных цепочек.

С рассветом следующего дня Калокир был уже в седле своего вороного, и уже не томик библейского Нового завета лежал в его походной суме, а объемистая книга о таинствах военного искусства, трактат Маврикия «Стратегикон».

Несколько оторвавшись от свиты и обоза, ехал динад на запад, и за его спиной таял в дымке блистатель-

ный Константинополь, столичный город, в который Калокир надеялся вернуться триумфатором. А впереди ждал его другой город — жемчужина Македонии.

Он ехал и рассуждал: «Цимисхий обольстил Полиевкта обещанием вернуть церкви богатства, усеченные Фокой. А Дроктон... Дроктон — моя судьба. А может быть, он перст красавицы Феофано? Что, если именно этот монашек сгубил Порфирородного именем Романа, сгубил Романа именем Фоки, губит Фоку именем Цимисхия, погубит и Цимисхия... моим именем! Возможно такое? Допускаю, подозреваю его причастность ко многим тайнствам. Дроктон против всех, в том смысл его бытия. Мечь песчинки колоссам. Досягнуть бы трона с его помощью, сразу же его на куски... Калокир Солнцерадный... Христиане, да озарит вас василевс Калокир Солнцеподобный, Фессалийский-Первейший! И василисса Феофано?.. Нет, василисса Мария!»

...А между тем корабль купца Птолемея уже достиг византийской столицы.

Сам Птолемей, заметно одряхлевший, но счастливый, что сможет наконец обрести покой в родном краю, ослабевшими, трясущимися руками обнял плечи воина, который стоял на палубе впереди всех и пристально вглядывался в очертания обетованных берегов.

Светлые волосы молодого воина струились под ветром на кольчуге спины и плеч, щека и бровь рассечены шрамом, все его резко очерченное лицо потемнело от зноя и стужи минувших лет, а глаза лучезарны, как день, завершивший жестокие скитания.

Шептал Птолемей, обнимая воина:

— Благословенным будь! Тебя, а не бога благодарю, Твердая Рука! Без тебя, мой неистовый друг, не видать бы нам земли нашей.

Видавшие виды завсегдатаи шумной гавани и люди случайные сбежались поглазеть на купеческий парусник, вид которого вызывал у сгрудившихся на пристани бывалых моряков подлинное уважение.

Каждому, кто знал истинную цену трудных морских дорог, достаточно было лишь скользнуть взглядом по обшивке, по стволу мачты, по обломку одного из кольев-таранов на носу, по обветренным лицам приплывших на нем смельчаков, чтобы сразу догадаться о необычности пережитых ими приключений и опасностей.

Не все ушедшие с отважным купцом несколько лет

назад вернулись обратно. Об этом тоже нетрудно было догадаться, и множество добровольцев, сочувствуя почтенному мореходу, тут же вызвалось бескорыстно помочь ему разгрузить переполненные корабельные кладовые.

Мигом подкатали повозки, и работа закипела.

Только двое на корабле, казалось, были безучастны к происходящему: молодой светловолосый воин со шрамом на щеке, неподвижно сидевший под мачтой, и худосочный старик в кольчуге, висевшей на нем, как мешок на жерди.

Вдруг какой-то балагур признал купца:

— Ба! Граждане, да это никак Птолемей! Бродяга, ты ли это? Откуда пришел таким немощным?

— Я вернулся от норманнов, — объявил Птолемей, обводя соотечественников гордым взглядом.

— Как уцелел?

— Три года нас оберегал знак Олава, вождя норманнов. А после смерти его приходилось биться в пути.

— Биться с драконами? Без огненных труб?

— И не раз, — отвечал купец. — Простым оружием, борт о борт.

Восторженно загудела толпа.

Корабль поднимался в воде, освобождаясь от времени груза, и обнажались черные и скользкие, будто масляничные, выросли морских трав выше днища, гроздя ракушек, диковинные шевелящиеся присоски. Чайки с криком щипали их. Птолемей прошаркал ногами к мачте, опустился рядом с молодым воином. Долго сидел без движений, печальный и безмолвный.

Почтенный купец произнес наконец:

— Ты не передумал, Твердая Рука?

— Нет, — последовал краткий ответ.

— Глупо отказываться от своей доли.

— Я за ней не гонюсь. Уступи, что обещал, и ладно.

— Какой тебе прок в потрепанном и разбитом этом корабле?..

— Он еще хорош, — возразил Улеб.

— Одному тебе с ним не управиться, а других не нанять.

— Поищу попутчиков среди наших торговых людей, что обычно постоем у Святого Мама. Там не найду, придумаю что-нибудь. На худой конец всегда можно обменять его на ладью поменьше. Уступи, словом.

— Чудной ты, Твердая Рука, ей-богу, чудной... Не всему должному на миру научил тебя Непобедимый.

— Вот его-то, Анита, надо бы мне повидать напоследок, — сказал Улеб. — Он и поможет без лишнего шума обменять корабль на легкую ладью, если не найдется мне попутчиков. Жив-здоров ли Непобедимый, призывает меня или нет?..

— Сам ты душой нездоров, — проворчал Птолемей под нос. — Мой тебе совет: бери корабль, меняй, продавай, поступай как знаешь, только беги отсюда, куда собирався, не мешкая. Для тебя, Твердая Рука, промедление опасно. Я же выручить не сумею, если вспомнят и схватят. Да и мне самому непоздоровится, когда узнают, кого укрывал.

— Не беспокойся, — сказал Улеб, — сейчас попрощаемся.

— Я велю Андрею оставаться у корабля, он тебе может понадобится сегодня.

— Незачем это.

— Не упрямясь, — сказал Птолемей. — Он посторожит, пока не вернешься из города. Ты ведь хотел навеститься к Непобедимому или уши мои ослышались? Кто бросает корабль без присмотра?

— Хорошо, — согласился Улеб, — пусть Андрей окажет мне эту услугу, коль настаиваешь. Прощай.

— Обрети свое счастье, Твердая Рука!

Минуту спустя Улеб проводил взглядом удалявшуюся вереницу груженных повозок, позади которых несли на носилках одряхлевшее тело купца-мореплавателя. Птолемей беспрерывно оборачивался и поднимал тощую, казавшуюся на расстоянии черной руку, а седая его голова покачивалась.

Улеб вздохнул. Теперь этот корабль его собственность.

Опустевшее судно было приковано к берегу двумя толстыми канатами. Солнечные стрелы ломались и вспыхивали на воде, все звуки сплелись в тягучую нить, и чудилось Улебу, что эта звучащая нить тянется, тянется, пронизав уши, и тепло забытого покоя обволакивало его, убаюкивало.

Он вздрогнул от прикосновения чьей-то руки к его плечу, мигом вскочил, бессознательно обнажил меч и открыл глаза.

— Эй, осторожней! — отпрянув, вскрикнул Андрей. — Это не враг!

— Что нужно?

— Да уж не дырки в брюхе от твоего меча.

Улеб улыбнулся ему, стряхнув с себя остатки сна, молвил добродушно:

— Еще не свыкся я с мирной стоянкой. Ишь, до заката проспал.

А моряк ему сочувственно с ответной усмешкой:

— Это понятно. — Он бросил на палубу принесенный с собой огромный сверток, пояснив: — От хозяина на дорогу. Он просил передать также, что тебе нельзя искать встречи с Анитом. Хозяин узнал, что твой бывший наставник уже не владеет палестрой, он изгнан из ипподрома, лишен имущества и всех прав, влачит жалкое существование.

— Анит Непобедимый в беде? Почему?

— Откуда мне знать.

— Где он?

— Говорят, пропадает в ночлежке какого-то красильщика. Злые языки твердят, будто иногда по ночам к нему является дьявол в облике заботливой красотки. Это, конечно, выдумки, однако кое-кто сомневается, поскольку иначе не объяснить, как бедняга ухитряется добывать пропитание, если все от него отвернулись, боятся, точно прокаженного.

— Погоди-ка, постой... — Юноша напряг память. — Красильщик тот... с серьгой в ухе?

— С серьгой ли в ухе, с кольцом ли в ноздре, мне откуда знать. Я ведь с тобою был на краю света, не сидел тут.

— Слушай, Андрей, — взволнованно молвил Улеб, — кажется, я знаю того красильщика. Сам когда-то прятался в его сарае с подлым Лисом. Вниз от дома Калокира, потом свернуть направо в проулок. Попытаюсь его отыскать!

— Нужны тебе лишние хлопоты? — удивленно буркнул моряк.

— Жди меня, — бросил Улеб и проворно сбежал по сходям на сушу.

— А вдруг это не тот! — донеслось с корабля вослед.

— Проверю! Жди!

Путь от Золотого Рога до улицы Меса бывший раб не забыл бы и через тысячу лет. Ноги сами привели его

к городскому дому дина та через лабиринт шумных кварталов.

И в доме, и в маленьком дворике при нем царило слишком радостное, откровенно веселое оживление, обычно не свойственное домохозяевам черствого Калокира.

На крыльцо выскочило миловидное создание в нарядном балахоне. Стрельнув глазками в незнакомого воина, молоденькая пухлощекая работница вприпрыжку помчалась в глубь двора и скрылась в погребе, оставив после себя тонкий аромат розового масла, которым до лоска было натерто ее темнокожее личико.

Когда шустрая мавританка пробегала обратно с маленькой круглой корзинкой, наполненной душистой зеленью, Улеб поймал ее за руку.

— Что за праздник у вас, егоза? Уж не поминки ли по хозяину?

Она смеялась, сверкая белыми зубками. С бесцеремонным и доверчивым любопытством рассматривала незнакомца, вид которого, бесспорно, производил выгодное впечатление. Сообщила ему:

— Наш тиран в Адрианополе. Отныне не нами ему помыкать, а солдатами.

— А скажи-ка, милейшая, не слыхала ли ты о судьбе человека по имени Велко чеканщик? Он когда-то был здешним невольником.

— Велко, Велко... — мавританка поморщила лоб. — Не тот ли это болгарин из Расы, которого хозяин поймал вместе с Марией, когда они пытались улизнуть из фессалийского кастрона... Ну да, с ними был еще один похититель.

— Лис! — вскрикнул Улеб. — Говори, что известно о них!

— Знаю не больше других, — настороженно ответила она, заметив, как по лицу пригожего незнакомца разлилась внезапная бледность. — Мой дружок, Акакий Молчун, рассказал бы тебе подробней, но его, увы, тоже нет здесь. Хозяин послал его за Марией.

— Если я тебя правильно понял, дева, на которую посягал Велко, жива и невредима, а что случилось с ним самим? И куда подевался его напарник Лис?

— Не будь на тебе одеяния воина, — заметила она, — я решила бы, что предо мной ритор, ищущий разгадку красивой любовной трагедии.

— Из нас двоих сейчас, пожалуй, ты больше напо-

минаешь ратора, — отрезал Улеб, хмурясь. — Оставим красноречие. Мне нужно знать, где Велко и где подлый Лис.

— Не хочу говорить о покойниках. — Юная мавританка обиженно выпятила губки и даже сделала несколько шагов по направлению к дому, но обернулась на печально застывшего воина.

С площади Константина долетали громкий шорох шагов и голоса. По мостовым деловито стучали колеса повозок и копыта лошадей. Густые сумерки пали на город.

Девушка поставила корзинку на крыльцо и приблизилась к Улебу, который все еще задумчиво стоял на месте, ткнула пальчиками в поникшие его плечи:

— Отчего голову повесил, рыцарь? Ты спрашивал, и я ничего не скрыла от тебя.

— Лис его погубил... — молвил Улеб.

— Фи, какой ты! — Она легонько стукнула юношу кулачком в толстокожий щиток на груди. — Сам схватил меня за руку, а теперь замечать не желаешь.

— Прости, — произнес он словно в забытьи.

С тем и двинулся прочь.

— погоди! — Босые ее ступни быстро-быстро прошептали по гладким булыжникам мостовой, она догнала его, смущенная, прошептала тихонько: — Хочу еще рассказать...

— О чем?

— Не знаю. Спроси что-нибудь.

— Все узнал, больше нечего.

— Про Акакия рассказать?

— Сто лет он мне снился, Акакий твой.

— Ну тогда... тогда просто так... поцелуй.

Улеб чмокнул подставленную ею щеку и зашагал вниз по улице Меса.

Все предметы, прохожие, редкие и чахлые деревца в обведенных каменными зубцами приствольных кругах, освещенные уличными светильниками, бросали длинные тени. Бродячие собаки сварливо пожирали выбрасываемые из окон остатки людского ужина. Мелкие торговцы запирали свои лавчонки, перекликались и балагурили, хвастаясь друг перед дружкой дневной выручкой.

Вот и памятный проулок.

Улеб торопился, почти бежал, придерживая у бедра

ножны. Узкое ущелье между стенами старинных зданий с крохотными витражами окошек было пустынным и темным. Даже луна и звезды не заглядывали сюда: пристройки верхних этажей смыкались, закрывая небо.

Он с трудом разыскал еле различимую дверцу в глухой и высокой ограде, постучался. Дверца отворилась, брызнув светом. Улеб шагнул через приступку, отстранив какого-то человека, и очутился перед довольно обширным пространством.

Это была анфилада двориков, обособленных дощатыми сооружениями с широкими дымоходами на плоских крышах. Там и сям полыхали костры. Над медными чанами курились едкие испарения. Чумазые полуголые мужчины маячили между веревками, на которых висели мокрые холсты, перемешивали шестами зловонное варево. Женщины с тщательно подвязанными волосами и в длинных кожаных перчатках, сидя на корточках, толкли и перетирали в порошок какие-то корни и травы, молча, остервенело, как стирают слишком грязное белье.

Улеб сразу понял, что оказался там, куда стремился. Правда, он не мог припомнить, чтобы в этой преисподней так же кипела работа, когда несколько лет назад Лис затащил его сюда вместе с Жаром. Впрочем, это неважно.

Твердая Рука шел от котла к котлу, от огнища к огнищу, из сушильни в сушильню, потоптался и возле каменных плит, на которых женщины приготавливали красящий порошок, но нигде не обнаружил человека, хоть отдаленно напоминавшего Анита.

Появление вооруженного юноши в редкой одежде из дубленой крокодиловой кожи с изящными воинскими наплечниками вызвало настоящий переполох, и владелец красильни не замедлил явиться.

— Чем могу услужить? — осклабился он, сверкая серьгой в ухе. Он не узнал Улеба.

— Мне нужен Анит Непобедимый.

— Ага! — обрадовался красильщик. — Наконец-то! Я устал проклинать день, когда согласился принять этого грубияна. С тех пор как ваши люди приказали мне не спускать с него глаз, я совсем измучился. Поскорей уведи его. Но почему ты один? Ах, зачем остальные не вошли с тобой! Нрав у Анита вспыльчивый, он силен как буйвол, будь же с ним осторожен. Или ты... — Красиль-

щик вдруг испуганно всплеснул руками и залепетал: — Умоляю, о великодушный, не руби его тут, уведи подальше. Чернь и так на меня глядит волком. Многие еще помнят его и чтят. Мне же он безразличен, я ипподрома не посещал и никогда не совал нос в высокие дела.

Твердая Рука сказал с нарочитой свирепостью:

— Где этот негодник?

— Во-о-он в той ночлежке. — Длинный палец красильщика был таким кривым, что определить по нему точное направление возможно лишь очень сметливому глазу. — Раньше там содержались дровишки, а теперь содержатся людишки. — Молодой воин не оценил каламбура, и красильщик спохватился, поспешил добавить: — Чтобы не оскверняли по ночам священные паперти храмов, я приспособил для них, убогих, помещение. А беру взамен сущий пустяк. Что дадут, и ладно.

Именно здесь, на задворках красильни, прятались Улеб и Лис, отсюда в первое утро свободы бывший боец палестры выехал на своем верном Жарушке, переодевшись странствующим франком и не подозревая тогда, что судьба еще раз приведет его в это неприглядное место.

Улеб остановился под лучиной, не решаясь войти туда, откуда пахло спертым воздухом и просачивались вялые голоса, сопение спящих вповалку, хруст соломы под беспокойно ворочавшимися во сне бедолагами. Внутри ночлежки было темно.

— Анит! — позвал юноша, поворачивая лицо к свету, чтобы его можно было разглядеть получше, — ты меня слышишь, Анит?

И он ощутил, как всколыхнулась и вновь напряглась черная тишина за гнилыми дощатыми стенами. Там охнул кто-то надрывно, утробно, будто глотнул кипятку.

— Выходи! Тебе велят! — Это вмешался расхрабренный красильщик, который, оказывается, приплелся следом за юношей.

Улеб сказал непрошеному помощнику негромко, но веско:

— Убирайся, не то выкрашу так, что не отмоют в усыпальне.

Красильщика словно ветром сдуло.

Изгнание хозяина придало любопытства обитателям

ночлежки. Один вылез, второй, третий. Поползли на свет. Но тот, кого Улеб звал, не появился.

— Учитель, — звал Улеб, — я знаю, что ты здесь. Выйди.

Молчание. Только хлопали веки изумленных оборванцев, обступивших витязя, точно упавшего с неба.

Улеб отметил про себя, что все они хоть и грязны, однако целехоньки и здоровы, куда упитанней тех несчастных у дымных чанов, в мастерских и сушильнях. Мелькнуло смутное воспоминание о Лисе, который как-то жаловался, что не удалось ему примкнуть к шайке столичных лженищих, обыкновенных лентяев, преуспевших в одурачивании простачков поддельными язвами и увечьями.

— Отзовись, Анит. Я слышу твое дыхание. Тебе, Непобедимому, не место в зловонном гнездовище бездельников и плутов.

И тут наконец раздалось глухое, как сдерживаемое рыдание:

— Поздно, мой мальчик. Если это и вправду ты, а не чудесное видение.

— Анит! Ты не забыл меня! Выходи!

— На что я тебе, раздавленный и бесправный? — печально отвечал невидимый атлет. — Зачем тебе смотреть на мой позор?..

Улеб бросился внутрь ночлежки, руки нащупали жесткую курчавую бороду и лицо сидящего в темноте. Глаза и щеки Анита были мокры. Улеб силком поднял его грузное тело, обнял за вздрагивающие плечи и потащил к двери. Пропуская их, разомкнулось кольцо христарадников. Юноша крикнул им:

— А ну-ка марш обратно в нору! И не высовываться, кому шкура дорога! — И обратился к Аниту с укором: — Что потерял ты среди обманщиков и трусов?

— Я им чужой, — сказал атлет, — а в том, что пропадаю здесь уже не первый год, не моя вина, не моя воля.

— Кому же под силу совершить над тобой подобное?

— Никифору Фоке.

— Тот воевода, боец которого пал от меня в кругу арены? Нынешний цесарь?

— Ты сам назвал причину моего несчастья, — сказал Анит, одобрительно разглядывая в свете догоравшей лучины возмужавшее, взволнованное лицо Твердой Руки,

рубец на его щеке, красивое воинское облачение. — Великий мальчик, падение твоего наставника началось с падения Маленького Барса из Икония.

— Вот как!.. Я все понял. — Улеб задумался, покусывая губы.

— Лучше бы Фока убил меня, чем так унижить. Но ты... как отыскал меня?

— Случайно. Ты жив, и клянусь, я вытащу тебя из этой грязи!

— Да, ты уже не тот, мой мальчик. Где был все эти годы? Почему вернулся?

— Об этом потолкуем после. Скажи лучше, что делал ты вне ипподрома?

— То чудо, — отозвался Анит, который был одет не бедно, весьма опрятно для бездомного и мало походил на голодающего. — Ангел-хранитель снизошел ко мне. Давно нежданно и негаданно явился ангел и продолжает навещать меня и кормит, поит, утешает. Она святая...

— Так это женщина?

— Да. Ангел истинный. — Анит прикрыл глаза и по привычке сунул руки за пояс, заменивший былой набедренник наставника палестры. — Так знай же, что, придя ко мне впервые, она, как думаешь, чье вспомнила имя? Твое!

— Что?!

— Готов поклясться. Мне говорит красильщик: «Анит, к тебе гостя». Я глядь — божественная юница. Говорю ей: «Ты не ошиблась, дочь моя?» — «Нет, — отвечает, — если ты тот, кто отпустил бойца по прозвищу Твердая Рука».

— Уф!.. — Улеб даже испариной покрылся на зябком ночном воздухе. — Нет, нет... сестрица бы помянула мое настоящее имя, даренное отцом. Кому еще думать обо мне... Шутка твоя жестока.

— Ты слушай. Сначала я решил, что она подслана Фокой. Сказал ей: «Никто, дитя цветов, не станет содействовать побегу своего раба». А она: «Ты волен не доверять мне, только мне известно, что ты человек добрый и страдаешь за доброту свою. Я, — говорит, — хочу тебе помочь. В чем главная нужда?» В те дни, мой мальчик, я умирал без крошки во рту, ибо, как и ныне, запрещено мне было трудом добывать пропитание. Такая казнь. Я ей сказал: «Чего хочу душой, в том

ты бессильна. А плотью своей одного желаю — черствой лепешки». — «Хорошо, — говорит, — раздобыть еду мне легче легкого. Жди вечера». И пришла. И принесла еды вдоволь. И после наведывалась. Так до сих пор. Взамен же ничего. И объяснить таинственную добродетель отказывается.

— Так уж и ни слова? — усомнился Улеб.

— Ни полсловечка!

— Ну а я при чем? — заинтригованно допытывался юноша.

— Не знаю, побей меня гром, бывало, допытываюсь: «За что мне такая милость? Сколь долго будешь бескорыстно кормить ненасытного да укрывать его наготу шелками?» Она одно: «Помню о нем».

— Сама назвалась?

— Нет. — Анит обескураженно пощипал бородку. — Надеюсь, откроется все равно. И дождусь конца своему позору. Василевсы не вечны... прости, господи!

— Может, и так, — заметил Улеб, — но я на твоём месте и сейчас не сидел бы жалким.

— Куда мне деться?.. Пытался вырваться, но... не иголка в сене. Непобедимому не затеряться среди прочих.

— Ладно, учитель, довольно тешиться ангельскими небылицами да плакать по былому. Пора нам.

— Куда?

— Бежать отсюда. Я за тобой пришел. С рассветом будем в море. У меня есть корабль.

— Не собираешься ли ты заверить меня, будто владеешь настоящим кораблем?

— Да. А теперь он принадлежит тебе. Дарую. Ты знаешь, я не больно склонен владеть чем-либо, кроме оружия и чести.

— Кто поведет корабль? Я никогда не пробовал.

— Мы вместе. Охотно научу тебя морской науке.

— О как превратны времена! — воскликнул Анит. — Мой ученик будет моим учителем!

— Ты прав, времена меняются. Нет в тебе прежней решительности.

— Напротив! С тобой я согласен на любую дерзость! И нужных людей соберу, клянусь!

Улеб сказал:

— Идем. Красильщик не поднимет шума, он, как я

понял, принял меня за человека из Палатия. Даже сам просил, чтобы я увел тебя подальше.

— Нелишне знать, куда направимся, улизнув отсюда благополучно?

— Мне нужно к печенегам сестру искать. А после домой, на родину.

— Чую, снова будешь подбивать меня на кузнечное дело в твоей стране. Признайся сразу.

— Уговаривать не стану. Сам после плаванья решай, как дальше жить.

— Моя земля здесь, Твердая Рука. А василевсы все-таки не вечны.

— Каждому свое, как пишут на щитах катафракты. Идем же.

— погоди, — сказал Анит не без смущения, — как раз сегодня обещала посетить меня... Скоро явится мой ангел. Я должен объяснить свое бегство, проститься с ней. Да и тебе, пожалуй, надо повидаться, раз поминала твое имя.

— Ну нет, — возразил юноша, — на кой мне таинственная твоя утешительница. Ты знаменит, с тобой пусть и жеманится да распускает девичьи загадки. Мне ж это ни к чему. И без того потеряно полночи, а я еще намерен заглянуть в одно укромное местечко среди дальних скал, прихватить с собою кое-что припрятанное. Если сбереглось за эти годы.

— Тогда иди. За меня не беспокойся. Буду на берегу, где условимся, с верными людьми и... со спокойной совестью перед нею. Где стоит корабль?

— На краю Большого причала близ песчаной полосы, — ответил Улеб после некоторого колебания. — Спросишь корабль Птолемея. Запомни, Птолемея. А сторожит его человек по имени Андрей. Скажешь ему, что послан мной. Его отпусти и жди меня.

— Не задерживайся на скалах, мой мальчик, надо успеть покинуть залив до восхода солнца, как только опустят на дно заградительную цепь. — Бородатый атлет уже сам напоминал мальчика, охваченного азартом, и это порадовало Улеба. Еще недавние казавшиеся безысходными уныние и подавленность могучего телом мужчины буквально на глазах испарились без следа.

Улеб рассмеялся и пообещал:

— Постараюсь. А ты возьми мой меч на всякий случай.

— На всякий случай у Непобедимого есть кулаки, — смеялся и Анит, — проложу ими путь к гавани, будь уверен.

— Хорошо. Поклонись от меня своему загадочному чертенку с лепешками.

— Изыди! Сгинь!

— Все. Исчезаю. До скорого свидания на воде.

Улеб пересек дворы, посреди которых продолжали пылать костры и сутились у медных котлов, задыхаясь от едкого пара, безмолвные полуголые работники.

Красильщик наблюдал за ним, прячась за бочкой. Твердая Рука поманил его пальцем и, когда тот подбежал, точно солдат к полководцу, обратился к нему многозначительно, с таким видом, какой, вероятно, присущ реальному полководцу, доверяющему реальному солдату весьма важное и ответственное поручение:

— Выслушай и хорошенько запомни каждое слово.

— Я весь внимание, достойный посланник власти, — угодливо отозвался красильщик, кланяясь.

— Именем всевидящего василевса и в интересах Священной Империи ты обязан сохранить в глубокой тайне то, что сейчас доверю тебе.

— Боюсь. Недостоин. Всю жизнь сторонился...

Улеб наклонился к его уху и тихонько сказал:

— Я ухожу. Спустя время твою обитель покинет и Анит Непобедимый. Он обречен. Близок час твоего избавления от опасного постояльца. А главное, никто не должен видеть, как Анит уйдет отсюда, дабы не просочились слухи о его гибели.

— К неверным? Осмелюсь спросить, не станут ли они, неверные, мстить мне за соуча...

— Молчи! Я не все сказал. — Улеб с наигранной подозрительностью озирался по сторонам, явно заботясь о том, чтобы их не подслушали. — Священной Крепости угодно, чтобы ты незамедлительно содеял следующее. Первое — вкопал столб прямо на пороге ночлежки. Второе — высек на том столбе вот такую метку, — он начертил на подножной пыли треугольник с точкой посередине, — и, наконец, третье. Сейчас же погаси костры и уложи спать работников, предварительно накормив их досыта, чтобы сон их был крепок и они не смогли ни слышать, ни видеть ничего до утра. Горю тебе, если не исполнишь хоть что-нибудь из того, что велю. Ты понял?

Совершенно обалдевший хозяин красильни в ответ лишь мотал головой так, что плясала, тускло поблескивая, драгоценная серьга в его ухе.

— Понял.. не понимаю... все понял, великий перст Владыки!

— Предупреждаю снова, — грозно молвил Улеб, — все три наказа должны быть исполнены без малейшего обмана. Это очень важно. Иначе пожнешь участь Анита.

— Боже упаси!..

Давясь сдерживаемым смехом, Улеб откинул щеколду, толкнул сапогом скрипучую дверцу и шагнул в мрак проулка, довольный своей проделкой.

В светлом проеме, за которым открывалась улица, озаренная городскими огнями, на миг показались три силуэта. Женщина куталась в черную накидку, на обоих сопровождавших ее мужчинах также были черные плащи.

Завидев Улеба, все трое прильнули к стене, укрываясь в ее тени. Улеб успел заметить, что руки мужчин при этом нырнули под складки плащей, где, по-видимому, было припрятано оружие. На всякий случай положив ладонь на рукоять меча, он проследовал мимо них, словно не видел вовсе.

Потревоженные им полночные незнакомцы, убедившись, что встречаемому воину нет до них никакого дела, поспешили в свою сторону, Улеб в свою.

Он благополучно выбрался из нижних кварталов города и устремился к берегу напрямик, не по широкому изгибу дороги мимо каменной громады сонного Палатия, а по едва различимой тропинке, бежавшей к заливу через реденькую посадку карликовой шелковицы. Он был бодр, поглощенный радужными мыслями о предстоящем плаванье.

И вдруг:

— Стой! Кошелек или жизнь!

Два верзилы с повязками на физиономиях размахивали дубинами и устрашающе пытели.

— Что же вы, полуночные, — сказал Улеб, — этак ведь испугать можно. То-то люди потемну шарахаются друг от друга.

— Кошелек!

— Тяжелая у вас работенка, как погляжу, беспокойная, некогда и глаз сомкнуть. Отдохните, пожалуй. — Ребром ладони Улеб нанес два молниеносных удара по

их запястьям, и дубины покатались под откос. Затем два взмаха кулаком — оба громилы рухнули разом, утихли, улеглись валетом, как мирно спящие на одной лавке братья.

Улеб поочередно приложил ухо к груди каждого и облегченно вздохнул — живы. Прежде чем продолжить прерванный путь, он ласково посоветовал лежащим, как будто они уже очнулись:

— Отдохнув, сменили бы ремесло...

Он торопливо спустился к воде, обойдя стороной береговые постройки и стоянки кораблей, и направился к дальним скалам, вырисовывавшимся под луной.

За его спиной мерцали, удаляясь, портовые огоньки. Пряные запахи бодрствующих таверн вскоре сменились зловонным дуновением, исходившим от лежащих справа оврагов. Сойдя с укатанной тверди, шагал по песку и гальке, придерживаясь кромки воды, бликовавшей, как нефть.

Улеб брел и брел вдоль подножия скал, порой разуваясь, чтобы не промочить обувь, порой перепрыгивая в темноте с камня на камень, пока не достиг наконец крошечной заводи с горбатой плешинкой чистого песка, где несколько лет назад ожидал с Лисом лодку Велко чеканщика, и была тогда девушка, не забытая и поныне...

Вдруг чуть слышные голоса.

Невероятно, чтобы это могли оказаться Велко и Лис, но все же Улеб с колотящимся сердцем бросился наверх, лихорадочно цепляясь за выступы камней и обнаженные корневища растений, не обращая внимания на срывавшиеся из-под его ног и громко шлепавшиеся с высоты в воду обломки скалы и земляные комья.

Возле тлеющих углей под открытым небом сидели какие-то люди. Их было двое.

Шумное возникновение Улеба на площадке у развалин лачуги подбросило их на ноги. Оба замурзанных молодца, неистово крестясь и икая, уставились на него, точно громом пораженные.

— Охотники? Или бежавшие из неволи? — наконец спросил он миролюбиво.

— Разбойники. Лютые. — Оба зажмурились и покорно вытянули к прищельцу руки, решив, наверно, что их сейчас начнут вязать.

Улеб сел на валун, глядя на них, как лекарь на без-

надежно больных, и чумазные мальчишки тоже опустились на землю как по команде.

— Удивительное дело, — сказал Улеб спустя минуту, — куда ни ступи ночью, повсюду бродят парочками под луной не возлюбленные, а грабители. Где же ваши дубины? Сейчас уши надеру.

— Мы раздобыли топоры, — шмыгая носом, поспешно и жалобно отозвался один из них. Второй толкнул его локтем, но тот отмахнулся и добавил: — Внизу лежат, в монокиле. О-о-острые.

— Что-то я не заметил вашей лодки у воды.

— Спрятана в расщелине.

Улеб внимательно изучал испуганные, давно не мытые, совсем еще мальчишеские лица обоих и с иронией поинтересовался:

— И многих вы успели заграбить?

— Нет. Никого. Мы еще только готовимся.

— Сбежали из дому? — допытывался Улеб.

— Нету у нас дома.

Что именно побудило беспризорных мальчишек к откровению перед незнакомым взрослым человеком, загадка для последнего. Оба успокоились, поглядывали на неожиданного собеседника с явным восхищением.

— Хотите со мной в море? — решительно произнес Улеб после раздумья. — Станете моряками и воинами. Верю, не предадите меня. А сейчас помогите-ка извлечь из-под развалин этой лачуги кое-что припрятанное добрыми людьми. Я за этим пришел.

Мальчишки переглянулись и, потупясь, дружно принялись исследовать свои босые и грязные ноги, которые отнюдь не заслуживали столь подчеркнутого внимания.

— Моноксил внизу, в расщелине, — не поднимая глаз, виновато пробормотал один из них, — а мидийский огонь тут.

— Откуда вам известно? — изумился Улеб. — Вы обнаружили тайник? Ладно, лютые разбойнички. Берите-ка сосуд и айда вниз, к лодке. Поживей, други, мы должны поспеть на корабль досветла. Да не забудьте, как спустимся, сейчас же ополоснуться. Немытых не потерплю на борту.

Все спало вокруг, убаюканное вкрадчивой и тягуче-тоскливой песней цикад. Лишь изредка, преодолевая дремоту, далеко-далеко перекликались часовые на башнях крепости, исполинские стены которой нависали над се-

ребристо-черным зеркалом пролива, выставив зубья волноломов. И дрожали звезды в воде, и таяли постепенно.

Незамеченной тенью проскользнул моноксил над толстой железной цепью, замкнувшей бухту. Цепь та непреодолима для больших судов, а крохотной, низкой и узкой однодеревке не помеха.

Подплыв к кораблю с теневой стороны, Улеб перестал грести, осторожно поднялся во весь рост, сложил ладони рупором и тихонько позвал:

— Андрей.

На досках палубы, скрытой за выпуклостью высокого борта от горящих глаз мальчишек, жадно вкушавших приключение, слышались шаги, и спустя мгновение показалась фигура моряка.

— Твердая Рука? Господи, я чуть не проклял тебя, приятель, подумал, что уже не вернешься из города, загулявшись.

— Тсс!.. Погаси факел и помоги нам.

— Ты не один? — шепотом спросил Андрей.

— Нас трое. Бросай веревку.

Больше ни слова не проронил Андрей без спроса. Даже при виде сосуда с мидийским огнем. Только пощупал его, удивленно прищелкнув пальцами, да покачал головой.

— До нас никто не приходил к тебе? — спросил Улеб, когда сосуд был тщательно спрятан.

— Нет.

— Ты никуда не отлучался?

— Нет. Птолемей обещал, что ты не станешь держать меня здесь до глубокой ночи.

— Прости, — сказал Улеб. — И прощай.

Над городом заметно прояснился небесный купол. Напряженный слух уже мог уловить первые звуки просыпавшихся пригородов. Живущие на отшибе крестьяне встают задолго до пробуждения горожан.

Улеб не отрывал глаз от берега. А бывшие «лютые разбойники» между тем лазили по кораблю, как любопытные обезьянки. Они обследовали весь его нехитрый такелаж, обшарили каждый закуток.

Ярким румянцем залилась восточная щека небосвода. С моря призывно дохнуло свежестью. Все вокруг ожило, зашевелилось, зашумело. И пришел наконец Анит Непобедимый. С добрым десятком крепких парней.

— Жаждался! — Улеб радостно обнял его. — Решил,

что прохудилась твоя память. Условились ведь как? То-то. — Взмахом руки он призвал прибывших поскорее подняться на борт и, когда все до единого взбежали на корабль, спросил Анита: — Где раздобыл такое войско?

— Мои ученики, бойцы отменные, — гордо пояснил тот, — последние ученики поруганной палестры. Иных уже нет в столице, а тех, что остались, сам видишь, удалось собрать. Всю ночь бегал, оттого и опоздал к назначенному сроку. Да еще одна причина задержала...

— Ладно, теперь в сборе, пора в путь, — сказал Улеб.

— Не торопись, мой мальчик. — Анит смущенно теребил курчавую бородку. — Ты, вероятно, рассердишься, только не моя вина... Словом, сейчас прибежит... гм, еще кое-кто. Я не смог отказать.

— Если ты пообещал еще кому-то, что возьмешь его с собой, я не возражаю.

Повинуясь приказу Улеба, «лютые разбойники» проворно прыгнули на доски пристани, обрубили нижние узлы канатов, вернулись, ловко перебирая руками, втащили канаты на корабль, аккуратно смотали их и, задышав от старания и упиваясь сознанием собственной пригодности, кинулись помогать, вернее, путаться под ногами у бойцов Анита, которые удерживали на месте уже не привязанное судно, выставив весла и легонько подгребая ими.

Молчаливые парни и без подсказки знали, как и что делать. Сильные, сообразительные. Было ясно, что к любой работе им не привыкать. Улебу приятно было отметить и усердие вчерашних босоногих беспризорников.

— Идут! — вскоре воскликнул Анит и помахал рукой.

С берега ему ответила взмахом маленькой руки какая-то женщина, лица которой не разглядеть, поскольку она куталась в черную накидку, достававшую ей до пят. По бокам от нее шагали двое, то ли слуги, то ли приятели — Улеб не разобрал. Оба несли на спинах тяжелые кожаные мешки, ухитряясь при этом ограждать хрупкую спутницу от толчеи.

— Она, ангел мой... — прошептал Анит и обернулся к Улебу. — С нею два ее брата. Оба, я знаю, готовы

растерзать нас с тобой за то, что увозим ее, как сама пожелала.

— Почему отпускают? — спросил Твердая Рука без особого, однако, интереса. Юноша был слишком озабочен мыслями о предстоящем путешествии, чтобы размениваться на всякую чепуху вроде какой-то, по его мнению, взбалмошной девицы, охмулившей знаменитого атлета своей загадочной заботой.

— Упросила их, умолила, — продолжал Анит. — И ей и братьям с малых лет опостылело житье в родительском доме, хоть и сытом, да насквозь порочном. Она же добра от природы, светла душой.

Девушка между тем распростилась с провожатыми и черной птичкой вспорхнула на корабль по трапу, только хлопнули крылья — полы ее накидки. Простучала сандалиями и скрылась в надстройке кормы, точно в клетке.

Юные братья таинственной беглянки безмолвно и злобно взглянули сначала на Улеба, затем на Анита, швырнули мешки прямо им под ноги и ушли.

Твердая Рука уже отдавал гребцам громкие, веселые команды, сам толкал весло, пока корабль не выбрался из сутолоки залива на простор. К счастью, был попутный ветер. Он наполнил парус, и убрали весла до худшей поры, поплыли в открытое море.

То присвистывал Улеб ветру, чтобы резвее гнал судно, то приветствовал чаек на родном языке, то глядел дальше синей воды в бесконечную дымку востока, породившего светлый день, ибо солнце взошло оттуда, оно поднялось высоко.

Анит встал рядом, положив руку на плечо Улеба, замер.

— Как будет?

— Не ведаю, — взволнованно молвил Улеб, — но жду...

— Бедняжка, все боялась, что ты ее прогонишь, не возьмешь с собой, — вдруг сказал Анит, — вот и сидит, прячется, пока не позовешь.

— На кой мне, сам расхлебывай. Между прочим, я видел их, ее и братьев, когда покидал тебя в полночь. Испугались меня, прижались к стенке.

— Тебя попробуй не испугайся, рубаха скрипит, щитки блестят, меч по сапогам хлопает. Вон красильщик, на что пройдоха и плут, а и сам от такого гостя

сполоумел. Вообрази, костры под чанами погасил, работников накормил и отправил спать, будто в праздник.

— Это я постарался.

— Да ну! А несчастные подмастерья не знают, поди, на кого и молиться за неслыханную хозяйскую щедрость. Век буду помнить, из какой грязи вытащил меня, — благодарно сказал Анит. — Оба вы ангелы, и она и ты. Ниспошли вам господь вечное благо!

Улеб только плечами пожал, а Непобедимый задумался, заложив руки за пояс. Позади их слышался смех. Там, под мачтой, на покачивающихся досках сидели тесным кругом бойцы, подставляли обнаженные торсы горячим лучам, судачили, разбирали оружие, прихваченное в дорогу, подтрунивали над шалостями мальчишек, наслаждались свободой и отдыхом, гадали о плавании: далеко ли, надолго ли? Двое из них, как заправские кормчие, надежно удерживали массивную лопасть кормила, за которым пенился убегающий след.

Анит неожиданно сказал, спутав все мысли Улеба:

— Вот что, Твердая Рука, будь что будет, пора мне признаться. Она за тобой пошла, хоть и не звал ты, я же тут ни при чем.

— Не понимаю.

— А что понимать, ясно слово, как божий день. Я ей обязан жизнью, потому и не осмелился оттолкнуть безутешную. Получается, я вроде сводника.

— В толк не возьму, о чем речь.

— Выслушай, не перебивай. Она мне все рассказала. И о жизни безрадостной среди пьяниц, и про случайную вашу встречу, и о схватке, и бегстве, и о погоне, и про то, как разыскала тебя, как ужаснули ее речи твоего напарника, как молила Христа помиловать за грешное чувство свое к безбожнику, как поняла однажды, что не вырвать из сердца стрелы, и решила, испытывав все душевные муки, что не слаще они угрозы адовой, а без милого избранника много трудней.

— Кифа?!

Улеб бросился на корму, распахнул, едва не сорвав с петель, округлую дверцу надстройки, сдернул с дежушки покрывало.

— Кифа... — повторил чуть слышно и легонько, трепетно провел рукой по черным, как смоль, волосам пригожей ромейки, упавшей ему на грудь.

Лицо ее было мокро от слез.



спокойся, Мария, — приговаривал Калокир и плавно водил руками над головой Улии, не отваживаясь прикоснуться к светлым ее волосам, струившимся из-под алой ленты на плечи, — забудь прошлое, как готов забыть я все огорчения, что познал от тебя.

Повзрослевшая, осунувшаяся за эти годы, но не потерявшая своей необычайной привлекательности девушка медленно поднялась с мраморной скамейки и направилась через зал к огромному окну. Калокир и присутствовавший тут же Акакий Молчун одновременно сорвались со своих мест и, опередив ее, угодливо распахнули ажурные створы-ставни.

Небольшой и уютный дворец, отведенный династу на окраине Адрианополя, куда всего час назад Улия была доставлена из Фессалии, венчал верхушку самого высокого холма и назывался Орлиное гнездо. Желтая песчаная дорожка спиралью опоясывала зеленые склоны холма, сбегая к его подножию и теряясь там среди пышных цветников и садов, за которыми поблескивали крыши и купола города.

Живительный, напоенный чудесным ароматом цветов и щебетанием птиц воздух хлынул в раскрытое окно, из которого открывался дивный вид на белокаменный город, и различимы были с такой высоты серебристые змейки двух рек, сливавшихся воедино в лазурной дали.

— Нравится тебе? — тихо спросил Калокир. — Здесь ты не пленница.

Улия смолчала, смотрела в окно, будто не слышала вкрадчивого, ненавистного голоса:

— Дай срок, Мария, — мечтательно говорил Калокир, — мы вместе ступим в столицу. Нет, нас внесут на щитах в триумфальные ворота Харисия. На Священную башню. Еще более прекрасный город ляжет к твоим стопам. Чего же еще тебе нужно?

— Пить... — вдруг произнесла Улия.

Династ сделал несколько лихорадочных глотательных движений, как будто поперхнулся словами, затем набросился на слугу, также пораженного тем, что молчу-

нья заговорила, затопал сандалиями, замахал кулаками, заорал:

— Скорей! Она хочет пить!

Акакий подпрыгнул, бросился вон со всех ног, с размаху налетел на дверь, отскочил назад, завертелся, завопил:

— Что принести? Какой напиток? Ведь ежели, к примеру, принесу не то...

— Что желают испить твои уста, сладкоголосая? — шепотом спросил Калокир.

— Простой воды.

— Воды! Подать воду! — вновь закричал династ и пинком послал из зала вертящегося, как юла, слугу. — Скорей! Скорей! О боже!..

За дверью раздался грохот. То ли Акакий неся по внутренней лестнице, перелетая через несколько ступеней кряду, то ли катился кубарем. Весь нижний этаж всполошился, даже стражники, надо полагать, оставили посты, забегали, загомонили.

— О боже!.. — повторял Калокир. — Мария! Свет моих очей! Отрада моих ушей!

Мужчина, помышляющий о благополучной и долгой супружеской жизни, должен принять сердце избранницы, а не взять его. Принять и взять — различный смысл несут два этих слова. Сильному взять недолго, только недолговечно взятое силком. Надежна лишь добрая воля. Калокир это знал.

Вбежал Акакий, подал чашу. Она утолила жажду и сказала:

— Хочу быть одна. Устала очень.

— Молчун, препроводи Марию в ее опочивальню! — гаркнул династ слуге и, едва они удалились, взволнованно зашагал из угла в угол.

Не все складывалось у династа так гладко, как ожидалось и как сулил монах Дроктон еще в Константинополе.

Правда, Калокир не мог пожаловаться на прием, оказанный ему в Адрианополе. И перед строем легионеров провели, и дворец ему приготовили видный, и охрану приставили. Однако все эти почести оказаны ему не самим Цимисхием, а его приспешниками. Иоанн Цимисхий незадолго до появления Калокира отбыл на Восток.

Калокир жаждал обещанного воинского жезла. Надеялся, что, вероятно, эдикт о высоком его назначении

огласит сам Иоанн Цимисхий по возвращении в Адрианополь.

Мысли об этом теснились в голове дината, когда он беспокойно вышагивал из угла в угол, оставшись в опустевшем после ухода Улии и Акакия верхнем зале Орлиного гнезда.

Скоро ли вернется Иоанн Цимисхий, никто в Адрианополе не знал, ибо намерения его неведомы простым смертным и подотчетны только господу богу да разве его представителю на земле в лице патриарха Полиевкта.

Динат прекратил хождение взад-вперед, остановился посреди зала, ощутив какую-то подозрительную смуту в груди. Молодой слуга ушел с красавицей и до сих пор не кажет носа. Что такое? От этих лицемерных прислужников, мистиев, телохранителей, гребцов и прочих плебеев всего можно ожидать, только отвернись. Еще свежа в памяти история с Лисом и Велко.

Схватив со стола увесистый пестик, Калокир что есть силы принялся колотить им в бронзовое било, и, наверно, далеко за пределами Орлиного гнезда был слышен этот резкий, требовательный гул. Стражи очумело сбежались на зов с обоих ярусов дворца. Прибежала вся челядь, вплоть до поварят, приведших под руки слепого массажиста. Акакий, как и положено ему, явился первым.

Калокир отослал всех лишних небрежным «Пссс!», сам притворил за ними дверь и грозно обернулся к Акакию:

— Что Мария?

— Должно быть, отошла ко сну с дороги. Я проводил ее, как ты велел, сюда вернулся, но не посмел войти, поскольку ты, мудрейший, сам с собою говорил о чем-то, надо думать, очень важном. Ничтожному не следует вторгаться в мысли высших. Ведь ежели, к примеру, взять мой куриный ум да заглянуть...

— Уймись! — оборвал динат болтливого слугу.

— Молчу, мой светоч. Раз господин велит, я проглочу язык. Ведь ежели вдруг замешкается кто...

— ... или болтать начнет без меры, — подхватил динат, ловя Акакия за шиворот, — я с ним проделываю это! — И Калокир так стукнул слугу лбом о подоконник, что тот сразу остыл и захныкал, ощупывая вскочившую шишку.

Динат же с удивлением разглядывал вмятину на подоконнике. Сказал:

— Достаточно ли почтительным ты был в пути со своей госпожой?

— О да! Я зорко охранял ее. Весь наш отряд плотно ее окружил... заботой.

— Какие новости еще привез из Фессалии? Что Блуд?

— Смирился, отпустил Марию, хоть и скрипел зубами. Я и сейчас ломаю голову: за что Блуд так невзлюбил моего доброго господина? Ведь ежели, к приме...

— Опять?

— Нет, нет, бесподобный! Я хотел сказать, что, если разобраться, ему подобает молиться на тебя. Не в собственном кастроне ест, пьет и спит, а в твоём.

— Ты прав, Молчун, — со вздохом молвил Калокир, милостиво кладя унизанную перстнями руку на плечо слуги. — Однако недолго осталось ему праздновать. Настанет срок, и его повешу за ноги, как того булгарина.

— Булгарин? А-а, Велко из Расы. — Акакий беспрестанно трогал, щупал, измерял шишку на лбу с таким сосредоточенным видом, будто собирался подарить человечеству научный трактат о возникновении лиловых выпуклостей на головах людей под воздействием твердых подоконников и непрерывном росте оных. — Выходит, от тебя скрыли правду.

— Скрыли? Что именно?

— Правду о том булгарине, который похитил Марию, а ты, великодушный, приказал повесить его за это вниз головой на стене фессалийского укрепления.

— Его не повесили?!

— Живой и невредимый, — сказал Акакий.

— Глупец! Я самолично наблюдал, как люди Блуда вздернули его за ноги.

— Я, господин, тогда там не был и ничего не видел. Ведь ежели, к примеру, вспомнить, что я только теперь побывал в Фессалии, как же я мог видеть? Но я слышал об этом своими ушами двадцать дней назад. Булгарин Велко жив.

— Кто смеет утверждать подобное?

— Не помню точно... кажется, какой-то лучник. Случайный разговор. Так, между прочим.

— И что же он сказал, тот лучник?

— Божился, будто было так. Его, булгарина, подвесили, но он не стал кричать и каяться и не взмолился. Все вскоре разошлись. Ведь ежели, к примеру, рассудить, кому охота созерцать молчащего на пытке? Ты тоже на него махнул рукой, оставил воронам и удалился, чтобы запереть беглянку в башне. И задержался там. А стража со стены заметила, как набежали снизу пастухи, на бревнах прошмыгнули через озеро и мигом выкрали булгарина. Их старшина, овечий мистий, перерезал веревку. Охранники опомниться не успели, они уже обратно по воде. Тогда, боясь твоего гнева, стражники подвесили на место Велко чучело из мешка с травой. Ты глянул издали и не обнаружил подлога. Ведь ежели, к примеру, вспомнить, был вечер. А утром тебе сказали, что к трупу привязали камень и утопили. Булгарин больше не занимал тебя, ты думал о Марии. Вот что я слышал.

Калокир стоял некоторое время с открытым ртом. Акакий переминался с ноги на ногу, прикидывая, то ли дать стрекача, то ли остаться и посмотреть, хватит ли хозяина удар. Но динат пришел в себя, проронил:

— Да, припоминаю, так было...

— Конечно, господин, они там все преступные бездельники и дармоеды, не то что я!

— Заклевали б их вороны! — вскричал Калокир. — Теперь все прояснилось. А я ведь смирился с исчезновением пастухов. Лишь бы овцы не пропали. Мистий не раб и не парик*. Как всякий наемный, он волен уйти, если хочет. Я даже возрадовался тогда, ведь ежели, к приме... Тьфу! — Калокир схватил железный пестик со стола, где стояло сигнальное било, и швырнул его в Акакия. — В зубах навязло! Еще раз услышу твое «ведь ежели», задушу!

Проворный слуга увернулся и завопил:

— Не буду! Никогда! Помилуй!

— Смотри, Молчун, — предупредил Калокир и устало опустился на мраморную скамейку, привалившись к подлокотнику в виде львенка с замысловато скрюченным хвостом. — О чем я говорил?

— Осмелюсь напомнить, ты, драгоценный, обрадовался, когда узнал, что пастухи исчезли.

* Парики — бесправные крестьяне, часто из бывших мелких землевладельцев, у которых динаты отбирали надель и принуждали работать на себя, закрепощая их.

— Да. Они тем самым добровольно отреклись от воздаяния за труд на пастбище.

— Вору! Бежали с твоим рабом! — фальшиво возмущался Акакий.

— Блуд знал об этом и поленился их догнать?

— Еще бы! Пальцем не пошевелил, нахлебник, не удосужился седлать коней в погоню. Он тебя не любит, обожаемый. Все они предатели. Один я неподкупный, хоть и не видал награды.

— Чего бы ты хотел за верную службу? — язвительно спросил динат.

— О, если б отослал меня обратно в Константинополь, я хорошенько присматривал бы за хозяйским добром.

— Умолкни! — оборвал его Калокир. — Ты пригодишься мне и в армии. А мавританка подождет. Да и ты, Молчун, не великомученик. Ступай к опочивальне госпожи и не смей отлучаться. Поплатишься головой, если что-нибудь случится с Марией.

Акакий попятился. Но Калокир задержал его:

— Она знает о побеге булгарина?

— Да, ей известно. Мне лучник сообщил, будто люди слышали, как Велко крикнул напоследок: «Голубка, я вернусь и все равно спасу тебя!» Велко, говорят, настырный малый. А она, твоя Мария, как я догадался, в седле молилась за него. Я ехал рядом и слышал. Еще упоминала чье-то имя.

— Милчо из Карвуны! — предположил динат, похолодев. — Так всегда называет себя перед варварами Блуд. Неужели и он... Блуд красив...

— Нет, господин, Мария ненавидит Блуда, им подружиться невозможно. Да и не Милчо вовсе поминала она, а... дай бог памяти... какого-то Булея. Или Пулеха. Нет, нет, Улебия как будто. Языческого идола, возможно. Тьфу.

— Голубкой, значит, обзывал... — Динат вскочил, зачем-то вдруг плотно затворил окно. — Грозился, висельник, снова вернуться в кастрон за нею?

— Да, он такой. Ведь ежели, к примеру...

— Пшел во-о-он!!

Тяжелый пестик полетел в уже захлопнувшуюся дверь.

Не меньше получаса шагал Калокир из угла в угол, оглашая проклятиями гулкие своды верхнего зала, пи-

нал валявшиеся подушки, вазы и кувшины, скамью и даже массивный постамент Атланта, держащего круглый аквариум с пестрыми рыбками.

Внезапно внимание дината привлекли приветственные возгласы внешней охраны. На цыпочках, будто его могли заметить или услышать снаружи, подкрался он к окну и разглядел сквозь решетку, как часовые, ловя поводья, помогают спешиться группе всадников.

По расцветенным султанчикам на шлемах и по чешуйчатым стальным наплечникам, напоминавшим раковые шейки, он узнал своих местных опекунов: почтенного хилиарха Гекателия и таксиарха* с незапоминающимся именем. Прочие четверо были сопровождающими лакеями или оруженосцами налегке, они остались при лошадях, в то время как хилиарх с таксиархом, обнажив головы, ступили во дворец.

Так же крадучись Калокир устремился к коври на стене, сдернул первый попавшийся меч, выхватил из настольной шкатулки несколько свечек и, подбрасывая одну за другой, принялся рубить их на лету.

Мелодично звякнул висячий колокольчик, в дверную щель просунулась голова Акакия.

— К тебе из войска, господин.

— Проси.

Военачальники уже переступили порог, но Калокир все еще самозабвенно расправлялся со свечками, демонстрировал незаурядную ловкость и, лишь покончив с последней свечой, как бы невзначай обнаружил присутствие посторонних, быстро сунул меч в петельку на ковре, скромно поздоровался с вошедшими и смущенно опустил глаза, как великовозрастная девица, которую застали за игрушками младшей сестренки.

— Великолпно! — воскликнул хилиарх Гекателий, окидывая взглядом усеянный восковыми обрубками пол.

— Поразительно! — подхватил таксиарх с труднопроизносимым и потому незапоминающимся именем. — Армия обрела в твоём лице истинного виртуоза.

Уж так застеснялся, так застеснялся Калокир:

— Ах, славные, не стоит восхищаться. То для меня просто развлечение. Я... Вы... врасплох... Сожалею, любезные мои друзья, что слишком увлекся столь легким упражнением и не слышал, как вы вошли.

* Хилиарх, таксиарх — воинские чины, командиры армейских отрядов.

— Нет, нет, — еще разок воскликнул Гекателий, на которого, надо отметить, действительно произвело впечатление недюжинное мастерство того, кто внешне менее всего походил на искушенного воителя, — ты был великолепен! Какой размах! Какой удар!

А таксиарх уж молчал, он посчитал, что с Калокира достаточно.

Динат гостеприимно пригласил их сесть. Все трое чинно расселись, не спеша, обстоятельно, как парламентарии перед ответственными переговорами.

Гекателий был дородный, крупный мужчина. Как многие обремененные излишним весом собственного тела, он плохо переносил жару, вызывавшую в нем одышку и потливость.

Таксиарх являл собой противоположность хилиарху. Он был поджар, как гончая, скуласт, моложав, с холеными ногтями тонких нервных рук, с глазами мутными и мудрыми, как у змеи. Предпочитал молчать.

— Здесь царил переполох, когда мы подъезжали, — произнес Гекателий, — уж не случилось ли чего дурного?

— Ты не ошибся, — сказал динат, — мне сообщили, что бежал от наказания один бунтовщик, болгарин.

— Всего один? Это ли потеря! Вот у меня большая часть невольников — болгары, и все они удрали.

— Всех нужно изловить!

— Они повсюду убегают. Слетаются со всех сторон к своему войску и к русинам. Им же хуже. Когда пойдем топтать их разом, живыми или мертвыми отыщем там всех беглых псов. Я — своих, ты — своего. Не миновать им кары. — Гекателий потянулся к аквариуму, бесцеремонно зачерпнул воды, побрызгал на лицо. — Я не в себе от удушья после скачки. Высоко поселил тебя Цимисхий.

— Мы посланы к тебе епископом нашим, — подавал голос таксиарх.

— Он здесь, в Адрианополе? — оживился динат. — Уже вернулся в епархию?

— Сегодня прибыл из столицы. Мы встретили его раньше граждан.

— Немедленно к нему! В его устах должна быть весть о моем высоком назначении! — Калокир направился к столику с бронзовым биллом, чтобы призвать Акакия и приказать тому седлать коней и принести па-

радный наряд, достойный визита к церковному главе провинции, и был уже на полпути к висячему сигнальному диску, как вдруг остановился, оглянулся на гостей, которые по-прежнему сидели на скамейках в сибаритских позах. — Вы отказываетесь препроводить меня?

— Епископ никого не принимает. Он шлет тебе благословение. И, верно, весть о том, что василевс поставил леги на эдикте о назначении динаата из Фессалии...

— Меня командующим схолы? — вырвалось у Калокира.

— ...лишь советником при Иоанне Цимисхии в смертной армии Европы, — торжественно закончил хилиарх.

Динаат поник. Военачальники с удовольствием наблюдали за миной разочарования, отразившейся на вытянувшемся лице Калокира. Он прошептал:

— Мне обещал Дроктон... Я буду ждать Цимисхия.

Гекателий вновь освежился водой из аквариума, после чего доверительно заговорил:

— Дроктон, Дроктон... Мои уши впитали столько мифов об этом иноке у трона, но сам я не встречал его воочию. Дроктон простой монах. Епископ — носитель епитрахили *, сан почти небесный. Но даже он не изрекает воинских указов, его уста — источник лишь вестей для гарнизона. И тот из нас блажен, кто внемлет им.

— Ну что ж, советник — это правая рука доместика Цимисхия, — сказал динаат, с внезапной строгостью и назидательностью уставясь на гостей.

Таксиарх вскочил, точно в нем резко распрямилась скрытая пружина. Поднялся со скамьи и Гекателий.

— Хвала тебе, любезный друг и новый наш соратник! — воскликнул Гекателий, про себя отдав дань изворотливости ума динаата.

— Прошел слишком малый срок, как я ступил в этот город. Слишком ничтожный срок для нашей дружбы, — холодно сказал Калокир.

В верхнем зале Орлиного гнезда на некоторое время наступила гнетущая тишина. Потом ее нарушил Калокир. Он зашагал, не обращая внимания на тех двоих, что несколько растерянно ворочали головами, следя за его проходками из угла в угол.

* Епитрахилья (или епитрахиль) — особая часть обрядового облачения священника, представлявшая собой длинную ленту, надеваемую на шею.

Динат хоть и чувствовал себя обманутым, но все же смекнул, что существенные выгоды можно извлечь даже из такого мало определенного звания в тагме*, как советник при доместике. Нужна лишь твердость. Поразмыслив, он успокоился, прекратил измерять шагами гулкий зал и снисходительно улыбнулся воинам.

Еще недавно склонный держать язык за зубами таксиарх внезапно заговорил:

— Тяжки наши заботы. Сражаемся с ними, умираем, пленим, но они убегают, будто вода сквозь пальцы.

— О ком ты? — удивленно спросил Калокир. — Ты вспомнил похитителя моей Марии?

— Какой Марии? Я о булгарах, о сирийцах, руссах, уграх, алеманах — не перечать. Проклятые! Ни страха перед Иисусом, ни поклоненья нам, ни чинопочитания. Когда же наконец господь их вразумит, не ведающих догмы так, как мы!

— Господь надоумил нас, как покарать язычников и всех вероотступников! Скоро, скоро двинем священную армаду на руссов и болгар, на всех, кто с ними заодно. Близо, неотвратно укрощение непокорных! — вещал Калокир. — И с верой в это я удаляюсь. Акакий! Поди сюда, Молчун!

Динат что есть силы ударил в бронзовое било.

Глава XXI



вердая Рука, Анит и Кифа взобрались на утес и оттуда оглядели всю бескрайнюю ширь пространства.

— Что ты высматриваешь? — интересовался Непобедимый.

— Зачем мы высадились в этой пустыне? — спрашивала Кифа.

Улеб не отвечал, озибался окрест взволнованно, недоуменно.

Впереди, сколько хватал глаз, простиралась степь. На ковыльном ковре ближних бугорков зияли темны-

* Тагма являла собою четыре кавалерийских полка (схола, эскувита, арифма, иканата), один пехотный полк (нумера) и отряд императорских телохранителей (этерия).

ми вкраплениями пятна золы и торчали вбитые в грунт рогатины и колья над потухшими остатками былых очагов. Повсюду виднелись следы покинутого стойбища.

Сзади, у подножия утеса, шуршал прибой. Бойцы Анита не бросали весел, хотя корабль незыблемо стоял у самого берега, удерживаясь днищем на песчаной полоске, которую море облизывало волнами. На палубе «лютые разбойники» с криками размахивали руками, им не терпелось поскорее получить от взрослых позволение сойти на сушу и поохотиться.

— Эге-ге-ей! — кричали с корабля мальчишки. — Уже можно на-а-ам?

— Тут не найдете даже мыши! Ничего живого! — ответил им Анит сверху. И обратился к Улебу: — Не огорчайся. На то они кочевники. Поплывем дальше, настигнем где-нибудь.

— Боюсь я за тебя, — Кифа нежно тронула руку юноши.

Улеб промолвил:

— Вон там, где сложен хворост, стоял бунчук кагана и его шатер. По этой стежке вели от моря наших. Улия шла первой...

— Я продрогла на ветру, — Кифа зябко поежилась. Смуглянка давно рассталась с мрачной накидкой, какая была на ней в день отплытия из Константинополя. Сейчас она красовалась в светло-розовом, связанном из тончайших копринных нитей платье, слишком легком для прогулок в море.

Улеб набросил на ее плечи свою грубошерстную луду.

— Наши люди устали, — сказал Анит, — они заслужили отдых.

— Здесь мертвый берег, разве ты не видишь?

— Мы оживим его.

— Но ненадолго, — сказал Твердая Рука.

— Тебя беспокоило исчезновение печенегов? Отыщем.

— Если они углубились в степь, нам не догнать без коней. Если же передвигаются вдоль кромки моря, мы их должны настигнуть. Жаль, что не застали Курю. Отсюда было бы легче прознать дорогу на Днестр. Я мечтал податься с сестрицей прямо к своим, во владения уличей. Теперь все усложнилось.

— Не унывай, мой мальчик, распутаем клубок.

— Только не хватайся сразу за меч, — с мягким укором сказала Кифа Улебу, — мы их перехитрим. После стольких лет Куря тебя не узнает и ничего не заподозрит. Отныне ты пресвеет Палатия, а мы посольская свита. — И она не удержалась от озорного смеха.

Улеб ласково погладил ее по голове, благодарно сжал могучее плечо атлета и сказал им обоим:

— Спасибо, друзья! Не успели узнать мою печальную историю, как тут же придумали ее благополучное продолжение.

Воины-моряки и два шустрых «лютых разбойника» с удовольствием восприняли весть о предстоящем ночлеге на тверди. Они быстро соорудили из найденных на берегу жердей и старой корабельной парусины вполне надежный заслон от ветра, клинками накосили травы на постель, собрали хворост и развели огонь.

Родник, мигом обнаруженный мальчишками на дне овражка, дал жаждущим воду. Кустарник, таивший дичь, дал свежую пищу.

До ночи было еще далеко, когда маленький лагерь погрузился в сон. Не спалось лишь Улебу. Он охранял покой тех, кто разделил с ним все трудности путешествия, глядел на их лица и с замиранием сердца думал о человеческой отзывчивости, о доброте и самопожертвовании, о подлинном товариществе, что сближает разных людей в любом краю земли.

Чтобы побороть искушение сна, Улеб снова взобрался на утес. Настойчиво притягивала его взор распростершаяся у ног равнина.

И вдруг поодаль, в сиротливых соснах, как и тогда, когда он пленником томился здесь, прижавшись к щели каменного склепа, закуковала кукушка. И, как много лет назад, прошептал он:

— Жива-зегзица, сколько мне жить?

Бесконечно ее кукование.

С рассветом нового дня тревог и надежд отчалил корабль. Он плыл вдоль пустынного побережья. Наполненный ветром парус увлекал его к днепровскому устью. Тщетно вглядывались Улеб и его попутчики в изменчивые очертания суши, там ни души, ни дыма.

— Благо нам опять помогает ветер, — лукаво промолвила Кифа, — моему рыцарю не нужно толкать весло, и я могу разговаривать с ним.

Она пришла к Улебу на нос корабля, где всегда

можно было его увидеть в те часы, когда парус позволял гребцам оторваться от весел. Юноша улыбнулся. Ее присутствие неизменно вызывало в нем нежность.

Природа умница. Даже несмышленных животных она наделила инстинктом заботы о более слабых в их породе. Даже безъязыкие твари, имущие силу самцов, рьяно оберегают все стадо.

В разумном же роду людей самый сильный — мужчина. Счастливый удел всех мужей — защита рода и труд во имя его процветания, ибо отчизна важнее всего.

Но и для мужчины жизнь не полна, если нет в нем сознания ответственности за слабое существо, за женщину. Для возмужавшего Улеба такой желанной подопечной неожиданно-негаданно явилась ромейская девушка Кифа.

— Кифа, — сказал юноша, — в студеных морях мне часто чудилась твоя печальная песня.

— Что ты! — восторгалась она. — Я знаю только веселые!

— Вспомни, ладо, ты ее пела мне когда-то. В подвале своей харчевни на улице Брадобреев. Про птицу в клетке.

— Ах, не забыл, мой рыцарь!.. То песня франков, чужая.

— Разве хорошие песни бывают чужими! Спой ее снова. Теперь я понимаю слова франков. Блуждая с Птолемеем, научился речам всяких немцев.

Кифа молвила:

— Петь не стану. А скажи мне, познавший наречия многих народов, как, однако, собираешься изъясниться с Курей?

— Мечом.

— Тут усмешкою не отделаться. Войдешь к их кагану без пропускного знака да еще и без толмача, заподозрят обман. Я боюсь за тебя, опасаясь, что задуманная нами хитрость обернется плачевно.

— Когда был у них в неволе, — сказал Улеб, — услышал и запомнил два печенежских слова. Да, пожалуй, их к делу не приспособить. Только навредить могут. Степняки гонялись за моим жеребцом, за Жарушкой, искали его в тумане и кричали по-своему: «Где конь? Где конь?» Я запомнил эти два слова.

— А сейчас где тот конь?

— Я его уступил чеканщику из Расы, побратиму.

— Печенегии!! — раздался внезапный крик. — Печенегии бегут! Вон они, за камнями! Много! — Оба «лютых разбойника» возбужденно указывали на то место крутого берега, где выпирали из высокого бурьяна три огромных гранитных зуба.

Люди на суше вели себя странно. Действия их были разрозненны, сумбурны. Они явно не знали, встречать ли заморский корабль или бежать от него подальше. Одни прятались за выступами камней, встревоженно выглядывали оттуда, метались от укрытия к укрытию, другие, напротив, карабкались на гранитные глыбы и, выставя себя напоказ, смотрели в море, прикрывая ладонями глаза от солнца.

— Да, — сказал Улеб, — это они.

Все, кто был на борту, сгрудились вокруг юноши, ожидая его распоряжений. А он бросился к мачте. Анит и несколько бойцов помогли ему убрать парус в считанные секунды.

Печенегии, кто посмелее, приблизились к самой воде. Те, что прятались, тоже покинули свои укрытия и потянулись к предполагаемому месту высадки чужестранцев.

— Не понимаю, — удивленно молвил Улеб, — почти безоружны. Это на них непохоже.

— Не ломай голову, — сказал Анит. — Не грозятся железом оттого, что Округ Харовая в согласие с империей.

Юноша на всякий случай велел Кифе и мальчишкам запереться в надстройке. Девушка послушно скрылась на корме. Мальчишек, разумеется, пришлось загнать туда бесцеремонными пинками.

Корабль мягко ткнулся носом в берег. Единственный сохранившийся после давешних схваток с норманнами его кол-таран вошел в глинистую почву обрыва.

Анит Непобедимый перебросил конец длинной доски на твердь, не спеша окинул взглядом тесно сомкнувшихся печенегов, оглянулся на безукоризненный строй горстки своих храбрецов.

— Что дальше? Так и будем стоять да глазеть друг на друга? Ну и встреча! Хоть бы повод какой-нибудь дали, а то ни биться, ни говорить с этим племенем.

— Что с ними случилось?.. — недоуменно произнес Улеб. — Это не войско.

— У них и узнай.

— Каким образом? — Улеб в сердцах сдернул шлем

и перчатки, швырнул под ноги. — Как же выпытать у них про Улию?

— Христос свидетель, они не меньше нашего ждут разъяснений.

— Воины предпочитают пустые речи меж собой, — послышался сзади насмешливый голосок Кифы. Девичье любопытство побороло осторожность. — Обычные люди, ни капельки не страшные. Молва о них несправедлива. Хоть и нет на них кольчужной ткани, хоть и не дал им господь благодати, язык и облик православных, зато не свирепы и забавны очень.

— Да уж попали на забаву, — проворчал Улеб.

Между тем печенег все прибывали и прибывали. Осмелели помаленьку, загомонили меж собой. Какой-то коренастый и скуластый человечек закатил штанины и почему-то полез не на сходни, а в море со связкой невзрачных беличьих шкурок. Он стоял по колено в воде, вытянув руки, держал рыжеватую связку пушнины на весу, потряхивал ею, прищелкивал языком и призывно лопотал что-то, как заправский меняла.

И все-таки подавляющее большинство держалось отчужденно. В глазах немой вопрос: «Кто вы, приплывшие издалека, и почему, одетые, как боги, завидев нас на берегу, прервали свой путь к большим торговым городам? Не за жалкой низанкой полусгнивших белок завернули сюда, так за чем же?»

— Нет, это не войско, — снова сказал Улеб.

— Отстегнем мечи, выйдем к ним вдвоем и попытаемся договориться, — предложил Непобедимый. — Потребуем, чтобы вызвали своего кагана. Раз ты решил спасти сестру, не теряй времени. Кифа, мой ангел, правильно заметила: мы отвлеклись от дела пустыми пересудами.

Улеб с Анитом шагнули в круг печенегов. Те встретили безоружных куда приветливей, нежели раньше, загомонили пуще прежнего. Иные подняли растопыренные ладони в знак доверия. Иные, улыбаясь, закивали головами. Были и такие, что невозмутимо, а может, и презрительно глядели на пришельцев.

Улеб указал на себя и отчетливо произнес пол-эллиински:

— Я. Посол Страны Румов.

Затем ткнул пальцем в толпу печенегов.

— Вы. Позовите Курю.

И тут произошло нечто совершенно неожиданное для него. Из всего сказанного им печенеги разобрали только «Румов» и «Курю». Но этого оказалось достаточно, чтобы повергнуть их в неописуемую ярость вместо предполагаемой радости.

— Куря? — с ненавистью вопрошали одни.

— Ит Куря! — иступленно ругались другие. — Шакал!

— Гачи, рум, гачи!! — вздымая трясущиеся от негодования кулаки, наступали третьи.

Казалось, вот-вот с полсотни разъяренных людей вцепятся в абсолютно сбитых с толку Улеба и Анита. Резкий, острый, как боль, отчаянный крик Кифы встряхнул Улеба. Он увидел, как мощным движением рук Анит отбросил передний ряд нападавших, как всколыхнулись копыя и сверкнули топоры спешивших на выручку бойцов. И он воскликнул, покрывая своим голосом шум назревающей бойни:

— Торна, греки! Назад! Уберите оружие! Свершилось чудо! Или эти несчастные не те, за кого мы их приняли! Они проклинают Черного!

Бойцы щитами оттеснили печенегов, которых, в свою очередь, озадачило поведение светловолосого витязя, запретившего своим воинам колоть и рубить их. Хоть и бурлила толпа по-прежнему, но ее уже что-то сдерживало от намерения немедленно растерзать чужеземцев.

— Куря — тьфу! Куря — шакал! — Улеб изобразил отвращение. — Я не посол Страны Румов!

Мало-помалу печенеги успокаивались, уставясь на него широко раскрытыми глазами. А он уже улыбался и говорил по-русски:

— Я росич. Понимаете? Я русский человек. Кто из вас понимает меня?

Он попросил Анита увести бойцов, чтобы они не смущали своим присутствием уже вовсе притихшую толпу. И когда те отошли, повторил снова:

— Я росич. Из улличей.

— Руся? — слышалось наконец в ответ.

— Да, да, я руся! Черти этакие, руся я, руся!

Будто ветер прошелестел листвой, так пронесся среди них приглушенный шепот. Недоверчиво косясь на Улеба, переглядываясь, они все чаще и явственней проносили в сумбурном своем споре слово «Маман-хан».

Вот какой-то печенег, сбросив кафтан, чтобы не стес-

нял движений, что есть духу припустил через бурьян мимо каменных зубьев прочь от моря.

Улеб сообразил, в чем дело, согласно закивал:

— Давайте, люди, давайте сюда своего Мамана.

— Что такое? — спросил Анит.

— Если не ошибаюсь, послали за толмачом.

— Дай бог, чтобы не за конницей.

Улеб с нетерпением и волнением дожидался местного толмача. Он надеялся с его помощью разобраться во всем, что поразило его сегодня. А главное, хоть что-нибудь разузнать о судьбе Улии. Он и сейчас думал о сестрице, как думал в годы разлуки с отчим домом, с щемящим чувством неискупленной вины.

Мелкими шажками, осторожно ступая в колючем сухотравье, к нему приблизилась Кифа. В темных, как спелые вишни, ее глазах еще не унялась тревога за жизнь любимого; смуглое, тонко очерченное, подернутое бледностью личико не успело согреться после пережитого ледящего страха. Она, словно слепая, на ощупь ухватилась за руку Улеба, прижалась к нему, неотрывно и настороженно наблюдая за печенегам. А те, в свой черед, уставились на нее, как гурьба бедняков на изумруд.

Дыхание моря играло легким, точно розовая паутина, платьем девушки. Она, стройная и хрупкая, была прелестна и трогательна, ибо стояла, сама того не подозревая, в позе матери, заслоняющей собою дитя. Улеб умиленно сказал:

— Испугалась, Кифушка?

— Я им покажу, — отозвалась, — пусть только попробуют тронуть. Я тебя защищу. — И она показала кинжал, припрятанный в широком рукаве. Сердито, предостерегающе глядела на безмолвно любовавшуюся ею толпу.

Улеб рассмеялся. Печенегі тоже загоготали, оценили, значит, поступок маленькой защитницы светловолосого силача. А Твердая Рука подхватил ее как былинку, понес на корабль, приговаривая:

— Уморила, глупышка! Тебя не разберешь: то поешь наперекор буре да мужей вдохновляешь, то помираешь со страху, когда незачем. Вспомнил, как забоялась речей Лиса и удирала по оврагам. Нынче вот с ножом на сотню степняков. Сил нет, до чего потешная!

Тем временем вдали показался какой-то великан, он бежал со всех ног. Следом за ним торопился еще один,

он, второй, казался просто букашкой по сравнению с первым. Печенег на берегу, обратясь к бегущим, замахали руками, закричали:

— Маман! Маман!

— Вот это уже настоящий Барс, — оценивающе прищурясь, сказал Анит Непобедимый. — Такой украсил бы любую палестру. Будь осторожен, мой мальчик, начинай разговор с двух-трех шагов, не ближе. Сдается мне, не толмач был у них на уме, когда отрядили гонца, а это чудовище, коим, наверно, задумали нас пугать.

— Да, собеседник достойный, — согласился Улеб.

— Видишь, он на ходу загребаёт воздух левой ладонью, — продолжал Непобедимый. Атлет стоял, широко расставив ноги, заложив руки за пояс и задрав курчавую бороду, то есть с таким видом, какой принимал когда-то в школе ипподрома, поучая своих бойцов. — Левой загребаёт, стало быть, скорее всего левша. Ныряй низко, ногу в сторону, не назад. Пошлет левый кулак, кивай вправо, огибай вытянутую его руку, завлекай по кругу, он тяжелее тебя. Сам бей снизу и коротко.

— Погоди-ка...

— Ты чего? Дрогнул? Тогда я потягаюсь.

— Мой страж! Это он! — вскричал Улеб. — Маман стерег пещеру, в которую меня заточили степняки. Клянусь, он обнимет Нию или я вытрясу из него весть о сестрице!

С этими словами Улеб бросился навстречу великану. Анит и моргнуть не успел, как оба они уже стояли друг против друга в стороне от всех. Издали было видно, как Улеб возбужденно схватил Мамана за меховую рубаху и, казалось, оглушил того потоком слов, расслышать которые, однако, наблюдавшим с берега не удалось.

— Ой, начнут драться, — шептала Кифа, очутившись рядом с Анитом, — боюсь за него.

— За кого, за прибежавшее чудовище? Не пугайся, мой ангел, Твердая Рука его не сразу прикончит. Такую глыбу одним ударом не свалить даже лучшему ученику Непобедимого.

— Смотри, смотри, они разжали руки, отпрянули оба. О чем говорят? Боже, о чем они говорят? Не дерутся.

— Ага! — азартно воскликнул Анит. — Наконец противник двинулся! Ума у него, погляжу, меньше, чем у мухи, хоть и вымахал как слон. Безумец, как он идет на Твердую Руку! Разве так идут в поединок на бойцов

Непобедимого! Руки разверз, весь раскрылся. Ну, ангелочек, сейчас твой рыцарь так ахнет кулачком это чудовище, оно мигом обнимет эту... как ее, прости господи... Нию!

— Кто она? — ревниво спросила Кифа, и было ясно, что этот вопрос давно вертелся у нее на языке. — Почему Твердая Рука вспомнил о другой?

— О женщины! — усмехнулся Анит и пояснил: — Тебе Ния не соперница. Так язычники славянского племени называют смерть. — Он вдруг осекся, удивленно проронил: — Что это значит?..

Удивляться было чему. И не только Аниту с Кифой, а и каждому на берегу. Печенег обнял росича. И хотя Улеб не ответил на явно дружелюбный жест великана, но и сам не проявил больше враждебности. Вскоре Улеб вернулся на корабль мрачнее тучи. Маман же подбежал к соплеменникам и что-то стал им втолковывать.

— Хвала и честь нашему пресвету, — не без иронии сказал Анит, разочарованный тем, что бой не состоялся и ученик его на сей раз не блеснул умением. — Что же, мой мальчик, не пришлось трясти чудовище, само выложило вест о твоей сестре?

— Маман ничего не сообщил о судьбе Улии. Он ее не помнит. Ни ее, ни прочих пленников из Радогоща. Да и меня-то самого не сразу признал.

— Экий непомнящий, — усомнился атлет, — не смог сообщить или не захотел?

— Маману таить нечего, — убежденно отрезал Улеб.

Кто-то из бойцов молча подал ему его меч, шлем и перчатки. Улеб пристегнул ножны к поясу, шлем и перчатки бросил в лодку, которая так и лежала на палубе под высоким бортом с того момента, как была погружена на судно памятной ночью в Константинополе.

— Что ты надумал? — спросил Анит.

— Корабль принадлежит тебе, учитель, но моноксил мой. Надеюсь, и мальчишки-разбойники не будут возражать. Я должен покинуть вас.

Все ахнули. Непобедимый шагнул к Улебу вплотную и молвил, сдвинув брови:

— Какую смуту заронило в тебе это чудовище? Если не объяснишь толком, мы утопим все стадо вместе с их Маманом!

— Не смей их оскорблять! — взорвался Улеб. А поостыв, сказал: — Хорошо, я объясню. — Он обвел взгля-

дом лица ромеев. — Да будет вам известно, други, случилось страшное. Степной каган двинул полчища на Киев.

Расслышав «каган» и «Киев», произнесенные на корабле, печенег хлынули к самому краю берега, подступились к судну. Окрестность огласилась возмущенными и призывными их криками:

— Ит, Куря! Ит!

— Куря шакал!

— Халас Кыюв!

— Э, руся! Комэкклэши!

— Сэнин Кыюв!

Анит и его парни озирались. Мальчики спрятались за спину Кифы, а она зажмурилась и зажала уши ладошками. Улеб поднял руку и воскликнул, стараясь заглушить печенегов:

— Тихо, люди! Чего вы хотите?

Маман тоже воздел руку, требуя от земляков молчания, и, когда те немного успокоились, объявил по-русски:

— Ятуки ругают Курю. Он, собака, погнал огузов на Кыюв. Там нет Святослава. Ятуки ругают сабли огузов. Ятук и руся — братья. Надо Кыюв спасать.

Улеб благодарно кивнул, попросил:

— Пусть братья не шумят, я буду говорить с добрыми румами.

Они уgomонились, и юноша вновь обратился к товарищам:

— Два племени в Степи — огузы и ятуки. Маман, рожденный в стане воинственных кочевников, повздорил с воеводой Мерзей, племянником кагана, ушел к ятукам и, как они, мирно трудился за плугом по соседству с русскими погостами. Огузы били их, заграбили коней, имущество и женок. Ятуки не ратники, да и они не дрогнули, а вместе с нашими оборонялись против Кури. А с Черным каганом силища несметная, что туча пружисаранчи. Секли всех подряд, как траву. Маман сплотил тех, кто спасся, поставил временное селище. Он мне сказал, что хочет обучить мужей и с ними поспешить следом за Курей. Отомстить. Он слышал, будто наш княжич с дружиной нынче в Булгарии, вот, мол, отчего осмелели огузы и полезли вверх по Славуте.

— Чему он хочет обучить их, твой Маман? — спросил Анит.

— Ятуки научили его обращаться с мотыгой и воз-

делывать хлеб, теперь же, в лихую годину, он научит их искусству боя.

— Много он понимает в этом, — неожиданно буркнул Анит. — Где им железо добыть? Где клинки изготовить? Разве только дубины и смогут выстрогать. Гиблое дело.

— В умелых руках деревянная палица не уступит кузни, — возразил юноша.

— Именно, — ворчал атлет, — в умелых.

«Лютые разбойники» тем временем успели приобщиться к толпе печенегов, посмеивались там, с чисто мальчишеской непосредственностью щупали всякие побрякушки, украшавшие кафтаны и рубахи новых приятелей, пытались заполучить их в обмен на нехитрое свое богатство — сухари и орехи.

Губы Кифы дрожали, когда она тихо спросила:

— Ты покидаешь меня? В чем же я провинилась?

— Пойми, Кифушка, я должен поскорее добраться до Киева. Нужно опередить степняков во что бы то ни стало, — сказал Улеб. — Поставлю на моноксил легкий парус, уключины, прихвачу все необходимое и помчусь по морю и по реке. Моей родине грозит беда.

— А я?

— На корабле Анита ты в безопасности. Начнете перевозить товары, как он мечтал, станешь богатой и счастливой. Не девичье это дело рисковать головой. Твоя страна далеко. Плыви с Анитом. Я не забуду ни красоты твоей, ни доброты, ни веселых песен.

Медленно скатились из-под густых и длинных ее ресниц две крупные слезы, упали на розовую ткань шелковистого платья, словно капли росы на трепетный лепесток цветка из прекрасных садов Византии.

Смелому воину не страшны ни меч, ни копье, ни вода, ни огонь, ни черт, ни дьявол. Страшны лишь девичьи слезы.

Чтобы не видеть их, Улеб спешно взялся за дело. С помощью ятуков выволок лодку и споро оснастил ее, как требовалось для долгого и опасного пути. Даже мачту с поперечиной приладил крепко, весла выстругал топором.

К шлему и перчаткам, уже лежавшим в моноксиле, прибавились щит, тугой лук с пучком стрел, черпак, мешочек с солью, кольчуга про запас и моток пеньковой веревки. Все.

Нет, не все. Твердая Рука вспомнил, извлек из корабельного тайника серебристый сосуд и бережно перенес его на свое суденышко. Теперь все. Можно прощаться со всем на свете, что не имело отношения к родимой сторонушке.

— Бью челом до самой земли, — произнес и низко поклонился друзьям и любимой, поклонился и печенегам-ятукам.

И вдруг, надо же, как гром среди ясного неба, раздался вопль Анита Непобедимого:

— Не позволю!!

Атлет прогромыхал ножищами по сходням, прыгнул с размаху к воде, к лодке, схватил сосуд, прижал к брюху, как зверь детеныша, и опять как заорет:

— Не дам мидийский огонь в руки варваров! Сие святыня империи! Неприкосновенный огонь армии христиан! Тайна тайн!

Вороны, что примостились поодаль на трех гранитных зубьях над зарослями бурьяна, панически взмыли в воздух, будто кто-то запустил в них камнем. Испуганно попятились печенеги. Парни на корабле скребли затылки: с одной стороны, им, недавним невольникам, начхать на святыню обидчиков, с другой — они считали Анита своим вызволителем и привыкли во всем его поддерживать. Но и Твердая Рука для них не чужой. Поскребли, почесали затылки и притворились глухими-незрячими, без них разберутся. Кифа же была слишком погружена в собственные страдания, чтобы отвлекаться на причуды мужчин. А на лукавых физиономиях «лютых разбойников» отражалось полнейшее равнодушие.

Улеб подошел к Непобедимому и мягко сказал:

— Не срамись перед людьми, учитель, верни сосуд на место. Это подарок Велко чеканщика, побратима моего.

— Не смей посягать!

— Ах, Анит, осерчаю напоследок, жалеть будешь. Поклады, говорю, на место, не тронь чужого.

— Кому огонь чужой, мне? Отойди! — Атлет, выпятив брюхо вместе с серебристым сосудом, наступал на юношу. — Не такой Непобедимый, чтобы отдать в руки безбожников святая святых! Сокрушу!

— Вот незадача, — вздохнул Улеб, — какая оса тебя ужалила?.. — Но тут же добавил твердо: — Кабы

попросил по-человечески, так, мол, и так, дай горящую жидкость, чтоб корабль защищать, уступил бы, а коль раскричался — не отдам огонь греков, хоть лопни.

Анит и сам почувствовал, что хватил через край. Росич пережил неволю, а с ней такие лишения, что имел сейчас право на трофеи побогаче этих. И он, никто другой, пришел на помощь Аниту в трудный час. Остыл атлет. Подумал, подумал — вернулся к моноксилу, положил сосуд на место, выждал, когда стихнет всеобщий вздох облегчения, и громко изрек:

— Я смиряюсь. Не империя наша сотворила мидийский огонь. Она взяла его у древних. Лучше бы все не родиться ему, огню этому.

В том весь Анит, такой неровный характер, взрывной и отходчивый.

Солнце клонилось к закату. Море и раньше было довольно спокойным, а теперь и вовсе превратилось в синюю гладь, как застывшее стекло. Бултыхались, резвясь, шаловливые дельфины, вспугивали чаек, которые взлетали с криком и вновь опускались на воду отдохнуть. От дельфинов расходились круги, и чайки плавно покачивались, точно тополиный пух, на затишающих волнах.

— Мне пора, — сказал Улеб.

— Я с тобой! — Кифа розовой птицей порхнула в лодку.

— Нет, зорька ясная, нам в разные стороны.

— Не гони! Хочу с тобой хоть на край света!

— Образуемся, глупенькая, впереди, на Днепре-Славуте, злые огузы, там страшно.

— Без тебя мне и в добром покое страшно. Без тебя я умру.

— Видно, судьба, — молвил Улеб, краснея от радости. И, чтобы скрыть от окружающих смущение, чуток пошумел вроде как для порядку: — Слезы утри! Доколе ими глаза мутить! И впредь не рыдай! Смотри мне! — Он покашлял в кулак, покосился по сторонам, зарделся пуще прежнего. Кликнул мальчишек: — Эй, разбойнички лютые, бросьте-ка нам... с невестушкой еще один щит!

— Удачи вам на Борисфене, ветра попутного. Господи, убери с их пути сатану, не допусти искушения духа и плоти, — грустно причитал Анит, обнимая Улеба и Кифу, затем опять Кифу и еще раз ее, еще.

Улеб прервал его молитву и объятья смехом:

— Будет, будет тебе, Анитушка! И когда успел снова стать таким набожным?

— Сам лба не перекрестишь, ангела моего разохотил, так позволь хоть мне помолиться за вас на дороге. Навсегда расстаемся.

— Тебе тоже плыть, за себя и молись.

— Я остаюсь, — заявил Анит, — не допущу, чтобы чудище все испортило.

— Кто? Что?

— Твой Маман не сумеет научить их воинскому делу. Это сделаю я. Превращу несчастных земледельцев в настоящее войско, не будь я Анит Непобедимый, великий наставник бойцов!

— Ого! Вот такая речь мне по нраву! — возрадовался юноша. — А как же корабль и товары?

— Обучу их сражаться на славу, — сказал атлет, — тогда стану купцом. Впрочем... не быть мне торговцем, мой мальчик, мне палестра нужна. Все равно вернусь в столицу, как не станет Фоки. Василевсы не вечны...

— Прощайте! Будьте все счастливы! — воскликнул Улеб и ударил веслами по воде. — Держись крепче, Кифа. Мы в Киев проскочим, посраим степняков. И Улию отобьем у них.

— Прощайте! — кричал им вдогонку Непобедимый.

— Прощайте! — кричали воины-гребцы.

— Прощайте! — кричали «лютые разбойники».

— Хош! Хош! Руся! — кричали ятуки, размахивая меховыми шапками.

Глава XXII



рохотное суденышко долго плутало в камышовых протоках днепровского лимана, прежде чем выбралось на широкую стремнину. Улеб и его спутница поначалу плохо ориентировались в незнакомых местах. Потом, обретя верное направление, они двигались расторопнее.

Если дул попутный ветер, летели птицей. В часы полного затишья или при встречном ветре приходилось

убирать парус и браться за длинные весла, которые хоть и требовали больших усилий гребца, зато гнали моноксил вверх по реке с достаточной скоростью.

Мускулы Твердой Руки неутомимы. За несколько дней было покрыто весьма значительное расстояние, куда большее, нежели предполагалось.

По ночам делали привалы. Улеб стрелял полночную живность, ловил линей в тине и водорослях заливов. Кифа готовила пищу. Надо признать, делала это отменно. Что ни варила-жарила, все вкусно и выше всяких похвал. Не зря росла при кухне знаменитой константинопольской харчевни. Насытившись и запив ужин чистой днепровской водицей, они тут же засыпали под открытым небом.

Едва брезжил рассвет, снова пускались в путь, не останавливались до самого темна.

Порой лысые склоны обоих берегов бороздили извилистые овраги, порою же надвигались и уходили вспять сосновые и смешанные леса. Внезапно и зримо появлялись стада диких животных, они шумно убегали, потревоженные лодкой и людьми, которые, в свою очередь, настораживались от их топота, остерегаясь засады огузов.

В низовьях Днепра кочевники не попадались. Но Улеб и Кифа понимали, что с каждым новым днем увеличивалась вероятность такой встречи.

— Куря не может идти быстро, — говорил Твердая Рука, — его войско обременяет слишком громоздкий обоз. Жилище, женок, детей, пожитки, скотину — все они тащат за собой. И оседают подолгу.

— Скоро река кончится, а их не видно, — вторила Кифа.

— Славута нескончаем.

— А мучения нашим будет конец?

— Достигнем порогов, за ними, должно, дней десять, и Киев.

— Боже милостивый! — всплеснула она руками. — Мы, оказывается, еще на порог не ступили.

— Пороги — то каменные заборолы в воде. Они нам всего опасней.

— Ты видел их?

— Нет. Но слышал про них от Велко. Мой побратим невольно ходил сюда с греком-купцом на торг. Велко все видел и мне рассказывал, а я запомнил. Как начнутся

каменя, станем в иных местах подниматься в обход, посуху, волоком.

— Ты у меня самый сильный, тебе моноксил волочить невелик труд. И я помогу, мой рыцарь.

— Сколько раз просил, называй меня человеческим именем!

— Улеб, Улеб, — сказала она, — тебя зовут Улеб из Радогоща.

— То-то.

Улеб размеренно греб, упираясь ногами в смолистые упруги, откидываясь назад и наклоняясь вновь, и убегали из-под лопастей весел пенистые водовороты, будто нанизывались на стремительный след, как бусинки на нить.

Ему радостно было видеть Кифу рядышком, неотлучно. За эти дни он изучил милые черты ее личика так хорошо и подробно, что и во сне они чудились ему явственно, и потому сновидения были легки и приятны.

Кифа всем своим существом впитывала неизменную нежность, исходившую из глубины его светло-серых глаз. Она любовалась ловкостью и совершенством его крепкого тела, не знавшего лени и усталости, всем его мужественным обликом, в котором, однако, нет-нет да и проскальзывало нечто наивно-детское, умилявшее ее.

Это взаимное теплое чувство гасило в душе Кифы тлеющий страх перед круто повернувшейся судьбой, подавляло редкие вспышки памяти о минувшем, ту щемящую сердце боль, какая неизбежна для всякого, кто навсегда расстается с родным домом.

Одновременно пугающим и манящим казалось ей будущее. Улеб, благородный витязь из неведомого ей племени уличей, и есть ее настоящее. Нет, не раскаивалась певунья, что добровольно ушла за ним на край света. Все ей было ново и интересно.

— Улеб! — Кифа звонко рассмеялась. — Улеб, ворчун из преисподней!

— Ладно тебе, — сказал он ласково, — сама-то суший чертенок на мою горячую голову.

— Ой, горячий какой! Горим! — Она черпала за бортом воду и со смехом брызгала в дружка.

— Опрокинемся! Да уймись ты, глупенькая, накли-чешь еще печенегов.

Напоминание о действительности мигом остудило девушку. Личико ее сделалось серьезным, она приглади-

ла мокрыми руками разметающиеся иссиня-черные волосы, молча взяла малое весло и, устроившись на корме, принялась выравнивать курс челна, устремив вперед пристальный взор.

В Днепре такое обилие рыб, что на широкой его поверхности расходились круги и слышались громкие всплески, будто плыли впереди, по бокам и сзади лодки целые подводные хороводы русалок, которые шаловливо высывали из глубины ладони и хвосты и щепали ими по речной глади.

Безветрие. Истома. Жарко. Бесконечная россыпь ослепительных бликов на голубой скатерти реки. Вкрадчивое, жалобное повизгивание деревянных уключин. Ровное дыхание неистового гребца. Почти беззвучный однообразный напев на устах юной ромейки.

Затрещал камыш — это вывалился напролом, чавкая в иле, клыкастый вепрь и застыл, позабыв о водопое, уставился налитыми кровью глазами на плывущих. Беззаботно хрюкали полосатые поросята. В небе парили степные орлы, а на лесных опушках спокойно разгуливали олени.

— Куря шел по той стороне. Здесь зверье непуганое, — сказал Улеб.

— Очень много вокруг пастбищ, — сказала Кифа, — животным на приволье нет числа. Кто хозяин всему? Люди есть где-нибудь?

— Великое множество. Городищ да весей не перечесть. Я слышал в холодных морях, как там нарекли мою родину — Страна Городов.

— Знаю, — сказала Кифа, — Гардарика.

— Вот-вот. В первый град наш, в стольный, мы и должны поспеть прежде недругов.

— Я твоя невеста? — внезапно спросила девушка.

— Жена, Кифушка! А свадьбу справим, как только управлюсь с государственными делами, — важно, так торжественно молвил юноша. — Вот прогоним огузов, отыщем Улию, воротимся к батюшке в Радогощ, сразу надену венки, разведу огонь, станем прыгать да песни петь, мед-брагу пить. Такое гулянье закатим — в самом Пересечене отзовется!

— Что я, ведьма — в костер сигать, я плясать буду.

— То священный огонь. Сварожий, праздничный. Кто ж не скачет через него на веселье! Свадьбу справим по русскому обычаю, с игрищами, с удалыми заба-

вами, с гусярами да перезвонными бубенцами! Ты своею красой не уступишь и нашим девам. Тебя, Кифушка, можно брать под венец громогласно, напоказ всему миру.

Смуглянка засмеялась, счастливая от слов таких. Затем неожиданно опечалилась.

— Ты чего? — удивился Улеб.

— Даст бог, приплывем в твою... нашу столицу, а у меня нету новых нарядов. Засмеют...

— Не до смеху там будет нынче. Что ж до нарядов, будут у тебя, моя суженая, красивых рубах сколько захочешь. Белых, тонкого полотна, узорочьем расшитых до пят. Накопаем железа в Мамуровом бору, наварим крицы, накуем всяческой кузни и увезем на торговщище уличей. Я тебя с собой повсюду брать буду. Выбирай, чего душе угодно, хоть все лавки опорожни, ладо моя!

— Правильно!

— Нынче плохо нам, зорька ясная, растеряли родню...

— Не дай бог попасть кочевникам в плен, — встрепенулась она, — разлучат нас с тобою.

— Пусть попробуют! Нам нельзя загинуть, надо Киев предупредить. Не ко времени Святославу гостить в Булгарии. Постой-ка, постой... — Улеб даже грести перестал. — Маман сказал, князь большую дружину увел... для чего?

— Здешний владыка, видно, не боится покидать свой акрополь, сам ушел и копыя увел из столицы. А если наместники трон займут? Василевсы мудрей, на границах содержат акритов.

— Ой, Кифа!..

Так и плыли изо дня в день, в разговорах, в печали и радости. Все дивились, сколь мир велик.

Улеб, признаться, нет-нет да и подумывал раньше: «На корабле-то, может, смелой была оттого, что какой ни есть, а кусочек ее отчизны. Каково же будет на утлом челне посреди неведомой ей Рось-страны?» Напрасно тревожился, она надежная подруга. Прямо не верилось. Ай да Кифа!

...Плыли, плыли они.

Глинистые и черноземные кручи слева все чаще и чаще чередовались с каменистыми оползнями, подрубленными снизу буровато-молочной каймой песка. Древ-

ний степенный Днепр был настолько широк, что казался выпуклым.

Но вот заметили Улеб и Кифа, что стали берега постепенно сближаться. Через тысячи верст дотянулись сюда многопалые руки гор, и пытались они ослабевшими от расстояния пальцами задушить реку, да тщетно. Лишь немного сдавили те руки неудержимо ползущее плавно-извилистое туловище Славутица, а пальцы их каменные местами пообломались и осыпались в воду — пороги.

— Ветер! Поднимается сильный ветер! — вскричала Кифа. — Он дует вспять течению и понесет нас на крыльях!

— Слава мудрому Погоде! — Улеб приготовил парус и веревки-ужища, сложил на дно надоевшие весла.

Теперь он сидел сзади и держал кермо, одновременно управляясь с ужищами наполненного паруса. Кифа пристроилась у его ног, обхватив свои колени и уткнувшись в них подбородком, зябко поеживалась от належавшей прохлады.

На лесистых склонах стали попадаться сожженные и опустошенные прошедшей ордой поселения.

Моноксил настойчиво пробирался сквозь пену волн и водоворотов. Иногда приходилось помогать ему веслами, как шестами. На отмелях прыгали в бурлящие струи и подталкивали суденышко руками. Порою же огибали каменные преграды волоком. А только начинались сравнительная гладь и глубина, снова мчались лихо и неумоимо.

Печенежскую силу на порогах не видели, однако чувствовали, что следуют за ней по пятам, догоняют неотвратимо.

Однажды столкнулись с огузами. Не с самим войском, не с обозом его, а с малым отрядом, всего в семь пеших и три конных. Может, то был нижний дозор кагана или запоздалое пополнение. А может, и просто замешкались и отстали от полчища, кто знает.

Случилось это на Крайней переправе, в самом узком месте Днепра, где издавна степняки повадились устраивать засады и нападать на путников.

Печенеги заметили парус, притаились. Высокие скалы стиснули реку, их отвесные стены как бы образовывали ворота, известные среди византийских торговых людей под названием Пасть Дьявола.

Едва лодка оказалась в этой гранитной пасти, как в западне, огузы выскочили из укрытия, и пущенные ими стрелы со свистом пробили полотнище, вонзились в мачту и борт. К счастью, слишком поспешные выстрелы не причинили вреда Улебу и его спутнице.

Улеб резко повернул челн к скале, рассчитывая улизнуть под прикрытие ее навеса прежде, чем враги успеют натянуть луки заново. Маневр удался. Стрелы поражали сверху лишь зазевавшихся на стремнине рыб или бесцельно высекали каменную порошу.

— Мы пропали? — спросила Кифа.

— Они пропали, — буркнул в ответ Улеб, прикидывая, как поступить дальше. — Ну-ка попридержи лодку.

Кифа ловко перебежала на нос суденышка, вцепилась обеими руками за край небольшой трещины, сляся удержать моноксил под напором воды. Удержала. Улеб обмотал весло плащом и высунул его наружу. Стрелы посыпались с новой силой. Те из них, что попадали в приманку, Улеб выдергивал и складывал под ноги, приговаривал с досадой:

— Из-за них, глуздырей, вынужден дырывать но-
вехонькую луду, даренную Птолемеем.

Огузы яростно и непрерывно натягивали звонкие тетивы и, вероятно, ругали себя за то, что не догадались заранее переправиться на противоположную скалу, откуда без помехи сразили бы неподатливую поживу.

Вскоре бесплодная их стрельба прекратилась. Воздух огласился досадливыми воплями. Улеб еще разок поддразнил их веслом. Стрел больше не было.

— Пусты колчаны, — удовлетворенно сказал он, — пора беседовать с ними с глазу на глаз.

Иная дева на месте Кифы небось повисла бы на шее, не пускала бы, причитала бы в страхе, дескать, нельзя идти против стольких, а она — вот бесенок! — сама подзадоривает:

— Проучи их, славный мой, покажи им, бессовестным, как на женщину нападать! Сколько времени из-за них потеряли.

— Наверстаем. — Улеб убрал парус, чтобы не закрывал обзор, и осторожно повел однодеревку вдоль гранитного отвеса, перебирая по нему руками, отталкиваясь и подтягиваясь, направился туда, где зияла в скалах широкая прорезь. — Не упустить бы их, Кифушка.

Если отступят к своему войску и сообщат про нас, худо.

Достигли расщелины незамеченными. Твердая Рука быстро надел кольчугу и с мечом полез наверх.

— Сиди тихо, — велел напоследок, — я скоро.

Выглянув из-за камней, он сперва увидел трех низкорослых лохматых лошадок с войлочными потниками на прогнувшихся спинах, без седел. Чуть поодаль все еще бестолково суетились на краю обрыва обескураженные огузы.

Семеро из них были в меховых безрукавках и штанах, заправленных в мягкие, скроенные из цельного куска заячьей шкуры полусапожки. Трех, не иначе спешившихся, наездников предохраняла грубо сплетенная медная броня, у наборных поясов болтались кривые сабли без ножен, на головах тоже медные шлемы без шишаков. Главное вооружение семерых пеших воинов составляли луки, да колчаны-то теперь были пусты.

Они возбужденно галдели, пытались заглянуть в пропасть поглубже, некоторые с этой целью стали на четвереньки, а иные даже легли и свесились со скалы. Наверно, дивились: куда исчез каюк?

Старший огуз призвал остальных взяться за руки, и они послушно растянулись цепочкой так, что двое, самые крепкие, упираясь ногами в срезы обрыва, повисли над пучиной, пытаясь все-таки разглядеть внизу лодку.

Улеб кинулся к валявшимся без присмотра сулицам, схватил первую попавшуюся и, разбежавшись, метнул что есть силы. Прицельно пущенное копье поразило третьего в веренице степняков, он рухнул замертво, а двое, ранее удерживаемые им, с ужасным визгом полетели в кипучий поток Пасти Дьявола, и он поглотил их.

Потрясенные внезапной гибелью сразу трех, огузы не успели опомниться, как Твердая Рука прыгнул в самую их гущу, с ходу рассек мечом четвертого. Перепуганные лошади бросились враспынную.

Часть печенегов покатилась с откоса за копьями. Улеб не смог им помешать, поскольку занялся теми тремя в медной броне, что выхватили сабли и уже ринулись в схватку. Он завертелся как юла, отбиваясь и нападая одновременно. И трое вскоре пали под каскадом неотвратимых его ударов.

Между тем подоспели степняки с копьями. Один из них довольно метко бросил свою сулицу издали, и она просвистела так стремительно, что росич едва увернулся. Гонимый неудачей, этот уса́тый огуз повернул обратно, подхватил два мешка из общей груды и стал улепетывать с ними вдоль берега.

Улеб мечом разнес в щепы легкие копья двух оставшихся, после чего, вложив меч в ножны, шагнул к ним с голыми кулаками.

Тут уж запахло палестрой.

— Ну, охотники до русского добра, вот и свиделись!

Ухватил их за шивороты, как грохнет лбами — испустили дух.

— Вон еще! Вон еще! Убежит! Скорей! — Кифа указывала на улепетывающего уса́ча, волочившего мешки, и протягивала юноше лук.

— Ты зачем здесь?!

— Я моноксил привязала, не бойся.

— Вот я тебе! Кому сказывал: сиди и жди!

— Не сердись, я хотела тебе помочь, но опоздала.

Очень крутая гора, пока поднялась...

— Связался с дурехой на свою голову!

— Убегает ведь! Убежит!

— Брысь на место! — Улеб, разгневанный не на шутку, грубо отобрал у нее лук и стрелы. — Еще раз ослушаешься, пеняй на себя!

— Да смотри же, смотри, убежит, бесовестный! Пропадем!

Но обремененный ношей огуз был еще недалеко. Твердая Рука задержал дыхание, натянул тетиву так, что оперенье стрелы прикоснулось к самой его скуле. Молнией сверкнул острый наконечник в лучах заходящего солнца.

— Все, — сказал Улеб, — последний. Ну и воины. И такие-то лезут на Киев.

— Слабые очень нам достались, — с ухмылкой заметила Кифа. — Потому и отстали от своего войска.

Снова двинулись в трудный путь. Ветер им помогал. Камни кончились, Днепр разливался как море, и вставали навстречу зеленые острова, и уходили мимо. День сменяла ночь, а ночь день. Благоухало раздольное лето, будто не было беды впереди.

Витичево городище Курия пожег, как и прочие поселения. Полыхало багровое зарево, с жутким гулом про-

шивали ветры горящие стены и стрехи. Сколько погублено было людей! Скольких каган полонил, заковал в колоды! Несть числа...

Черной тучей шли печенеги.

— Ах, Улеб, побыстрее гребь от ужасного ада, — плакала девушка, — бог отвернулся от жителей этого города.

— Снадобьем от всякой напасти была и есть полоса меча! Где же наши? Где охранный рать?

Улеб резал воду веслами. Плыли ночь напролет, пока не оставили поруганный Витичев далеко позади себя. И посветлу плыли и плыли.

Встречные погосты были безлюдны, заброшены. Вероятно, здесь прослышали накануне о приближавшейся орде. Обшитые бревнами полуземлянки, избы-срубы и приземистые мазанки провожали челн слезливыми глазами слюдяных окошек. Дверные проемы зияли пустотой.

— Эх, был бы Жар, верхом мы бы живо... Тут еще нету войск Кури. Не спеша ползут, ироды, не боятся: встретить их некому. Неужто великий князь не удосужился оставить хоть малую дружину?..

Улеб ошибся, решив, что враги еще не добрались до этих мест. Он вел суденышко открыто. А возле какого-то сельца вдруг появились печенежские всадники числом не меньше полусотни. Черный каган не забыл выслать вперед головной отряд.

Огузы поскакали вдоль пологого берега, размахивая плетками и саблями. На версту опередили челн. Некоторые, сбросив одежду, полезли в воду с кинжалами в зубах и, держась за шеи лошадей, поплыли наперерез.

Твердая Рука стрелами повернул их обратно. Тогда они, выбравшись на сушу, посоветались о чем-то и поехали назад, к сельцу.

— Ага, испугались, бессовестные! — Кифа хлопнула в ладоши.

Но Улеб нахмурился, обеспокоился, молвил:

— Плохо, ох как плохо... Я заметил в затоке два струга. Наши не упрятали их, только и всего, что понатыкали пучки сухого камыша с боков, торопились, видать. Как бы степняки не кинулись к стругам, там уключин множество.

— Пусть догоняют. Ты их проучишь, а я посмотрю.

— Уф!.. Что сказать, коли волос длинный, а ум...

Пропаду с тобой, шалой, ей-ей, и ты тоже пропадешь. Тебе бы мужиком уродиться, глупенькая. — Веслами резко так зачистил, чуть не лопаются они, длинные и упругие. — Худо дело, коли сядут в струги. Настигнут, сдавят с ходу тяжелыми лодьями — наша хрустнет, как ореховая скорлупа. В волнах барахтаться — какой я воин.

— Не догадаются.

— Помолчи пока, очень прошу.

Произошло, как и предполагал Улеб. Вскоре из-за поворота показались оба струга с печенегам. Мощные и устойчивые, добротнo сколоченные русскими умельцами, они скользили резво, точно многолапые водяные пауки. Расстояние между лодкой и ними сокращалось и сокращалось. Что делать?

Улеб задыхался от усилий. Подобную гонку Днепру, наверно, не часто доводилось видеть. Как будто гнались две большие зубастые щуки за обреченной плотвичкой.

Уже различимы затылки, шевелящиеся руки, спины, плечи преследователей. Огузы галдели и оборачивались, показывая лоснящиеся плоские лица под овечьими, заячьими, лисьими, волчьими шапками и зеленовато-медными или ржаво-железными туповерхими шлемами.

— Догоняют! Догоняют! — в отчаянии вскричала Кифа и прикрылась плетеным щитом, ожидая града смертоносных стрел.

— Хотят взять нас живьем, — сквозь стиснутые зубы выдавил Улеб. — Бросай в воду лишнее, облегчим моноксил.

Он перерубил крепления мачты, повалил ее за борт.

— Гребь! Я сама!

Улеб снова налег на весла, а она принялась выбрасывать все, что попадалось под руку: моток веревки, второй щит, дубовый черпак. Даже мешочек с солью шлепнулся в волны.

— Это тоже?

Под плащом, укрытый от палящего солнца, лежал серебристый сосуд.

— Огонь греков! — воскликнул Улеб. — Как хорошо, что не отдал его Аниту! Ну, степняки, держитесь! Сейчас погреемся! Помянем чеканщика!

Огузы решили, что преследуемые сдаются, поскольку каюк их остановился, и победно взвыли, поигрывая

саблями. Некоторые бросили весла, чтобы лучше рассмотреть добычу. Кое-кто засмеялся, точно залаял, подумав, что воин на каюке поднял белый бочонок с драгоценностями, наивно предлагая выкуп. Иные же цокали языками и уже спорили, кому брать красавицу.

Улеб посек мечом тонкие стенки сосуда, и хлынули за борт струи вязкой, резко пахнувшей жидкости. На поверхности реки расплылось огромное радужное маслянистое пятно. Течение отнесло его прямо на струги. Узрев невидаль, печенегι притихли.

Улеб отшвырнул пустотелую посудину подальше — она, как пузырь, закачалась за кормой, и выхватил из-за пояса кремни-кресала, высек искры, воспламенил пропитанную горючей смесью шерстину, предварительно обмотав ею конец стрелы, тотчас же посланной из лука в жирное пятно, которое краем своим уже коснулось обеих лодий с врагами.

Жуткая вспышка обагрила Днепр. Казалось, огонь взметнулся до самого неба, опалил, очернил его дымом и воплями степняков, воплями, ледящими кровь в жилах.

И долго потом плыли Улеб и Кифа в глубоком молчании, удаляясь от страшной картины, приближаясь к конечной цели нелегкого своего пути верста за верстой, час за часом. А где-то позади, теперь уже по пятам за ними, катились полчища Кури, истребляющие походя все живое, беспощадные как чума.

Киев открылся как-то внезапно, шумно, многоголосо сразу после дремучих лесов.

Обогнув высокий остров, Улеб и Кифа перво-наперво увидели обжитые пещеры на круче правого берега. У Варяжских пещер тех царил невообразимый переполох. Чужестранные гости спешно грузили на большие и малые свои корабли непроданные товары. Суда отчаливали, сталкиваясь в суматохе бортами, вырываясь один вперед другого, устремлялись вверх по Днепру.

— Печенегι! — гремело повсюду. — Идут печенегι снизу!

За пещерами подле бора тревожные дымы. Там стучат колы беженцев, режут волы, кричат младенцы на руках матерей. Спасается народ из Берестового, Угорьского и прочих селищ, запрудил дороги, ведущие к укрепленному городищу.

Скользит моноксил Твердой Руки и Кифы, и видят

они, как живыми ручьями стекаются со всех сторон к валу-насыпи златоглавой Горы людские потоки, тащат на себе все, что успели прихватить из дому. Кто несет куль с мукой, кто горшок с зерном, кто пряжу, а кто и просто бежит, держась за голову.

— Степь!

— Вон степняки скачут!

А и верно, огузы тут как тут, отовсюду нагрянули. Их кибитки жуками ползут вперевалку, пыль стоит в полуденной дали. Надвигаются, ошетинились копытами всадники без числа.

Твердая Рука и его подруга выпрыгнули из челна, взобрались на яр, догнали своих.

— Эй, мужи! — кричит Улеб. — Станем грудью!

— А что пользы без войска стоять с кольями против тьмы! — отвечают. — Вся надежда на Претича!

— Где же он, воевода ваш?

— Где-то бродит с поборами! Ужо задаст Претич лиходеям, как доведается и придет выручать! Ишь как близко осмелились сунуться!

Ну что тут поделаешь? Улеб хватъ Кифу за руку, и вбежали они последними в город. Едва юркнули, со скрипом закрылись за ними ворота крепости.

Люди рассеялись по улицам семьями где попало. Тут же скотина, пожитки. На валу народ толпится, бурлит, стар и млад проклиная печенегов, что рассыпались окрест.

Прежде чем сомкнула орда свои зловещие полчища, простучали и затихли, удаляясь, копыта на Белградской дороге. Улеб, как все, проводил того конника взглядом сверху и спросил соседа, пожилого крестьянина в дерюжке и лаптях, с исхудалым, землистого цвета лицом и куцей бородкой:

— Куда он подался?

— Мати отрядила паробка к Святославу, — ответил тот.

— Проскочит?

— Должон. Вишь, малый-то ловкий, из обученных паробков Гуды, охранника Ольги-заступницы. А ты сам-то откудова будешь, не из немцев ли? Да и дружка твоя на наших девок несхожая.

Улеб пояснил погромче, чтобы расслышали в толчее и другие, косившиеся с подозрением:

— То одежда на мне норманнская, довелось у них

побывать не по собственному хотению. Сам я русский человек. Из уличей. А дева моя, верно, из греков, она душой с нами.

Глава XXIII



а годы странствий Твердой Руке не раз приходилось участвовать в битвах больших и малых. На суше, на море. Однако никогда еще не испытывал он участи осажденного.

В былых рассказах искушенных греков расписывались не столько шедшие на смерть или защищавшие жизнь люди, сколько чудовищные боевые машины: всевозможные тараны на колесах, гигантские катапульты, метавшие тяжелые ядра и каменные глыбы, способные разрушать любые твердыни, колоссальные передвижные башни с трубами, изрыгавшими огонь, и множество других сокрушающих сооружений.

Ничего подобного не было у печенегов.

Много дней кряду лавина за лавиной с громкими, дикими воплями накатывались они на столицу россов и вновь откатывались от неприступных ее стен, оставляя убитых и раненых под градом сыпавшихся камней и бревен.

Уже выступили деревянные срубы, на которых держался соп. Так часто набрасывались враги на него, на вал, что земля и каленая глина осыпались. Трупы скапывались по истерзанной насыпи в ров, и вся гробля наполнилась ими до краев.

Снова и снова гнал Куря огузов на приступ. Его шатер стоял в безопасном отдалении, на песчаном бугорке за болотом, через которое протянулась узкая гать. Зоркий глаз мог рассмотреть Черного рядом с каганским бунчуком, развевавшимся на длинном шесте.

Обороной руководил престарелый воевода Гуда. Он служил еще покойному князю Игорю. Когда-то, давным-давно, Игорь, сын Рюрика, посылал его, Гуду, сватать Ольгу в Плескове. С той поры и остался Гуда при княгине.

Телом он дряхлый, умом же хоть куда. Расставил немногих своих ратников на помостах за заборами,

придал им всех мужчин, кто способен держать оружие, — вот и отражали нападения.

Одни ворота Киева выходили на север, другие, Лядские, на юг, а третьи, Золотые, на запад. Крепкие ворота. Башни-вежи по бокам выступали за линию стены, позволяли осажденным обстреливать недруга с флангов.

Но были еще одни. Ложные. Они вели в ловушку, что называлась в просторечье «захап». Вот у этих-то ложных ворот и орудовал Улеб с горсткой храбрецов.

Только хлынут враги снизу, Улеб с молодцами давай тянуть за канаты, створы распахивать. Огузы вваливаются в образовавшуюся брешь, орут, машут саблями, а перед носом-то у них, непутевых, глухая стена. И обратно нет хода: росичи захлопывали створы за их спинами. Печенег в захапе, как в кармане. Хоть бей их сверху, хоть держи, точно в мышеловке.

Понял Куря, что не взять Киев с наскока, и решил покорить измором. Обложил плотным кольцом, ждет.

В городе начался голод. Народу набилось много, коровенок, что с собой привели, съели. Куры, гуси, хлебушко, мед и квашеная капуста кончились. Мужики ремни варят, жуют. Бабы куда выносливей их, а и те пухнуть стали. Детишки охрипли от криков, мрут от живота. Колодцы до дна повыпили. Плохо дело.

Не тяготились сытые огузы осадой, напрочь осели стойбищем, точно в своей Степи. Киевские жрецы слабенько голосили на Перуновом капище посреди Красного двора, уповали на идолище:

— Творец всего сущего, сам себя породивший, накорми нас, защити нас и сохрани, пролей дождь.

Однажды оживились люди на валу, простерли руки, указывая друг другу за реку. На далеком том берегу всколыхнулось пыльное марево.

— Претич!

— Воротился Претич из нижних застав!

— Вона подмога долгожданная!

Воспрянули духом. Сейчас начнется сеча. Хоть и исхудали очень, а готовы ринуться с кольями да вилами, как только Претич переплывет Днепр и поспешит на выручку.

Постукивая клюкой, взошла Ольга по крутым лавинам на самую высокую башню Большого терема, с на-

деждой повела дальнорезкими очами в заречную синь. Седая, хворая, еле душа в теле. С нею невестка, внучата Ярополк и Олег. И еще внучек, сынок Малуши-ключницы, малолетний Владимир, любимец великой княгини.

Но что это Претич? Вышел к воде и ни шагу более. Стоит как пень. День миновал, второй, третий — недвижима его дружина. Что такое? Уж бранят его вслух и мысленно, нету мочи терпеть, ожидаючи, косит беспощадный мор ряды защитников города. Отчаялись, обступили княгиню:

— Мати, отворим ворота печенегам. Все одно пропадать, коли Претич мешкает.

Все припомнилось ей: и слава русского оружия, и невянувшие песни о походах мужа и сына, и месть древлянам за гибель Игоря, и Олеговы щиты на вратах Царьграда, и ее пребывание там, и свято хранимая честь родимого края.

— Нет, — ответила твердо. — Не пушу презренную Степь осквернять наш стол! Лучше голодная смерть, чем позорище!

Всколыхнулись головы, склонились. И опять побрели киевляне на вал сурово и молча, плечом к плечу. А к Ольге решительно приблизился незнакомый воин. Лицо открытое, смелое, простоволос, ступает легко, будто рысь, у бедра широкий меч. За ним прячется черноокая девушка в рваном розовом платье. Это Улеб и Кифа. Он сказал:

— Я улич из Радогоща. Судьба привела к тебе. Сбегаю к Претичу. Что ему передать, мати?

— Что ж, попробуй. Призови его, бездельного, к долгу. Только не верится, чтобы удалось тебе проскочить через заслон печенегов.

— Авось перехитрю их, — сказал он. И добавил: — У меня к тебе просьба. Ежели со мной что случится, приюти мою женку, будь ей заступницей без меня. — Он подтолкнул вперед Кифу, ничего не понимавшую, смущенную присутствием властной старухи с ключкой. — Это, матушка, ромейская дева, мой сердечный друг.

— Обещаю, — коротко молвила Ольга.

Улеб отвесил низкий поклон и отправился к помосту над Ложными воротами. Изготовил из веревки аркан, принялся вылавливать им огуза из числа тех, что ску-

лили в захапе. Изловил и выволок наверх. Беличью шапку с кафтаном и круглый размалеванный щит с него содрал, а самого опять в ловушку.

Кифа забеспокоилась, спрашивает:

— Зачем тебе?

— Стемнеет, переоденусь и полезу за стену. Может, проберусь к нашим. Сколько же топтаться им без дела!

— Пропадешь! Что со мной будет?

— Не бойся. — Улеб улыбнулся, чтобы ободрить ее. — Не теряй своих лучей, солнышко, я тобой похвалился перед народом.

— Не за себя тревожусь.

— Я тоже. Киев на волоске.

— Схватят ведь. Городу не поможешь и сам не вернешься. Я знаю, ты у меня самый смелый, но сейчас твоя прыть бесполезна. За стенами не десять врагов — мириады.

— Не зря мне запомнились когда-то два печенежских слова. Вот и пригодятся. Я хитрость задумал, с ней попытаю удачи. — Улеб снова улыбнулся. — Подика лучше поищи уздечку. Нужна. А я тем временем помыслю заранее, где сподручней спускаться.

— Хорошо. — Смуглянка загадочно прищурилась, и в ее зрачках-вишенках запрыгали знакомые Улебу чертики.

— Ты чего это, Кифа? Уж не замыслила ли тайно последовать за мной вечером?

— Что я, глупая — лезть на стену.

— То-то и оно, что безрассудная, всего от тебя жди, Кифа.

— Успокойся, из города я не выйду. А уздечку тебе поищу. — И вприпрыжку побежала вдоль мощеной улочки-конца, как игривая козочка.

Время тянулось медленно. Словно нехотя погружались луковки теремов в сумрак неба. Подле самой Горы, на Боричевом увозе печенег перегоняли стада, отобранные в дальних погостах и пастбищах. Щелкали бичи, гортанно выкрикивали погонщики, мычал скот.

Не утерпел Улеб, не стал дожидаться глубокой ночи. С помощью узловатого каната спустился по затененному простенку, укрываясь за выступом малой вежи. Переждал, схоронясь в рывтинах внешней насыпи. Только начал прикидывать в уме, как бы проползти

дальше, и вдруг отчетливо расслышал знакомую звонкую песенку.

Сидевшие неподалеку печенег повскакивали на ноги и, как гнус-мошकारа на свет, повалили на доносившийся девичий голос. Путь открыт. Улеб прошмыгнул во вражеский стан, затесался в толпу степняков. Не отличить его от них в полумраке: шапка меховая, у висков два беличьих хвоста болтаются, на плечах кафтан, на спине круглый щит с рисованной мордой какого-то страшилища.

Поглядел на киевскую стену, где Кифа, отплясывая, распевала веселую византийскую песенку. Подумал благодарно: «Так вот она, тайна моей певуни. Спасибо, умница, отвлекла огузов от дружка, подсобила».

А на стене подхватили ее напев другие защитники, мужчины и женщины, хоть не знали ни словечка заморской песенки, да понятен был главный смысл: наплевать на подлых воров, что столпились у русской твердыни.

Возле каганского шатра Куря негодует. Племянник его, Мерзя, раздает пинки своим лучникам направо-налево за то, что не могут попасть в девушку стрелами. Попробуй-ка попади, когда наверху ее прикрывают и разят оттуда без промаха.

Улеб мечется среди огузов с уздечкой в руке, вроде потерял своего коня. Не видел ли, дескать, кто пропажу?

— Атэ нирдэ? (Где конь?)

Сам все ближе и ближе подбирается к Днепру. Никому до него нет охоты, отмахиваются: ищи, мол, не приставай, без тебя тошно. Вот и хорошо. Иного от них не надобно.

Реки достиг, шапку долой, кафтан тоже, кой-кого подвернувшегося хватил бойцовским кулаком напоследок, и бултых. Схватились огузы, да поздно. Стреляй, не стреляй вдогонку — и впрямь, как говорится, канул в воду. Удалился за предел перестрела, поплыл поверху быстро-быстро, как лягушонок.

А с того берега уже заметили его, руки подают. Выволокли на сушу. Он воинов Претича отстранил, поднялся — ноги подкашиваются, весь дрожит мелкой дрожью, отдышаться не может.

— Дайте воды...

Какой-то юнец присел перед ним на корточки, шлепнул себя по ляжкам, хмыкнул:

— Чай, не напился! С него ручьями хлещет, а он...

— Цыть! — оборвал юнца властный всадник в синем плаще, сивобородый, угрюмый. Длиннющая его бармица стекает от шлема по спине, концы ее пропущены под мышками и связаны на груди. — Принесите испить!

Бросились гурьбою к воде, зачерпнули шлемами, принесли, обгоняя один другого. Улеб напился, поглядел исподлобья. Сотни две наберется воев. Пасутся кони оседланные, сытые. На дне овражка пирамидками сложены копья вокруг древка со стягом. Костры не жгут, не хотят выдать себя огнями.

— Вы бы еще норы повырыли, — укоризненно молвил Улеб, — стыд за вас.

Зашевелились, загомонили, обступили со всех сторон. Кто-то виновато и торопливо сует ему принесенный из обоза ломоть.

— На-ка, братушка, поешь сальце с хлебом.

— В Киеве женки с подколением пухнут, а вы сало жрете! Видеть всех вас противно! — Улеб сжал кулаки. — Дайте только отойти чуток после купания, так расквашу, сукины дети, попомните! Ладно вы сберегаете стольный град!

Крупнолицый бородач в синем плаще спешил, крихтя, позвякивая железом. Все расступились, пропустили старшего. Улеб шагнул к нему.

— Ты и есть воевода Претич?

— Я и есть, — хмуро произнес тот, — а ты, отрок, от матушки, что ль?

— Вот каков наш Претич! — гневно продолжал Улеб, словно не слышал его вопроса. — Киевляне велели кланяться вызволителю, а то как же. Послали меня разузнать, не дует ли тебе на открытом-то месте, не жалеешь ли перину, чтоб удобнее было нежиться тут, пока родичи костями ложатся.

— Ты того... погоди лаяться да язвить, — заворчал Претич в бороду, — сам посуди разумно. Нас мало, печенегов же тьма. Ну пойдем, ну переправимся, а что пользы? Посекут нас, как ступим через реку. Нет уж, сохранию хоть дружину.

— Так прислать перину ай нет? — процедил Улеб сквозь зубы. — Позаботься о себе на ветру, не простынь, а то боимся Святослава, не простит нас, поди, коли тебя не убережем.

Воевода вспыхнул, топнул сапожищем и грюкнул:
— С кем посмел языком тягаться! Да я тебя, щенок! Я тебе... — Претич вдруг поперхнулся словами, обмяк, призадумался.

Вокруг шумели ратники:

- Сказывали тебе, Претич, веда, не мешкай!
- Веда! Живота не пожалеем!
- Сам не станешь, без тебя пойдем!
- Святослав воротится, не пощадит!
- Хоть княгиню с княжатами выхватим!
- Дожили! Срамота!
- Веда, Претич, веда!

Воевода над всеми возвышается, руки распростер над всколыхнувшимися шишаками, всех перекрыл своим зычным голосом:

— Тихо! Тут не торговище — войско! Тихо, вам говорю!

Крики смолкли, но ропот не унять. Обступили коня, на которого снова взобрался Претич. И он объявил:

— Готовьтесь. Двинем пораньше, до петухов.

Всю ночь валили могучие сосны на яру, рубили стволы, долбили их, строгаали шесты и весла. Новые добавились к тем лодкам, что имелись. На рассвете сели в них, отчалили, затрубили в боевые трубы.

Звонкое эхо кинулось через Днепр, ударилося о леса и горы, вернулось, рассыпалось, далеко-далеко, зазвучало со всех сторон, точно грянуло отовсюду великое множество воинов. Огузы вскочили спросонок и, не разобравшись, в чем дело, закричали в паническом страхе:

- Святослав?!
- Руси!
- Халас боли!
- Гачи! Гачи! Эй-и-и!

А киевляне не растерялись, поддали жару, тоже затрубили со стен, ликуя и крича:

- Святослав!
- Наши-и-и!

И действительно, не прошло и получаса — к радостному изумлению самих осажденных, к счастью малочисленных ратников Претича, к ужасу степняков, взметая тучи пыли и сотрясая конскими копытами землю, ослеп-

ляя блеском неистово вертящихся клинков, оглушая поля и дебри раскатистым кличем, влетела на родной простор подоспевшая из придунайских краев дружина Святослава. Донес вовремя гонец призыв Киева.

С ходу, с лета врезались россы в гущу огузов. Щиты червленые, мечи широкие, кони взмылены после долгой дороги, но несут стремительно, мощно. Хоть и печенежская конница не лыком шита, а дронула.

Ольга сверху, с резной башенки терема глядит, глаза ее сухи, спокойны. Шепчет:

— Святослав, дитяtko, подоспел...

Горохом рассыпался по небу гром, брызнул теплый летний дождик, оросил поле, точно из лейки, и прекратился. Люди и лошади скользили на мокрых кручах, особенно там, где глина. Извалялись, повыпачкались с ног до головы.

Куря тщетно пытался сплотить свое разметавшееся войско, отступая к Неводничам. А с тыла внезапно ударил в него невесть как появившийся здесь отряд. Выставляя какие-то странные переносные сооружения, сколоченные из тщательно заостренных кольев, чем-то напоминавшие ошетинившихся ежей, и ловко орудуя дубинками, эти смельчаки вызывали удивление.

— Глядите, глядите, — кричали росичи, — печенеги меж собой передрались!

— Печенег печенегу рознь, — пояснили сведущие, — то наши друзья, ятуки! Тоже подоспели на подмогу!

— Кто бы мог подумать, что мирные пахари горазды на сечу! И еще как! Горстка, а чего вытворяют — загляденье!

— Беда и пахаря приспособит!

Один лишь Твердая Рука знал достоверно, кто выучил ятуков столь завидно владеть дубинками. Во всех их действиях чувствовалась школа Анита Непобедимого, хотя самого наставника не было среди них. Маман тоже почему-то отсутствовал.

Две трети войска потерял Курия в скоротечном сражении под Киевом. Сам еле ноги унес. С оставшимися наездниками и частью обоза бежал через Перевесище по старой дороге в дремучий бор, а оттуда подальше, в Степь. Так удирал, что и про племянника позабыл, бросил Мерзю на произвол судьбы.

Наши не преследовали его, озабоченные тяжелым состоянием измороженной столицы и разрушенной предгородни. Надо было поскорее людей напоить-накормить, устранить следы побоища да заняться восстановительными работами. Труда предстояло уйма. Залечив же раны, можно и победу отметить.

Улеб обшарил каждую трофейную кибитку, каждый брошенный огузами шатер, осмотрел каждую группу освобожденных, но сестрицы своей Улии нигде не обнаружил.

Он отыскал Кифу, и они отправились за Неводничи, где временным лагерем расположились ятуки.

На девушке были цветастый сарафан, монисто из варяжского янтаря с золоченой подвеской-лунницей, плотные льняные чулки и новехонькие лыченицы. Обычно непокорные ее волосы теперь украшало височное кольцо, с которого падали на открытый лоб изящные медные трезны. На пальце молочной каплей красовался финифтовый перстень. Щедро одарила ее Ольга за то, что досадила врагам вчерашней пляской и песенкой со стены.

Ятуки встретили их радушно и шумно, как старых приятелей. Кифа со свойственной ей непосредственностью сразу же присоединилась к тем киевлянам, что нашли здесь обильное угощение и сочувствие, уселась в их кругу и принялась усердно черпать деревянной ложкой похлебку из общей мисы. А Улеб попытался выяснить судьбу Анита у того самого коренастого и скуластого человека, кто когда-то с видом заправского менялы предлагал связку беличьих шкурок ему и Непобедимо-му, стоя по колено в море рядом с кораблем. Между ними состоялась презабавная беседа.

— Корабль. Силач. Во-о! — Юноша колесом выгнул грудь, набычился и поиграл мускулами, изображая атлета. — Помнишь? Анит. Где он?

Веселый ятук в ответ сверкнул зубами, взбежал на возвышенность, очутившись над Улебом, и там, наверху, тоже изобразил силача. Правда, грудь у него малость подкачала, не выгнешь ее колесом. Пришлось ему вместо груди выпятить пузцо, чтобы хоть как-нибудь вышло повнушительней. Решив, что мимикой достаточно перещеголял собеседника, он добавил таким горделивым тенорком:

— Маман во-о-о-о-о!

И сбежал вниз довольный.

— Ладно, ладно, — со смехом закивал Улеб, — считаешь, что ваш Маман поболе Анита, пусть. Я не спорить пришел. Ты мне скажи, друг, где Непобедимый?

Ятук не понимал. Тогда юноша сделал вид, будто ищет Анита, зовет, озираясь вокруг. Наконец ятук сообразил, чего от него добиваются, выразительно махнул рукой за горизонт и уже невесело произнес:

— Э, Анит — ек, Маман — ек. Хош, Анит. Хош, Маман. Румы.

Настал черед Улебу недоуменно скрести затылок. Так безрезультатно и оборвался бы их разговор, кабы не пришел на помощь один из сотрапезников Кифы. Этот человек, очевидно, понимал язык печенегов. Долговязый, заросший, он отвалился от мисы с похлебкой, облизал свою ложку, сунул ее за обворы на ногу и, прежде чем удалиться на призывные звуки клепал, доносившиеся с горы, бросил Улебу через плечо:

— Будет без толку молоть-то, кличут на сходку. А кого выпрашиваешь, тут нету. Малый тебе толкует, что обоих нету, разом, говорит, подались в Страну Румов, к грекам, стало быть.

— Вот как, — промолвил Твердая Рука. — Значит, Непобедимый прихватил с собою Мамана. Обзывал его чудовищем, а сам сманил в плаванье. Ну и Ани-тушка, леший бородатый!.. — Он повернулся к подруге, окликнул ее: — Кифа, айда и мы послушаем, что княжич скажет.

Очень нравился смуглянке ее новый наряд, слишком часто попадались навстречу лужицы-зеркала. Иными словами, из-за ее беспрестанных любований собою они поспели лишь к завершению сходки. Пришли, а Свято-слав уже кончил речь. Только всего и расслышали, как сказал он напоследок своего обращения к столпившимся киевлянам:

— Немало народила нас мать-земля, вот и возьмем-ся всем народом да воздвигнем поруганные кровли сызнова. И дружина моя, отложив мечи, разойдется по вашим дворам, поляне, подсобит по совести. А управимся, будет праздник и медовый пир!



ончарная мастерская, в жилой истобке которой Улеб и Кифа нашли себе притулок, была невелика и неприглядна, как, впрочем, и все остальные жилища ремесленников, ютившихся на Оболонье, этом беднейшем предместье Киева.

Закопченный дворик огражден покосившимся тыном. Плоский хворостяной навес на четырех столбах ронял тень на скудельные станки, перед которыми, скрестив ноги, на низких скамейках сидели за работой сам владетель мастерской и три его помощника. Два других подмастерья, мальчики лет восьми-десяти, скребли глину в овражке, таскали дрова от поленицы к очажным ямам или сметали глиняные крошки с залитой солнцем сушильни.

Хозяин гончар-скудельник, жилистый, сухонький, лысый человек с беззубым, всегда полуоткрытым ротишком и с темно-коричневыми складками-мешками под глазами, беспрестанно моргавшими обожженными веками, одной рукой вращал деревянный круг на стержне, прикрепленном к скамье, другой обрабатывал с помощью специальной щепки глиняную заготовку, придавая ей очертания будущей посудыны.

Старшие помощники принимали от мастера готовые кринки, ставили их на свои круги, выглаживали лоскутами смоченной овчины, острыми палочками или гребешками наносили орнамент. Мальчики, в свою очередь, сушили, обжигали изделия и ставили на их доньшках хозяйское тавро.

Кифа бегала к омуту за водой, варила гончарам обед, стирала их фартуки, а в свободные часы усаживалась на колоду и наблюдала за работой мужчин.

Ей было тоскливо в отсутствие Улеба. Не знала, как убить скуку, ведь и словом-то не с кем обмолвиться, сколько ни заговаривай, все лишь кивают бессмысленно и знай крутят свои трескучие деревянныешки. И отлучиться нельзя, Твердая Рука наказывал строго-настрого.

Огорченный тем, что ничего не удалось разузнать про сестрицу, Улеб поначалу собирался кинуться по пятам

за ушедшими к морю огузами, однако его заверили, что каган растерял невольников и невольниц и даже бросил на произвол судьбы многих своих приближенных.

Хоть и порушили степняки большую часть жилищ под Горой, но не успели предать пожару. Из Белграда, из Вышеграда, из Чернигова и Любеча откликнулись умельцы. Даже радимичи прислали своих хитрецов. Потянулись сверху, воротились и корабли иноземных гостей, что отсиживались в лихую годину в тихих заводах Десны и Сожа. Стало в Киеве терпимо.

Крепко подсобил Улеб гончару устранить разруху на дворе, за что и получил на временное пользование крохотную горенку в его доме. Едва кончили плотничать, юноша сразу же помчался в Подолье. Он еще раньше заметил там большую кузницу, призывно гроыхавшую неподалеку от того места, где Киянка впадала в Почайну.

Почти и не видела Кифа возлюбленного. Томилаь, бедняжка, совсем поскучилась. Сжалился гончар, посочувствовал пригожей ромейке. В день объявленного князем праздника хлебнул пива из хмельной дежи, взял Кифу за руку и повел за собой, повелев подмастерьям отправляться на торг без него.

А скудельничек-то лысенький, кривоноженький осоловел, касатик, подбородочек задрал, важно этак ступая, босиком, зато в праздничной вышитой распашонке с поясом при пушистых кистях, вел, словно дочь на выданье, вел смуглянку и привел прямо в кузницу.

Пламя пышет, мечутся молнии, гром гремит под пудовыми молотами. Вот работа сплеча!

Улеб взмок в азарте, никого, ничего не видит, кроме огненной крицы. Остальные вокруг него себе перестукивают.

— Эй, парень! — окликнул его гончар. — Ты бы деву свою проводил к рядам. Поднес бы ей пряников медовых! Праздник нынче!

— Это ты? — удивился юноша. — Что случилось, Кифушка?

Она обиженно потупилась. А скудельник глазками заморгал, рот искривил, вот-вот оттуда, где у прочих ресницы растут, закапает на белую его рубашку с петушками: больно жалостливый старикашка-то. После пива. Укоризненно топнул пяткой, истошно завопил на юношу, потешая других:

— Слыхали, люди добрые! Что случилось? Заморская дева по нему сохнет! А он, душегуб ее, весь чумазый, железяки колотит с утра до ночи! Так и сердечко девичье расколотить недолго!

— Будет, будет тебе, отец, — смутился Улеб, — не срами ты нас попусту. Дело делаю.

— Ить не простая она, заморская! Хорошо ли об нас подумает, скучаючи! — кипятился дедок. — На-ко, держи от меня куну на гостинцы ей! — И сунул деньгу царственным жестом, хотя Улеб и глазом не повел. — Ступай да купи ей пряников!

Накричался, набранился вдоволь и удовлетворенно засеменял прочь, туда, откуда неслась благозвучная музыка дудок и бубенцов, где месили площадную грязь пестрые толпы, распевали коробейники, балагурили шу-ты и от души пировало простолюдье, заполняя низину.

— Белены объелся или хмельного хватил через край? — спросил Улеб у Кифы, кивая на тропинку, по которой резвехонько улепетывал гончар.

— Он хороший, а ты бессовестный. Променял меня на плебейский пот. Точно раб, приковался здесь.

— Это верно, — рассмеялся Улеб. — По душе мне такое рабство! Век бы не отходил от наковальни, век бы только и слушал ее перезвон!

— Много хоть настучал в кошель?

— Кифа, Кифа, чужое дитя... — сказал Улеб: — А и деньги есть, не бойся, не пропадем.

Обнаженный до пояса, он сбросил дымящиеся полотняные рукавицы, подмигнул приятелю, и тот окатил его студеной водицей из ушата. Улеб фыркнул от удовольствия, утерся холстиной, натянул на себя неизменную рубаху из крокодиловой кожи, пригладил ладонями волосы, поклонился ковалям и удалился с Кифой по той же стежинке, что и гончар.

Девушка защелетала, будто птичка, выпорхнувшая из темного дупла на яркий свет. Шла вприпрыжку, опираясь на руку Улеба. Шум и гам массового гулянья волнами катился навстречу.

По зеленым склонам стекались ручейками из лесов и полей крестьяне, а из городища, приплясывая на шаткой гати, спешила через болото к Подолу стольная молодежь. Кто пешком, кто верхом, кто с дружками, кто сам-один.

— Красиво как, господи! — воскликнула Кифа.

— Да, красиво, глаз не отворотить, — взволнованно вторил ей Улеб.

— На веселом просторе дышать легко! Как ты мог запереть себя в дыму средь ужасного грохота!

— Так и мог. Мне варить руду да поигрывать молотом слаще сладкого. Знаешь, Кифа, я все эти годы мечтал о кузне. Вот увидишь когда-нибудь, как работают в Радогоще, залюбуешься. Сколько, бывало, задумывался: конь и меч — хорошо, только забота у жаркой домницы все же лучше для мужей. На родной земле впитал я силушку в руки. Навострил меня вещий Петра, батюшка, ладно бить крицу. На чужой земле научил Анит мои руки сокрушать человека. Мне отцовская наука дороже во сто крат.

— Грех тебе на Анита хмуриться, — сказала она, — вспоминай его с благодарностью. Человека сокрушать, ясно, дело немилое. Но какого? Иного не сокруши, так он тебя не пощадит, вгонит в землю, не посмотрит, твоя ли, чужая.

— Это верно. Разные на миру и там и тут.

— Хватит дурное вспоминать. Бежим, что-то там интересное!

Девки, щелкая орешки, смеялись, повизгивали, шаркались в нарочитом испуге, хлопая сарафанами, опять напирали, норовя потрепать скоморошного медведя. А он, топтыжка, отплясал под дудку положенное и уселся, пасть открыл и давай поглаживать брюхо лапами. Награды потребовал. Потом кто посмелей стали с мишкой бороться. Он, ручной, приученный угождать, подавался даже младенцам. Добрый русский зверюга.

А вокруг, стараясь перекрычать друг дружку, зазывали, приглашали к блинам, пирогам. Хочешь — пей молоко, кисель хлебный, хочешь — бражку с маковыми коржами, а коли карман в дырах — ни того тебе, ни сего, ступай мимо или стой да гляди на имущих, может, и поднесет кто.

Сыплются серебром звуки-бреньки гуслей в руках бродячих слепцов. Тут не товаром богаты менялы, а бойким своим языком. Свистят свистульки, трещат трещотки, и тараканьи бега, и перья летят в петушином бою, и кружится лихая карусель.

Кифа все больше ныряет в лавки, украшения разные примеряет, ткани щупает, кружева и ленты перебирает, приценивается к девичьим цацкам. Улеб же та-

щит ее на площадку для игр и состязаний, огражденную разноцветными кольями. Там пыхтят и куражатся красны молодцы.

Понравилось Улебу биться ладонями на высоком бревне. Заливаясь разудалым смехом, он со всяким расправлялся легко. А внизу, под бревном-то, канава с жидкой грязью. Неудачники падали в лужу, хлюпались в ней, выбирались под градом насмешек.

Вот сквозь гогочущих зрителей вдруг пробрались-проломились какие-то рослые парни. Все до одного в необношенных длиннополых рубахах, непривычно топорщившихся на них, и в соломенных шляпах. Что за ряженые?

Подступились к бревну, по которому прохаживался юноша в ожидании соперника, поглядели на него, на лужу, обвели взглядами притихшую в предвкушении очередной забавы толпу. Один из них, судя по всему, заводила, голубоглазый, белозубый и самый статный, чуть-чуть задиристо прищурился и обратился не столько к дружелюбно улыбавшемуся Улебу, сколько к людской толкучке за своей спиной:

— Неужто всех подряд поывалалял этот немчура?

Толпа невнятно загудела. Улыбка слетела с губ Улеба.

— Эй, оратай, я такой же немой, как и твои хлопы, — сказал он, — коли отложил соху ради веселья, не хорохорься загодя, полезай ко мне, померяемся.

Парни дружно заржали, как жеребцы в табуне, а голубоглазый воскликнул с радостным удивлением:

— Ба! Что же, сродник, проучу-ка тебя, чтоб не шибко нос задира!л!

Голубоглазый властно отстранил дружков, надвинул шапку-бриль до самых бровей, взбежал на бревно по тесовому наклону и принял бойцовскую стойку. Не полез напролом, как предыдущие, и Твердая Рука сразу оценил это. С умелым бойцом встретиться куда приятней, нежели с безрассудным.

Твердая Рука увлекся поединком. Зрители тоже, по видимому, обрели удовольствие, толкались, спорили, бились об заклад. Парни в соломенных шляпах молчали внизу.

Улеб встретился взглядом с впившимися в него голубыми глазами и увидел в них назревавшую ярость.

И огорчился. Одно дело потешное единоборство, другое — растущее озлобление. Ишь противник — гордец, распалился-то как. Пора кончать баловство.

Изогнулся Улеб, резко взмахнул ладонью, и соперник плюхнулся в канаву. Толпа ахнула и отпрянула, отряхиваясь от брызг.

Голубоглазый как ошпаренный выскочил из лужи, ослепленный мутными потоками, отплевывался, шарил в отвратительной жиже трясущимися руками, отыскивал шляпу, чтобы накрыть ею превратившийся в грязный комок длинный локон волос на голой макушке.

Улеб застыл в недоумении и растерянности, ибо не мог сообразить, отчего вдруг народ испуганно разбежался кто куда, почему приятели поверженного двинулись к бревну с победителем, выхватив из-под рубах оружие. Кифа, оставшись на опустевшей площадке одна-одинешенька, тоже онемела от удивления.

Твердая Рука пантерой прыгнул через головы к оградке, выдернул кол, и, наверно, омрачился бы праздник нещадным побоищем, если бы вовремя не отвратил его повелительный окрик:

— Не троньте беловолосого! Все было честно.

Голубоглазый приблизился к Улебу, смахивая руками грязь с лица, оглушенный падением.

Улеб сердито встретил его словами, все еще сжимая кол:

— Ну! Хороши наши пахари, так-то выходят на игры-затеи в своем роду. Ножи хоронят за пазухами, точно глуздыри-лиходеи.

Голубоглазый уставился на него, словно на невидаль. То к своим обернется, то опять буравит Улеба изумленным взором, выжимая при этом подол почерневшей рубахи. Помаленьку народ подходил, возвращался как-то робко, настороженно. Кифа сомкнула брови, взъерошилась воробышкой, вклинилась между ними, заслоняя собой Твердую Руку. А он уже кол отшвырнул, заметив, что парни остыли.

— Еще никто не валил меня с ног, — наконец произнес голубоглазый.

— Меня тоже, — сказал Улеб.

— Ты единственный.

— Хватит, братец, забудь, — молвил Улеб. И добавил без хвастовства: — Не кручинься, мне многих случалось теснить. Не мужицких сынов в холстине, а быва-

лых воинов в броне. Да не на шутовском бревне, а в смертном бою. Обучен этому.

— Гм, и я себя почитал не последним.

— Говорю тебе: хватит затылок чесать. Знаешь, друг, я, признаться, восхитился тобой. Больно ловок ты и умел для простого орателя.

Голубоглазый почему-то поморщился, за ним поморщились и покашляли в кулаки остальные. Кифа между тем тормозила Улеба, просила:

— Идем отсюда. Устала я. Никакого порядка на ваших зрелищах, ни служителей, ни курсоресов. Бедненький мой, напугали кинжалами?

— Что ты, Кифа, я очень доволен! Но если ты и впрямь умаялась, идем. Завтра простимся с Киевом. Надо Улию отыскать. И свой очаг.

Голубоглазый вдруг спросил:

— Ты действительно не из немцев?

— Росич я! Улич! Сговорились вы все, что ли! — взорвался Улеб.

— Так о чем же лопочешь с ней не по-нашему?

— Да ну вас!.. — Улеб досадливо махнул рукой, обнял Кифу за плечи, и они побрели рядышком по тропинке к Почайне, повернули вдоль берега, удаляясь к Оболонью, где уже поднимались предвечерние дымки и таяли в синем небе. На огородах у речки волны вращали поливальные круги скрипучих чигирей. А на дальних лугах раздавались щелчки пастушьих кнутов.

— На чем мы отправимся завтра? Отыщем свой моноксил?

— Нет. Я слышал в кузнице, будто недавно прибыли повозы из владений клобуков и Пересечения. Готовятся в обратный путь не порожними. Можно подрядиться.

— А я видела корабль. Наш, торговый, со знаком Большой пристани Золотого Рога. — Девушка тихо вздохнула. — Анит, наверно, где-нибудь под Константинополем...

— Уж не скучаешь ли по Царьграду? — насторожился Улеб.

Кифа крепче прижалась к нему и шепнула:

— Откровенно? Да. Но останусь с тобой.

— Ваши купцы здесь не в новинку, — сказал Улеб, — уплыть с ними нетрудно, была бы охота.

— Я твоя жена?

— Да, да, да.

— Почему же прогоняешь?

— Я?!

— Бессовестный.

— Всяк у тебя бессовестный да бессовестный. Вот заладила, чудо-юдо пучеглазое. Между прочим, в Радогоще хоромы точь-в-точь как избышка твоего сердобольного горшочника. Не раскасаешься?

— Я останусь с тобой навсегда.

Вот и дворик гончара. Пусто в нем. Хозяин и подмастерья еще не вернулись с Подолья. Улеб прилег отдохнуть на скамье под навесом. Кифа принялась кормить курчат, подсыпая им зерна из сита и кроша мякину. Потом подхватила коромысло с бадейками и вприпрыжку сбежала по тропинке в лопухах прямо к берегу за свежей водицей: надо кашу сварить, тесто замесить да испечь. Завтра поутру снова крутиться гончарным кругам, а какая ж работа натошак.

Улеб поднялся. Не годится, чтобы дева одна хлопотала. Он выбрал дровишек посуше из поленницы под стеной, распалил костер меж двух камней, взял метлу, подмел двор, сушильню почистил, поубрал черепки и щепы вокруг обжига. Кифа явилась с реки, похвалила. Приятно. Сам хорош, и женка у него будет не ленивая, значит, и семья ладная.

Мягко опустился вечер, серый, густой, как оседающая пыль. Зацвиринькал сверчок в приступках крыльца. Огоньки замерцали дивной россыпью до самых лесных стен, что тянулись черными щетинами от днепровских круч.

Далеко-далеко, за Вышеградской дорогой, под Горой, на обширной цветущей долине, разделявшей Уздыхальницу и Олегову могилу, на стыке двух речушек, занялась костровая зарница молодежной сходки. Парни бросали венки в чистые струи Глубочицы, а девицы — в Киянку. Чьи венки прибьются-встретятся в месте слияния быстрых вод, тем и суждено ходить парой всю ночь в озорном хороводе. Вот и бегали бережками за течением за своими венками с замиранием, с трепетом, с нарочитым хохотком, гадая, который дружок или какая дружка выпадет, нечаянный или желанная.

Гой да, Рось-страна,
Песня русская,
Всем нам матушка
Ты единая,

Светла и прекрасна ночь над всеями. То не звездочки-веснушки в сиреновой вышине, то отражение земных цветов, день передал их небесной тверди сохранять до утра. Улеб стоял у плетня, любовался.

И вдруг:

— Слышишь? Скачут к нам. Не скудельник с ребятами, а какие-то ратники.

И правда, простучали, прошуршали в траве копыта. Четверо всадников спешили у ограды, где Улеб стоял, подошли к нему. А коней было пять, он приметил.

— Вот ты где! — сказал один из прибывших. — Узнаешь?

Улеб внимательно оглядел рослых воинов, покачал головой, обронил:

— Не припомню чтой-то. Обознались вы.

— Тебя, брат, нельзя запаятовать. Собирайся. Поедешь с нами. Мы тебе и коня под седлом прихватили.

— Вот как! — Улеб скользнул взглядом по широким ножнам, что висели у бедра каждого, крикнул Кифе по-эллински: — На гвозде у изголовья! Сама же запрись!

Незванные гости моргнуть не успели, как смуглянка метнулась в избу, снова выскочила на крыльцо, бросила юноше его меч, опять юркнула за дверь, приникла изнутри к слюдяному окошку.

— Повтори-ка, — сказал Твердая Рука, — зачем пожаловали?

— Не балуй, собирайся. Великий князь тебя требует.

— Князь?! И в глаза-то меня не видывал. Нет, не знаю я вас, не верю. Убирайтесь.

— Не дури, тебе говорят.

— Почему с оружием заявились? Этак я не люблю.

— Мы же гриди! Ты что, с неба свалился? Мы дружина его.

— Да как будто похожи... На что я великому понадобился? Обознались вы, не иначе.

— Ну, брат, всяких встречали, а такого еще не бывало, — загалдели воины, — где это слыхано, чтобы с княжескими гонцами пререкались да наказу владыки перечили!

Улеб обернулся к окошку, кивнул Кифе, дескать, не

волнуясь, молча сел на коня и помчался с ними к Горе напрямик.

В Красном тереме носилась как угорелая челядь, из распахнутых настежь окон и дверей лился яркий свет. В белокаменной Большой гриднице дружина справляла трапезу.

Улеба провели через верхние хоромы, где пировали бояре, не воины, к укромной палате, оставили в ней, наказав ему ждать, и скрылись. Шум пиршества проникал в эту пустую, огромную, гулкую комнату сквозь плотно задернутый полог.

Вскоре прибежал всклокоченный паробок и крикнул:

— Ступай вниз! Княжич жалуется тебе место в гриднице!

— Вы что это, малый, потешаться надо мной вздумали? — осерчал Твердая Рука. — Уже вели мимо гридницы. Теперь сызнава мне толкаться среди хмельных? Не пойду! Он меня звал, пусть сам и поднимается. Я вам не шут гороховый бегать туда-сюда.

Паробок даже подпрыгнул, услышав такую дерзость. Глазами на юношу хлоп, хлоп. Попятился и канул. Снова оставшись в одиночестве, Улеб малость поостыл, что-то екнуло в груди: не слишком ли погорячился? Князь ведь требует, не кто-нибудь. Он и за морем слыхивал, как жесток Святослав. Что сейчас будет?..

Не прошло и десятка минут, как внезапно оборвались голоса за пологом, громыхнули лавки-скамьи, должно быть, бояре повскакивали со своих мест, пропуская кого-то. Всколыхнулся полог, вбежали два воина, замерли по бокам входа. Всколыхнулся полог еще раз, и ступил в палату вождь россов.

— Фью-у-ить!.. — присвистнул Улеб и почесал за ухом, а брови его поползли на лоб. — Выходит, я великого князя с бревна да в грязьцу... Дела-а-а...

Голубоглазый уставился на юношу точно так, как и давеча на Подолье. Только был он уже не в замызанной крестьянской холстине, не под шляпой соломенной, не в лаптях, а в белой с золотом одежде, при сереге и в сапожках.

— Ну, строптивый, — изрек Святослав, усмехнувшись, — на кол тебя?

— Прости, — отвечал Улеб и коснулся рукою пола, — недостойн я сидеть с кубком подле славной дружины.

— Не лукавь, ты достоин, коли умудрился меня самого свалить с ног при народе. Ты мне люб. Иди ко мне тысяцким.

— Нет, княжич, я вернулся из дальних стран, чтобы снова ковать железо.

— Откуда родом?

— Я Улеб, сын Петри из Радогоща, что в земле уличей.

— У меня братец есть, тоже Улебом звать. Мой тебе не чета. — Святослав вдруг замыслился. — Улеб с Днестра-реки? Улеб из Радогоща? Уж не тот ли ты, про которого Боримко сказывал втапору? Жгли вас люди в одеждах болгар? Бился с ними на пепелище много весен назад?

— Не болгары то были, а степняки! Где Боримко?

— Знаем, знаем теперь, что не болгары были.

Святослав встряхнулся, резко глянул на стражников, и один из них бросился прочь, повинуясь безмолвному приказу. Князь же Улебу как во сне:

— Сейчас Боримку покличут. — И второму стражнику: — Запроси сюда и матушку, коли бодрствует. Будет что повидать в нашем празднике.

Вскоре в комнату ворвался Боримко, и обнялись они с Улебом крепко-крепко. Мяли-тискали один другого, хлопали по плечам, все не верили, что встретились после долгой разлуки, что и князь проявил такую благосклонность, редкую для него. Ухмылялся Святослав самодовольно, будто умышленно подстроил это свидание на диво подданным.

— Ай да молодец! — ликовал Боримко, тормоша Улеба. — Добрался к нам из греков!

— Почему ты здесь? — Улеб тормошил Боримку.

— Я в стольной дружине! В Радогоще не хуже прежнего! Лишь тебя и других вспоминают, оплакивают.

— А откуда узнал, что я был у ромеев?

— Да от Велко же! Мы с булгарами ныне в братском союзе, одним войском стоим в глотке ромеев.

— Велко?! — Улеб даже присел.

— Ну да. Он, чеканщик, прибил к нам вместе с многими. Все болгары, кто под греками был, стали в полки. И у нас и у них равный спрос с Царьграда за подлоги.

— Значит, Велко из Расы живой...

— Еще как живой! Первый лучник в войске-то!

— Где сейчас? — спросил Улеб трясущимися губами.

— За Дунаем, в Переяславце. Там и наши остались. Мы ведь малым числом отлучились оттуда, чтобы Курю прогнать. Скоро снова туда воротимся. — Боримко поклонился Святославу и опять повернулся к Улебу, возбужденный, счастливый. — Как я рад тебе! Когда был?

— Месяц, считай. Славный день! Завтра с Кифой, своею суженой, собираюсь к родителю.

Святослав что-то больно размилостивился, извлек из-за пояса золоченый медвежий клык со своею печаткой, протянул его Твердой Руке.

— Принимай мой особый знак. С ним легко достигнешь своего сельца. Предъяви на заставах, свежих коней дадут.

— Вот те на, — удивился Улеб, — я видел однажды подобный на шее у Лиса. Как он попал к лиходею и обманщику?

Святослав потемнел лицом, сказал:

— Служил у меня, будь он проклят под землей и в небесной тверди! Он убит. Давняя то история, твоим же булгарином и поведена нам в Переяславце.

Улеб только глазами хлопал. Боримко осмелился пояснить:

— Обо всем доведались. Издыхая, Лис сам отдал Велко похищенный у покойного Богдана медвежий зуб и признался, что был в сговоре с важным ромеем, что царьградский посол науськал Курю на Радогощ, и степняки так набег подстроили, чтобы мы заподозрили болгар. И еще Лис признался, что тебя завлек в западню, в безысходное плаванье, да и Велко чеканщика хотел погубить.

— Ихний цесарь, я слышал, готовится дать нам великий бой, — сказал Святослав. — Скоро, должно, сойдемся в сечи. Ты бы, Улеб, пошел ко мне тысяцким, по душе твоя удаль.

— На сечу с ромеями я согласен, — сказал Твердая Рука, — буду там, помяни мое слово. А сейчас хочу в Радогощ. Истосковался по родичам, скитаюсь окрай света. Я надеюсь сестрицу свою повидать. Все мне чудится, будто спаслась она от каганского плена.

Тут Боримко подскочил:

— Не в степи она и не дома. Куря отдал ее вместе с

прочими былому послу из Царьграда. Велко видел Улию в малой крепости этого грека, пытался вызволить, да тщетно. Неужто не знал?

— Быть не может... — Улеб прислонился к стене. Потом ринулся к Боримке и затряс его что есть силы. — Поклянись!

— Чур тебя, сполоумел, что ли? — Бедный воин едва не задохнулся от немыслимой встряски. — Коли за каждую вестъ хватать да мотать меня этак, вовсе язык отвалится. Говорю тебе: там она.

— Вот что, — молвил Твердая Рука, и взгляд его загорелся, — нынче поутру опять двинусь к ромеям. Я без Улии домой не вернусь, я в ответе за всех пропавших. Ты, Боримко, отвези мою женку, Кифу, в Радогощ, пусть ее примут пока без меня. Объясни батюшке, что и как, сделай милость.

— Охотно! Только как же ты без Велко? Он с Улией сердце разделил. Надо вам разом, не простит, узнавши, что его обошли. Да и лук его меткий — большое подспорье.

Улеб глянул на князя с мольбой.

— Дозволишь, великий, моему побратиму оставить войско на время?

— Я булгарину не указ, — ответил Святослав. — Запросил бы, скажем, Боримко — гридям нельзя отлучаться в такой час.

— Ах, княжич, — только и вздохнул Боримко.

— Чу, матушка сюда идет, — молвил князь. — Нука в гридницу! Пируйте себе и ждите нас! Все долой! Кроме Улеба.

Нехотя удалился Боримко вслед за стражниками.

Комнату уже заполняла пестрая свита Ольги. Сама она, седая, в темном одеянии, как монахиня, вошла, постукивая клюкой. Девки живо подставили ей скамеечку, набросали подушек — села. Дряхлый священник Григорий стал по один бок от нее, а телохранитель Гуда, точно старый медведь, по другой.

— Звал меня, дитятко?

— Не жури, матушка, что беспокоил. — Святослав склонил колено и поцеловал ее руки. — Не знаю, зачем и позвал. Видишь ли, тут случилась встреча. Ты ведь любишь глядеть, коли что случается. А уж все позади.

— Не сержусь, — прошептала. — Кто ж кого встречал?

— Да вот богатырь из уличей и Боримко наш случайно сошлись под твоей кровлей после различных лет.

Улеб выступил из притененного угла к светильнику. Княжич опустил руку на его плечо, подвел ближе к скамейке, где восседала княгиня, продолжил:

— Осчастливил его твой дом, матушка. Все считали его погибшим, а он, вот он, воскрес, что твой бог!

Ольга вдруг улыбнулась Улебу и сказала:

— Вот ты где, сокол. Сам прилетел. А я уж Гуду загоняла: разыщи да разыщи того отрока, что Претича надоумил. Ты чего, гордец, от моей награды схоронился?

— Богатырь и тебе знаком? — удивился Святослав. — Что он еще натворил? Меня, князя, в грязищу сшиб на гулянье, а тебе, матушка, чем услужил?

— Не одной мне, всему Киеву. Ловко бился с печенегами на стане, да еще ловчей обхитрил их и заставил Претича пошевеливаться. Смелый отрок. Я запомнила его имя. Как не запомнить, коли оно у него, как и у непутевого твоего брата.

Святослав легонько толкнул Улеба локтем, и тот догадался наклониться и почтительно чмокнуть протянутую руку Ольги. Ощутил под губами холодные, тяжело пульсирующие жилки под дряблой кожей.

— Где таился все это время? — спросила она.

— Приспособился в Оболонье у мастеровых людей, — ответил Улеб.

— А чернавка твоя где? Как ее, дружку-певунью... Фия, Фика... нет, нет...

— Кифа, — подсказал он. — Она, мати, со мной.

— Тут, в тереме?

— В пригородне. Меня дожидается на дворе у скудельника, где столуемся.

Ольга глянула на сына, Святослав — на ее молодых боярок, грюкнул:

— Ну-ка, девки, бегом! Пусть Иванко! Живо!

Посыпались из комнаты, как горох из пригоршни, крича уже с порога:

— Иванко! Иванко-о!

Улеб смущенно пожал плечами: для чего, мол, весь этот сыр-бор. Дескать, чудной народ в княжьем роду, и зачем только шум поднимают, если ни он, ни Кифа в ласке их не нуждаются. Однако смолчал, не осмелился

отказом задеть хозяев Красного двора, тем более что не почуял себе унижения.

Между тем княгиня обратилась к сыну:

— Оставь его в Киеве вместо Претича.

— Невозможно, матушка, — отвечал Святослав, — он уйдет со мной на Дунай. Претич же научен, а огузы больше не сунутся.

Улеб встрепнулся.

— Нет, княжич, — возразил он, — я с дружиной не могу. У меня своя забота. Ты обещал не неволить.

— Успокойся, — сказал Святослав, — тебе не запрещаю искать сестрицу. Ты намерен взять в напарники Велко, а где он? В Переяславце. Вот нам и по пути туда. И с девой-то своей будешь, считай, до самого Пересечения. Там Боримко свезет ее в Радогощ и догонит нас. Я все помню.

— Спасибо тебе, — кивнул Улеб.

— Ну и ладно, — молвила Ольга и поднялась, — пойду я. И тебя, сын, заждались небось твои нехристи. Слышь, как горло-то дерут да посудой грохочут вниз. А отрока этого одари. Отдай ему, что ли, двух-трех полоненных огузов, пускай поставят ему дом на Днестре. Он ведь, сказывала я тебе, наквазил их в захапе множество. Его добыча по праву.

— Ничего мне не надо, — сказал Улеб, — не желаю их видеть. Сам срублю избу для женки, не маленький.

— Будет, будет ершиться-то, — громыхнул Святослав, — совсем, гляжу, распоясался! Нет так нет, а гордынею не размахивай.

Простучала клюка Ольги и затихла. Удалилась и свита ее. Княжич с Улебом тоже ушли. С новой силой грянуло пиршество в верхних покоях.

Обильное пламя факелов освещало на внешних тесовых подпорках гирлянды цветов и подвесные охапки благовонных трав: чабреца, девясила, тимьяна, выхватывало из сумрака белые стены, бросало пляшущие отблески на плоский лоснящийся деревянный лик Перуна, и от этого казалось, будто идолище подмигивало и гримасничало, поощряя окружающее веселье.

Улеб внезапно остановился и молвил:

— Покажи мне огузов.

— Ага! Все же любишь подарки!

— Мне они не нужны, — сказал Улеб, — покажи только. Что-то стало охота. Уважь прихоть.

— Пойдем. — Князь кликнул слуг: — Эй, кто-нибудь! — И, когда те подбежали, направился в глубь двора впереди всей ватаги.

Гриди отомкнули ближайшее дощатое вместилище, посветили. Огузы зашевелились, повскакивали, сгруппировались, точно стая загнанных волков. Дружинники князя морщились, а сам он плевался, как невоспитанный подпасок. Улеб внимательно оглядел всполошившихся пленников и вдруг воскликнул:

— Я как чувствовал! Здесь один из них! Вот он! Сам Мерзя попался!

— Что ты чувствовал? Кто попался?

— Один из тех, что пожгли Радогощ и наших угнали. Он был главным у них. Это он меня сзади дубиной-то. Ну сейчас я ему все припомню!

— Толмача сюда! — крикнул Святослав так, что пошатнулись стены конюшни и огузы присели в страхе. — Боримку зовите! Всех сюда! Еще одно свидание у нашего Улеба! Я придумал потеху, коли так!

Сбежались на крик все, кто был поблизости: и знать, и мелкая чадь. Дружина гурьбой повалила из гридницы, дожевывая куски на ходу и утирая рукавами пену питья на губах. Выволокли опознанного в самый круг. Боримко тормозит Улеба, очумело бормочет:

— Что такое?

— Признали убийцу уличей! — понеслось по толпе.

Князь живо объяснил толмачу суть дела, и тот долго по-печенежски втолковывал что-то озиравшемуся огузу, при этом указывал пальцем то на Улеба, то на Боримку, то на кромешную даль ночи. Степняк слушал. Потом сам залопотал быстро-быстро. Затем снова толмач.

Все уже устали ждать конца затянувшегося непонятного их разговора. Наконец огуз принялся, завывая, колотить себя в грудь и по скулам. В два прыжка подскочил к Твердой Руке, и не успел юноша опомниться, как степняк лизнул его щеку.

Улеб содрогнулся от отвращения, схватил наглеца поперек мехового кафтана, так отшвырнул, что тот отлетел, как ядро из пращи.

Толмач сообщил Святославу, о чем толковал с печенегом, и князь объявил:

— Он племянник кагана по имени Мерзя. Он сознался и признал улика. Ну, еще он Курю ругал, себя оправдывал.

Закричали в ответ возмущенно:

— Нет пощады ему!

— Судить нунь же!

— Смерть убийце невинных!

— Деревьями разорвать!

— На Перунов костер его!

Святослав поднял руку, унял голоса, вынес свое решение:

— Пусть же Улеб и его угостит дубиной.

— Не хочу карать безоружного, — сказал Твердая Рука. — Не могу.

— Я могу! — Боримко выступил в круг. — Дайте мне отплатить этому за слезы родичей!

Но Улеб его отстранил, предложил:

— Надо так. Мерзя отсчитает их своих ровно столько, сколько напало на наше село. Принесите им сабли. Вот мой меч. И сойдемся. Не осилю, гоните их в шею на все четыре стороны.

Толмач перевел Мерзе требование юноши. Тот закивал, отобрал себе подмогу. Загалдели огузы, довольны. Еще бы, двенадцать против одного. Уже видели себя безнаказанно бегущими на все четыре стороны. Принесли им сабли. Стали они в ряд, смотрят на светловолового чудака, что сам напросился на погибель, ждут сигнала.

— Многовато их, — зароптали росичи.

— Ой ли, справишься? — сказал Святослав. — Я дозволю, но только вдвоем с Боримкой.

— Хорошо, можно так. Отойдите, братцы, — сказал Твердая Рука, — наше теперь дело.

В этот момент, как нарочно, на горячем коне подошел Иванко, доставил Кифу, как Ольга велела.

Увидела смуглянка, что милый ее с обнаженным мечом рядом с каким-то воином против дюжины сабель в центре круга из щитов безучастных дружинников, рванулась к нему, повисла на шее — не оторвать. Закричала как резаная, прямо сердце зашло у каждого.

Малуша-ключница, любимица князя, поддержала несчастную криком:

— Деву жалко, а вдруг потеряет ладо! Ах, мужи, хватит кровью куражиться! Не оскверняйте хоть праздник наш! Не дозволю им, княжич!

И князь, подумав, отменил бой, хоть Улеб с Боримкой пытались протестовать.

Малуша взяла Кифу под руки, проводила в сени к праздничной трапезе. Мамки-няньки приветливо встретили юную гостью, плясунью заморскую, окружили заботой на Красном дворе.



Глава XXV

описываемые времена был год, отмеченный утратой в трех странах, связанных между собой нашими сказаниями. На Руси, в Бугарии и Византии.

Года 969-го, месяца июля, дня одиннадцатого умерла великая княгиня Ольга. Почила тихо и покорно от неизбежного недуга всех людей, от старости. Следуя древнему обычаю, поляне положили ее в днепровскую ладью, пронесли на плечах через град, посад и предгородню туда, где сама когда-то присмотрела место для собственного жальника. Хоть и была причастна к христианской вере, оплакивали ее как всех предков на родине. Хоронили не в саях, как то делалось в зимнюю пору, а в лодке, поскольку лето стояло. Еще когда жива была, успел проститься с матушкой Святослав. После тризны отпрысков своих так определил: Ярополк оставил в Киеве, Олега отослал в Искоростень править Деревской землей, а побочного сына, малолетнего Владимира, отдал Новограду, раз уж сами новгородцы запросили его. Свершив это, Святослав воротился к войску за Дунай.

Года 969-го умер болгарский царь Петр, сын Симеона, того самого бесстрашного, знаменитого Симеона, что в свое время провозгласил себя «царем болгар и греков», терзал ромейские армии как никто иной до него и как никто иной до него расширил границы придунайского государства. Как и Ольга, почил Петр от скончания лет своих. Погребли его под церковный звон и заупокойные моления монастырской братии. Старший сын его, Борис, принял власть. Чтой-то поначалу не поладили они с русским княжичем, случилась меж ними ссора со всеми бранными последствиями, однако вскоре Святослав признал его полномочным, законным владетелем,

и сошлись они в общих помыслах о возмездии Константинополю.

Года 969-го, месяца декабря, дня одиннадцатого не стало византийского василевса Никифора Фоки. Суровый воин, носивший после гибели сына власяницу, в рот не бравший вина и мяса, более чем полжизни проведенный в походах, взявший сто городов мечом, почил насильственной смертью в своей же столице. Его жена Феофано ночью впустила в императорские покои своего любовника Иоанна и его воинов. Так был убит василевс. Отгремели колокола, пролили крокодиловы слезы наемные плакальщицы, скорбно прокатили катафалк на виду у горожан и храмов сами же убийцы. Ну не сами, так те, что направили их. Иоанн Цимисхий надел окровавленную диадему. Взял трон крупнейший воитель и землевладелец из Малой Азии, в поместьях которого трудились сотни париков. Стал править еще рабовладельческим и уже феодальным своим государством, могучим, как прежде.

* * *

Улеб Твердая Рука отправился вместе с дружиной Святослава на Балканы.

Чтобы сэкономить время и не тащить за собой сумных коней (князь, мы знаем, страсть как не любил обузу в походах), Святослав намеревался преодолеть этот путь по течению реки и моря в парусных насадах. Однако стало известно, что Куре удалось быстро собрать и усадить в низовьях Днепра, от порогов до лимана, все уцелевшие племена Степи, кроме ятуков.

Именно ятуки, преграждавшие Черному кагану подступы к землям соседей своими новыми поселениями, сообщили о том, что Куря встает и ложится с мечтой о питьевой чаше из черепа киевского владыки. Княжич хмыкал в ответ. Но осмотрительные мудрецы уже в который раз советовали не плыть, а воспользоваться давно проторенным путем посуху. Они предостерегали:

— Увязнешь у моря, день и ночь отбивая засады. Степь не выйдет на открытый бой, будет рвать клочья, а и тем задержит. Управишься с Царьградом, тогда и плыви вспять, коли охота в ладье покачаться и с разбойными нападениями порубиться играючи.

— Будь по-вашему, — согласился, подумав, — дви-
нем в седлах.

Близ Пересечения простился Твердая Рука с Кифой; пообещав, что вернется с удачей. Боримко отвез ее в Радогощ, вместе с сыновним приветом Улеба родимому сельцу.

Хромой Петра и все сородичи очень радостно встретили весть про Улеба, молодую жену его приютили-приняли охотно, заботливо. Вскоре накрепко полюбилась она улицам. Хоть, как говорится, и чужого поля ягода, но пригожа, уживчива. Нрав у Кифы веселый, приемлемый, неленива она — это главное. А речи местной скоро выучится с новыми подружками-балаболками.

Догнал Боримко соратников. Святослав пожурил молодого воина, что задержался на Днестре сверх дозволенного, но наказывать не стал. Боримко ведь исполнил просьбу Твердой Руки, своего славного земляка, в котором княжич души не чаял.

Улеб и Боримко ехали рядом. Бесконечны расспросы первого, терпеливы ответы второго. Ни на шаг не отлучались друг от друга, все не могли наговориться о Радогоще, все вспоминали минувшее детство, все о будущем грезили.

Мерно стучали по широкому тракту копыта коней. Ровными рядами поблескивали начищенные шишаки шлемов. Развевались разноцветные косицы на копьях. Полыхали червленые щиты за спинами.

Тепло и солнечно вокруг. Налились соком гроздья тучных виноградников на крутых склонах, плоды айвы благоухали, вдали дышали прохладой непроходимые горные пущи, а земные впадины были устланы цветами.

— Ой ликовал наш вещий, как услышал, что я тебя отыскал! — в сотый раз рассказывал Боримко.

— Это я тебя отыскал, — замечал Улеб.

— Кто кого — одна радость! Петра меня прямо в медушу пихнул, а там пива-а-а!.. Три дня голова гудела. Потому и задержался.

— Руды у наших хватает?

— Добывают помаленьку.

— Где?

— А за речкой у тиверцев.

— Кузнь идет хорошо?

— Каждое седьмое утро снаряжают повоз. Живут, не мрут. Не только Фомка-коробейник зачастил, множество их, менял, заглядывает.

— Я вернусь, лучше будет, — приговаривал Улеб мечтательно.

— Известно, — согласился Боримко, — ты большое подспорье.

— Знаю сокрытый клад в Мамуровом бору. Там железа в болоте полным-полно. Без меня, поди, накопилось.

— Я бы тоже домой помыслил, да привязался к войску — не оторвать. Да... Кифа, дружка твоя, приглянулась всем. И про Улию, конечно, только и пересуды. Петря сызнова колесо от телеги поднял на стреху. Пусть всяк видит: есть в истбе девица на выданье. Верит, что привезешь ее.

— Отыщу, если жива, — молвил Улеб.

— Хоть и на чужбине, а жива. Жива!

— Жива, — повторил Улеб. И сказал вдруг недовольно: — Понапрасну батюшка колесо поднял напоказ, она уж засватана.

— Я рассказывал в Радогоще про Велко, — подмигнул воин, — объяснил все по чести. Петря взгромоздил колесо для виду только, на радостях. Ты не бойся, вещей не воспротивится, отдаст дочку за чеканщика, коли люб он ей. — Боримко залился смехом. — Бедный Петря! Сколько ртов-то навалится сразу! И ромейка тут, и болгарин, и своих двое! Вот счастливы! Две невиданных свадьбы гулять уличам!

— А и правда! — рассмеялся и Улеб. Но вдруг уже озабоченно: — Быть бы этому.

Пересекли вброд дунайский приток Серет и направились вверх по левому берегу великой реки. В пути прибил к ним небольшой отряд угров на высоких тонконогих лошадях с притороченными к седлам связками дротигов, с диковинно изогнутыми, непомерно большими луками на плечах, с овечьими лихо заломленными шапками на головах, сдержанные в словах и порывистые в чувствах, как все горцы.

На болгарской земле повсюду селяне собирали фрукты в полудиких садах, били дичину, вялили и солили мясо и рыбу на зиму. Подобно крестьянам трудились, копошась в скудных наделах, монашеские общины.

Прохладным полднем пришли в Переяславец, запруженный разноязыким воинством. Там и свиделись наконец Улеб из Радогоща и Велко из Расы.

Время было тревожное. Готовились к битвам. Шли учения, маневры, выгуливались, набирались сил табуны боевых коней, изготавливалось и оттачивалось дополнительное оружие, шились стяги, плелись и ковались щиты, пополнялся провиант. Встретиться с прославленными армиями Византии — дело нешуточное. Всякий то понимал в дружине неистового Святослава, решившего дать бой ромеям.

Улеб и Велко обнялись по-братски крепко и молча. Затем рассказали друг другу о пережитом, обстоятельно обсудили задуманное.

В нелегкой службе прошла зима, лето. А осенью, раздобыв необходимое снаряжение и опять же до поры простясь с товарищами, отправились побратимы пешком в далекую Фессалию, поскольку были убеждены, что Улия по-прежнему томилась там.

Не досужая прогулка в чистом поле. Случались стычки, погони. Иной раз и отсиживались: рисковать нельзя. Акриты в пограничных городах были бдительны как никогда. Тучи сгущались на рубежах. Аристократы жаждали бойни, лелея надежду на захват новых земель. Простые же люди, особенно земледельцы, уставшие от слишком частых опустошительных передвижений своих и чужих войск, со страхом ждали лишений, которыми всегда чреваты для них войны господ.

Твердая Рука и Велко не имели проходных листов. Как ни старались быть осторожными, как ни пытались избегать лишних столкновений, а все же доводилось им прокладывать путь мечом и стрелами сквозь заставы на дорогах. Да и разное бывало. Там выручат обездоленного, там спасут, уж такие они сроду, Улеб и Велко, что не могли пройти мимо вопиющей несправедливости или чьей-то беды.

В народе появились были и небылицы о благородных скитальцах и похвальных их поступках, а в среде богачей и насильников поползла злобная молва о двух таинственных и неуловимых варварах-смутьянах, Твердой Руке и Метком Лучнике.

Пешком, известно, какая резвость. Да к тому же еще с постоянной оглядкой и приключениями.

Теплой византийской зимой они все-таки добрались до Фессалоники, где приобрели лошадей в обмен на серебряные слитки из числа полученных в свое время от Святослава вместе с напутствиями. В седле больше приметен, зато верста чудится шагом. Верховом они отправились в имение Калокира.

— Увезу ее в Расу, — мечтал болгарин.

— В Радогощ поедет моя сестрица, — перечил росич, — только там ее дом и отрада.

— Ну уж нет! Мы с ней условились!

— Мало что вы улавливались. Я поклялся вернуть ее уличам.

— А я поклялся вернуть ей волюшку! — кипятился чеканщик. — Ты-то кто ей?

— Братец родной.

— А я суженый! Ох, не погляжу, что ты...

— Договаривай! Договаривай! — Улеб взорвался. — Иль забыл, что я Твердая Рука!

— А я Меткий Лучник!

— Да я!.. — Улеб даже лошадь попридержал. Но вдруг подавил в себе негодование. — Слушай, Велко, довольно нам ссориться. Сестрица поедет куда пожелает.

— Мы с нею навеки, знаю.

— Вот и будешь вместе с нами на Днестре.

— Лучше ты вместе с нами в Расе.

— Сама порешит, как быть.

— Ну и посмотрим.

Обоих подстерегло ужасное разочарование в первый же день пребывания у злополучного кастропа. Улии в нем не оказалось. Кого из добрых людей спроси, все в один голос:

— Красивую невольницу хозяин забрал к себе. Давным-давно присылал слугу за Марией.

— Где, где Калокир? — переспрашивали.

— Бог его знает, где-то в армии, — отвечали, — сам сюда вовсе перестал наведываться. Лишь как-то нагрянули издали воины с его приказом, перебили тут некоторых, а главного их, Блуда, связали и уложили.

Друзья допытывались снова и снова, отказывались верить ушам своим. Улеб проник в укрепление, все разузнал поподробнее, перепроверил — не обманули. Осунулся с горя, часами понуро сидел на поваленном

дереве в каштановой роще, где Велко по старой памяти избрал постой для лошадей.

— Все толкуют... Мария, Мария... Почему Мария?

— Нашу Улию, — вздохнул Велко, — так объявил Калокир. Ладно, будем искать повсюду. Калокир — стратига, патрикий, человек видный.

Проезжая мимо обрамленного густым тростником круглого озерца посреди каменистой низменности, Велко воскресил в своем рассказе картину неудачного побега с Улией, поединка дината и Лиса. Напоминание о потерянном огненном жеребце усугубило и без того очень мрачное настроение Улеба.

Решили пробираться в столицу. Там есть дом Калокира, болтливые слуги. Опасно, конечно, да что делаешь.

А однажды в скромной придорожной корчме довелось Твердой Руке и Меткому Лучнику услышать кой-какие новости.

Они сидели за ужином в полутемном углу, как всегда избегая общения с посторонними без нужды. Время было вечернее. За плотно заколоченными окнами противно завывал мокрый холодный ветер. Изредка раздавался скрип проезжавших мимо повозок. Зябко покрикивали погонщики, тяжело хлюпали копыта буйволов в зимней распутице.

В корчме было тепло и шумно. Кто победней, находил здесь овсяную или тыквенную кашу и горячую подслащенную воду. Кто побогаче, удовлетворялся куском дымящейся говядины и молоком. Знаменитые ромейские виноградные напитки, столь обязательные в домах империи, здесь почему-то не подавались. Вероятно, настали самые черные дни заведения.

Некоторые гости, утолив голод и жажду, тут же, не вставая из-за столов, засыпали, уронив головы на руки. Улеб и Велко намеревались последовать их примеру. Им частенько приходилось коротать ненастные ночи в таких вот малоприметных заведениях на отшибе больших дорог.

Внезапно в корчму ввалился воин. Весь его усталый вид указывал на то, что прибыл он издалека. С порога окинув равнодушным взглядом притихшую при его появлении чернь, он заметил в укромном углу двух насторожившихся юношей своего ранга и не замедлил направиться к ним с воинским приветствием.

Велко, который временами проявлял горячность, приподнялся, чтобы испытать прочность его черепа увесистой амфорой, но Улеб мигом водворил друга на место. С изысканной вежливостью ответив на приветствие вошедшего, Твердая Рука подвинулся на скамье и жестом пригласил его к столу.

— Дьявольская погода, — весело ругнулся ромей и хлопнул ладонями, призывая хозяйку. — Тащи свое пойло, ведьма!

Женщина безропотно принесла мясо, кашу, воду, хлеб и молоко — все сразу.

— Вина!

— Не прогневайся, защитник наш, — сказала она, — нет ни капли.

— Значит, все тут аквариане? Вот неудача!

Улеб этак по-свойски поинтересовался:

— В Константинополь держишь путь, приятель?

— Напротив, из Константинополя.

— Что слышно в благословенной твердыне нашей? Давненько не видывал я столицы. Мы с ним, — Улеб кивнул на Велко, — сражались с норманнами в Калабрии во имя непревзойденного отца храбрых римлян Никифора Фоки, да воссияет он вечно, незыблемый светоч Священного Пала...

— Что?! — прервал его воин, вытаращив глаза.

— А что?

— Когда прибыли из Калабрии? — удивленно спросил ромей.

— Прямо оттуда. В чем дело, приятель?

— Фоку вспомнил? — воскликнул тот, как видно, проникаясь сочувствием к несчастной братии, вынужденной служить в несусветной провинции, куда свое временно не долетают даже такие важные известия. — Хвала богоугодному повелителю христиан Иоанну Цимисхию!

— Слава Цимисхию! — гаркнул Улеб и толкнул под стол ногу Велко.

— Слава Цимисхию! — гаркнул и наш болгарин.

— Слава-а-а! — завопили присутствующие, обожженные взглядом солдата. Спавшие очумело повскакивали на ноги, решив спросонья, что вспыхнул пожар.

— Значит, ты был свидетелем большого зрелища на ипподроме? — спросил Улеб.

— Величайший праздник! — последовал восторженный ответ.

— Завидую тебе, приятель, — сказал Улеб и вновь подтолкнул Велко.

— Завидую тебе, — сказал и тот, поглаживая амфору.

— Я слышал, почему-то уже не выходят на арену бойцы главной палестры, — продолжил Твердая Рука, — их именитый наставник куда-то запропастился, это правда?

— Верно. Анит Непобедимый долго был в изгнании, но вернулся с триумфом. — Солдату явно льстила собственная осведомленность. — Сам он, Непобедимый, уже не тот. Зато заставил город восторгаться своим новым бойцом.

— Новым бойцом? — взволнованно спросил Улеб.

— О, Непобедимый всегда найдет чем удивить! — воскликнул воин. — Вам, вероятно, неизвестно, я же помню еще, как лет десять назад он потряс всех невиданным учеником. Был у него юный раб из тавроскифов. Совсем мальчишка. Этот... Тяжелая Рука. Силе-е-ен, я вам скажу, невероятно. Теперь же Непобедимый раздобыл бойца похлеще. Колосс! Кулачищи — во! Плечищи — во! Голова — литой колокол! Всех подряд валит. Анит привез его из Округа Харовоя и сразу выставил в честь нашего Цимисхия.

— Как звать? — произнес Улеб.

— Бойца? Имя его Маманий Несокрушимый.

— И он... Анит пометил его клеймом палестры?

— Нет. Тот печенег не раб. В завидной славе.

— Вот те на... — тихо молвил Улеб и откинулся спиной к стене, отвернулся и нахмурился, повергнув собеседника в полнейшее недоумение своей неожиданной нелюбезностью и откровенным нежеланием продолжать только-только завязавшийся разговор.

«Ай да Анит, — качая головою, думал Улеб, — обзывал Мамана чудовищем, а сам в конечном счете заманил его на арену. Маманий Несокрушимый... Вот ведь что выкинул наставничек-то. Уж кто настоящее чудовище, так это сам он, Анит Непобедимый, будь он неладен».



После безрезультатного посещения столицы и скитаний по северу Византии Твердая Рука и Меткий Лучник напали наконец на след Калокира в конце лета.

Нужно оговориться, что предшествующие этому знаменательному факту путешествия можно назвать безрезультатными, подразумевая лишь поиски Улии. В остальном же передвижения наших героев по империи назвать бесплодными никак нельзя, поскольку благодаря им немало подневольных людей обрели свободу. Целый конный отряд составили эти спасенные.

В одиночку пробиться за пределы Византии в столь тревожное время было очень трудно, почти невозможно. Каждый, кого выручали Улеб и Велко, понимал это. Вместе — сила весомая и пробивная. И не только славянами пополнялся отряд, в него вливались выходцы из разных стран, а большей частью отважные угры. Уже к середине лета собралась дружина в пять десятков хорошо вооруженных всадников.

Они возникали внезапно, сея панику и страх в разбросанных вдоль границы заставах акритов, и исчезали стремительно. Имя Твердой Руки не сходило с уст ромеев.

Так, прославляемый одними и проклятый другими, появился летучий отряд в лесах под Адрианополем, в котором стоял, наращивая мощь, крупный гарнизон. Калокир подвизался в нем в качестве советника, знаатока Руси.

О том, что династ в Адрианополе, Улеб узнал случайно. А произошло это так.

Однажды в лагерь, временно разбитый в глухой чащобе, прибежал один из дозорных. Обычно, если грозила опасность, дозорные оповещали о ней условным сигналом рожка. На этот раз такой сигнал не прозвучал, но воины Твердой Руки все равно бросились к оружию и лошадям, встревоженные взволнованным видом прибежавшего товарища. А он, отмахнувшись от посылавшихся на него расспросов, кинулся прямо к шашу, где отдыхали Улеб и Велко.

— Ромеи на дороге! — крикнул он.

— Нас окружили? — Оба вскочили на ноги. — Много их?

— Нет, всего несколько седоков и повоз. О нас не подозревают.

— Обнаружил горстку путников, — рассердился Улеб, — важная ли причина, чтобы самовольно покинуть дозор!

— С ними пленники, вот и поспешил сообщить, — оправдывался дозорный.

— Пленники, говоришь... Это меняет дело. — Твердая Рука вышел на просеку, где сгрудились воины, ожидая его приказа. — Братья, мы с Метким Лучником отлучимся ненадолго, вы же будьте готовы к возможной перемене стоянки.

Велко уже отвязал коней. Вскочив в седла, оба скрылись в густых зарослях и через несколько минут выбрались из прохладной тени на большую дорогу.

Над неровной щетиной леса поднималось палящее византийское солнце. Оно било в глаза, слепило, и от яркого встречного его света лес по обе стороны дороги казался плоским и серым.

По дороге двигалась процессия.

Впереди, опустив поводья, изредка подбадривая коня похлопыванием по холке, ехал шагом уже пожилой, но еще сохранивший горделивую осанку воина господин. Ехал он налегке, оружие лежало среди тюков и бочонков в скрипучей повозке, которую тащили два запряженных мула.

Сзади господина ехали слуги. Четверо вооруженных копиями и саблями латинян-наемников.

Когда под колеса повозки попадала ветка или камень, погонщик вздрагивал, косился по сторонам, шевелил палкой, которой, судя по всему, мулы не боялись, и, мельком оглянувшись на бредущих сзади невольников, снова погружался в дремоту.

Невольники представляли собой жалкое, гнетущее зрелище. Оба, видно, уже смирились с горькой своей участью, уныло ступали босыми окровавленными ногами по неровному грунту усеянной щепками и обломками ветвей лесной дороги. Грязные лохмотья едва прикрывали изможденные, истерзанные ранами и ссадинами тела. Вытянутые вперед руки туго стягивали веревки, кожа стерлась под узлами, кисти кровоточили. Однако на их отрешенных лицах не отражалась физи-

ческая боль, они, казалось, уже не способны были ощущать собственные страдания.

Солнце припекало все сильнее, поднимаясь выше и выше в безоблачном белесом небе. Низко парили птицы у края леса, где витало зыбкое марево над болотцем, за которым начиналась равнина, а дальше, если взобраться на самый высокий из холмов, опоясывающих равнину, можно уже различить дымы и отблески куполов Адрианополя, раскинувшегося вокруг места слияния двух рек.

Когда кавалькада приблизилась к месту, откуда наблюдали за ней Улеб и Велко, на расстояние примерно в две стадии, они открыто выехали на середину дороги и застыли, как изваяния, внезапно выросшие на пути.

— Увидели нас, — молвил Улеб, — остановились.

— Снова двинулись, — немного погодя заметил Велко. — Похоже, что пленники-то из наших.

— Да, — произнес Твердая Рука. Он извлек из-за пояса платок, подарок Кифы, повязал им нижнюю часть лица. — Укройся в тени и держи их на острие стрелы.

— Хорошо, — кивнул Меткий Лучник и отъехал на обочину, под деревья. Вынул стрелу из запячного колчана, положил ее на тетиву.

— Кто эти люди и в чем их вина? — громко обратился Улеб к напыщенному старцу и указал на невольников, привязанных к повозке.

— Я вижу перед собой благородного рыцаря, — последовало в ответ. — Я угадал в нем благородство, хотя не вижу лица. И я не спрашиваю, зачем понадобилось благородному рыцарю скрывать лицо. А ведь имею право знать...

— Сейчас спрашиваю я! Отвечай!

Вдруг один из латинян-охранников визгливо вскричал:

— Мы под рукой досточтимого хилиарха Гекателия! И ты, дерзкий чужестранец, на его земле!

— Я спрашиваю: кто эти люди? — повторил Улеб.

Старик, названный хилиархом Гекателием, молча глянул на слуг. Пращик выхватил рог, намереваясь протрубить то ли для храбрости, то ли для того, чтобы призвать на помощь, но в это мгновение его руку поразила стрела, пущенная Метким Лучником, и рог шлепнулся в пыль.

Один из латинян ринулся на Улеба, угрожая копьем. Юноша легко уклонился, даже не сдвинулся с места, и, едва нападавший проскочил мимо него, к изумлению остальных, метнул нож. Ох, стоять бы незадачливому латинянину, не лезть на рожон, а так... грохнулся оземь с коротким хрипом. Благо прочим, что опомнился Гекателий, уберег их от верной гибели, понял умудренный жизнью, что силою тут не возьмешь, крикнул слугам:

— Торна! (Назад!)

— Этак лучше, — сказал Улеб. Спешился, выдернул свой клинок из поверженного врага, сел опять на коня, приговаривая: — Мало учил вас Святослав, князь великий.

Гекателий зашипел зло:

— Если тебе нужны беглые твари, можешь спасти их от виселицы тридцатью златниками. Золото мне — и посторонись!

— Кто эти люди? Булгары?

— Да.

Улеб почувствовал, как хлынула кровь к лицу, взглянул на Велко, поодаль державшего лук наготове, обернулся к надменному хилиарху и сказал, с трудом сдерживая себя:

— Ты добыл их в бою?

Внезапно сквозь стон связанных невольников просочилась славянская речь одного из них:

— Обманом! Убей их! Убей! Убей нелюдов! Убей их, юнак!

Он, этот несчастный, упал на колени в отчаянной мольбе. Второй пытался его поднять. Улеб обрубил их путы, затем приблизился к хилиарху вплотную.

— Я Улеб, росс по прозвищу Твердая Рука. Эти люди свободны, иначе, ромей, клянусь Перуном, ты падешь! Вот мой меч — мое слово. Беги же прочь со своими холопами!

Известное повсюду имя юноши произвело на Гекателия сильное впечатление. Он растерянно озибался, соображая, как быть. Наконец собрался с духом и заговорил:

— Я не сержусь на тебя, юный странник, ты слишком храбр для своих лет. В молодости и мне случалось резвиться и шалить на дорогах. Однако ты достаточно умен и знаешь, что за иные развлечения платят. Воз-

мести убыток, и разойдемся с миром. Двадцать солидов за убитого, десять за руку прашника и по двадцать номисм за этих полудохлых рабов. Конь и оружие побежденного по закону поединков твои!

— Убирайся, если жизнь дорога! Спасайся и молись, чтобы я тебе больше не встретился!

Делать нечего. Хилиарх потоптался немного, швырнул копьё на повозку, щит снова на спину, стегнул коня и отступил, бормоча бессильные проклятия. Вслед за ним удалились и наемники его. Посрамленные и взбешенные, ускакали в город.

Прервав благодарные излияния спасенных, которые все еще не могли прийти в себя, Улеб и Велко уступили им коней, помогли взобраться в седла, ибо самостоятельно они не в силах были проделать это.

В лагере их встретили радостными приветствиями. Шумной гурьбой посыпались из кустов на поляну, где торчал их единственный стяг. Все в кольчужной чешуе, загорелые, крепкие, белозубые удалцы. А ведь в самих-то едва теплилась душа когда-то. До чего же, однако, преображается человек на волюшке!

— Братья, вот нам два новых товарища, — сказал Твердая Рука соратникам, обступившим прибывших, — позаботимся о них. Накормите досыта, обмойте раны этим снадобьем. — Он вынул из сумы деревянную флягу с горькой настойкой ирного корня. — Приоденьте их и пускай отдохнут в шалаше. А мы с Метким Лучником опять отлучимся. Нужно добыть им лошадей и ратное снаряжение.

— Где? — спросил Велко.

— Неужто думаешь, что гордец Гекателий не поспешит в погоню за обидчиками, прихватив из городища подмогу?

— Не в своем уме, братец! — воскликнул Велко. — Ты да я против стольких! Либо жизнь тебе надоела, либо вовсе позабыл про Улиу.

— Не станем драться с тучей, — сказал Улеб, — я такого не говорил, чтобы выйти один на сто. То молва нас с тобой вознесла до небес, а по правде мы из костей и мяса, как всякий.

— Все тебе шуточки.

— Экий ты бестолковый сегодня! Ишь нахохлился! — Улеб хлопнул дружка по плечу. — Сразу двух молодцов у ромеев отняли, а ты бухтишь!

— Да ну тебя, вечно баешь загадками.

— Что тут хитрого! Хилярху на ум не взбредет, что мы схоронились поблизости. Он, премудрый, решил, будто мы сломя голову удираем подальше от города. По-несутся они в погоню мимо нашего места, изловчимся сзади... Словом, там разберемся.

— Едем, — оживился Велко. — Скорей, не то прозеваем!

Спустились к самому краю леса и спрятались в зарослях папоротника как раз против болотца, на заплесневелой воде которого плескались дикие утки. Отсюда хорошо просматривалась дорога, петлявшая от холмов в низине до лесной чащи.

Деревья, могучие, стройные, как колонны, высоко устремляли замшелые стволы, зарывались раскидистыми кронами в яркую голубизну неба. Молодые побеги подступали к самим папоротникам, оберегаемым влажной непроницаемой тенью вековых исполинов.

— Светлый день... — Улеб покусывал сорванную травинку. — Светлый и длинный, как день Белого бога. В долгий день и короткую ночь Купалы на Днестре жгут огни, жарко празднуют улицы. А мечи на гвоздях да в чуланах. Любо дома. Кифа с батюшкой тоже скупают, наверно... Затерялась сестрица...

Велко отвел пристальный взгляд от дороги, повернулся к Улебу, подперев щеку ладонью. Было слышно, как щиплют листья кони, привязанные в чаще. Солнцу не под силу осушить землю, исходила она испариной. Душно. Улеб то и дело утирался своим огромным платком.

— Ты зачем повязал лицо перед греком? — спросил Велко. — Устыдился рубца?

— Борозды от клинка не стыдятся.

— Так чего же?

— Тому, кто не видал нас прежде, теперь и вовсе незачем знать наши лица. Мало ли что. Неопознанному вольготней.

— Тоже правильно, — согласился болгарин. — А признайся, каешься, что сразу не...

— Вот они, — вдруг прервал его Улеб.

От города катилось по дороге серое облако. Сплошной лавиной отблескивали панцири. Мелькали ноги прикрытых броней лошадей. Эхом доносился и увязал в

лесных стенах стремительно приближавшийся топот. Утки испуганно взмыли над болотом.

— Сотня копий, не меньше, — шепнул Велко, нащупывая свой лук. — Ну и честь нам! Катафрактов придали обиженному!

Все произошло, как и предвидел Твердая Рука. Гекателий промчался впереди воинов, даже не взглянув на то место, где недавно посрамил его витязь в маске. Безусловно, грозный отряд рассчитывал настичь обидчиков хилиарха лишь в значительном отдалении.

— Пристроимся следом! — призвал Велко, когда тяжелые воины прогрохотали мимо.

— Нет, — возразил Улеб, — дождемся их возвращения.

— Снова ждать?

— Пусть поскачут в мыле. На обратном пути у них поубавится прыти после бессмысленной скачки. — Улеб опять задумчиво прикусил стебелек. Потом сказал: — С ними один малый в мирском хитоне. Круг веревки приторочен к его седлу. Приотстал от всех. Мне сдается, что я его где-то встречал. Ну а ты не признал его, заднего-то?

— Разве разглядишь кого толком в пыли? По мне, все они одинаковые.

— Ну уж нет, этот малый мне сразу приметился. Как увидел его, враз не стало покоя.

— Что в нем особенного?

— Вроде припоминаю, — не очень уверенно молвил Улеб, — если не померещилось... он слуга того пресвета.

— Калокира?! — Глаза Велко округлились, он вскочил как безумный. — Не может быть! Мне его прислужники известны наперечет! Ты готов поручиться?

— Не знаю... Вообще-то я памятливым на лица. Проверим. Они должны воротиться засветло.

— Ладно.

Солнце скрылось за лесом. На дорогу упала сплошная тяжелая тень от гигантских деревьев. Стали явственней и острее запахи трав на опушке, воздух словно подернулся призрачной пеленой. Жужжали пчелы, слетаясь в дикие борты с медовой данью.

— Этот малый, слуга дината, не охоч до седла: сидит как мешок. Да и кляча под ним. И зачем он за воями увязался? — обронил Велко.

— Сейчас не об этом забота. Главное, захватить этого прислужника половчее, — сказал Улеб.

Беспрестанно и возбужденно переговариваясь, то вздыхая, то подбадривая друг друга, просидели они в папоротниках до сумерек. Но помаялись не зря.

Гекателій и кавалеристы возвращались тем же путем. Проницательность Улеба подтвердилась. Ромеи едва плелись, озлобленные, разочарованные, с лоснящимися от грязного пота лицами, на взмыленных лошадях. Не судилось хилиарху прославиться поимкой дерзких возмутителей спокойствия.

А к нашим героям судьба явно благоволила. Чуть ли не на версту позади всех тащился тот, с кем жаждали встретиться Улеб и Велко. Кобыла его хромала, сам он дремал от усталости.

Трудно было поверить, что все получилось настолько удачно. Улеб и Велко вышли из укрытия, когда он поравнялся с ними, остановили кобылу, взяв ее под уздцы.

— Ну здравствуй, Акакий Молчун, — сказал Велко.

Слуга дината вздрогнул, открыл глаза, затем выпучил их, потом распахнул рот, чтобы завопить на всю округу, но Улеб подпрыгнул и легонько стукнул его по лбу, и он без чувств упал на вовремя подставленные руки Велко, как падает счастливая обморочная барышня в объятия кавалера.

Улеб любезно позволил кобыле ковылять дальше, предварительно сняв с ее седла веревку.

Акакий не приходил в себя. Пришлось взвалить его поперек коня и везти в лагерь. А там уже заждались пропавших с полудня Твердую Руку и Меткого Лучника. Запрудили просеку, обступили — не протолкнешься, загалдели все разом:

- Наконец-то!
- Не знали, что и думать!
- Собрались уж на поиски!
- Кого привезли?
- Еще одного отбили?
- Живой?

Улеб рассмеялся, поднял ладонь, чтобы уgomонились, сказал:

— Встретили старого знакомого, да он что-то не шибко обрадовался. Ну я его и удручил разок, пусть не воротит нос от давних друзей. Живой он, живой, уснул

только малость, видно, слишком заморился, охотясь за нами с веревкой.

В лесной глуши было темно и сыро. Неподалеку от шалаша торчал старый и гнилой пенёк. В центре утоптанной площадки тлели головешки очага, там устраивались на ночлег ратники. Тихо похрапывали лошади в стороне, перебирали копытами в мелком хрустящем валежнике, настораживались, заслышав пугающие стоны горлиц и утробное уханье сипух.

Улеб принес из шалаша огарок свечи, зажег и увидел вдруг, как блеснули глаза пленника.

— Эй, да ты притворяешься! Вот я тебе!

— Сначала нет, сначала не притворялся, — затараторил Акакий. — Где я? Кто вы? У меня ничего нет, так и знайте. Ведь ежели, к примеру, имел бы что-нибудь, сам бы отдал. Я никому ничего худого не сделал.

— Цыть! Будет полоумным прикидываться! — оборвал его Велко. — Узнал меня или нет?

— Как же, как же, не забыл, наипрекраснейший, ты чеканщик. Тебе Марию? Получишь, ей-богу. Сейчас к тебе приведу. Я пошел. Где тут выход?

— Сядь! Экий быстрый. Значит, она в Адриановом граде?

— Ведь ежели, к примеру, хозяин мой в армии, так и хозяйка при нем.

— В темнице?! — Улеб тряхнул его что есть силы. — Куда ее заточили?

— Ой, пусти! Ее не обижают, а холят, вот те крест! А ты кто?

— Приглядишься-ка, — уже мягче произнес Улеб. Он настолько обрадовался сообщению о сестрице, что готов был расцеловать болтливого плута. — Приглядишься, приглядишься, не робей.

— Не припомню, да воздастся тебе необъятное благо.

— А золотишко, что когда-то вымогал у меня на стольном дворе Калокира, помнишь?

— Нет. Монеты твои помню, тебя нет. Смилуйся.

— Про бежавшего с ипподрома бойца Анита Непобедимого слышал? Про Твердую Руку?

— Еще бы! Чтоб ему...

— Я и есть Твердая Рука.

— Чтоб ему бесконечно сиять в вечной славе! Тебе! — не моргнув, воскликнул Акакий.

Велко между тем ломал голову: для чего понадобилось Улебу тратить время на разговоры? Он привык доверять побратиму и не раз убеждался прежде, что тот не любит бросать слов на ветер, а уж если и ведет с виду пустую беседу, значит, что-то за нею кроется, неспроста она затеяна.

Однако сейчас в перепалке с Акакием не было никакого скрытого смысла, просто Улеб невольно, как говорится, развязал язык на радостях, что нашел на чужбине сестрицу, что настал долгожданный час, что близок конец мытарствам и горестям ее и его. Велко все-таки догадался об этом и немедленно вмешался:

— Хватит вам, пустомели. Если, Акакий, не скажешь точно, где Мария, пеняй на себя. Отвечай коротко, не то пожалеешь.

Тот мгновенно вскочил, вытянул руки по швам и ответил четко, как на воинском смотре, громко и достоверно:

— Во дворце Калокира на окраине Адрианополя.

— Точнее!

— В Орлином гнезде, что на самой верхушке круглого холма.

— Где Калокир?

— Хозяин обходит казармы.

— Почему?

— Он советник, глаза и уши повелителя.

— Велика стража дворца?

— Десять оплитов и шестеро слуг, не считая поваров, виночерпиев, массажиста, музыкантов, садовника, нахлебников, прихлеба...

— Стой! Стой! — резко одернул его Улеб. — Где горница Улии?

— Какой Улии?

— Тебя спрашивают про Марию, — пояснил Велко.

— Мария наверху. Двери покоев выходят на стык лестниц.

— Кто ее сторожит?

— Я... — вздохнул Акакий и почесал подбородок.

Улеб молвил:

— Вот что, малый, спасибо за сведения. Нам пора к ней. А тебя, не обессудь, привяжем вот к этому дереву той самой веревкой, которую ты предусмотрительно приберег. Если в чем обманул, тут и схороним красиво.

Если нет, отпустим на все четыре стороны, как вернемся из города.

— Отпустили бы сразу, а? Здесь сыро и страшно, никто тут меня не любит.

— А за что же любить тебя, ненаглядный, — смеялся Улеб, — не за то ли, что вместе с хилиархом кинулся нас ловить?

— Я не хотел, — фальшиво захныкал Акакий, — Калокир приказал. О! Я вам, великодушные, поведаю такое о хозяине — подивитесь!

— Ну?

— Я с ним ездил в Константинополь. Что вы думаете? Он ликовал там, как подобает обласканному? Пел хвалу Иоанну, как все? Ничуть не бывало! — Акакий посмотрел по сторонам, словно опасался, что их подслушивают, и, понизив голос, доверительно продолжал: — Калокир лелеет недоброе. Да, да, поверьте, справедливейшие. В Студийском монастыре настоятелем стал Дроктон, бывший соглядатай Палатия. Только прибыл динат в столицу, сразу к инок. Этот карлик исчадие ада. Говорят, он якшается с Дьяволом — с красавицей Феофано. Так вот. Смертный заговор будет, ей-богу! Ведь ежели, к примеру, тайно шепчутся с Дроктоном и с бывшей торговкой Феофано — быть крови. Ох, погубят они василевса Цимисхия...

— Молодец, умница, — похвалил его Улеб и затянул потуже последний узел веревки, приковавшей Акакия к дереву, — обязательно поделись этой сказкой со своим охранником, чтобы он не уснул. Но негромко рассказывай, не тревожь сон остальных дружинников. Будешь послушным, завтра поутру побежишь к своему Калокиру.

— Мне теперь к нему путь заказан, — сокрушался Акакий. — Уберусь куда глаза глядят.

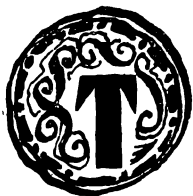
— Дело твое. Стой только смирно, покуда не развяжем.

— Давайте я проведу вас в Адрианополь, — льстиво просил Молчун, которому никак не хотелось ночевать в крепких объятиях с дуплистым, шершавым и сучковатым деревом. — Возьмите с собой, обожаемые, не пожалеете. Проведу. Меня там каждая собака знает.

— Будет тебе похваляться знакомствами, — буркнул Велко, унося свечу в шалаш, — помалкивай лучше, Молчун.

Прежде чем покинуть лагерь, Твердая Рука и Меткий Лучник коротко посоветовались в своем тесном жилище, порешили пробираться в город пешком.

Глава XXVII



е, что еще в далекой древности закладывали первые фундаменты сооружений огромной крепости среди плодородных полей и обширных пастбищ холмистой долины реки и ее живописного притока, несомненно и с полным на то основанием уповали на превосходное будущее этих мест.

Неспроста, нарекая сей город жемчужиной благословенного края, обитатели Македонии и Фракии из поколения в поколение вели бесконечную тяжбу меж собой за право называть его своим. Он рос и высылся на границе двух фем, становясь все богаче и краше в череде уходящих столетий.

Наибольшего расцвета он достиг при победоносном римском императоре Адриане, в честь которого и был наименован Адрианополем. Удачливый и тщеславный этот завоеватель воздвиг здесь искусные оборонительные укрепления, жилые здания, дворцы и храмы и даже, стремясь затмить своего предшественника Траяна, оставившего в память о себе знаменитую Траянову военную дорогу, что тянулась от Новы до Филипполя, начал строить собственную, намереваясь проложить ее до самого моря. Добротная прямоезжая дорога считалась куда более ценным творением для государства, нежели все вместе взятые прочие сооружения правителей и их зодчих.

Правда, Адриановой военной дороге так и не суждено было двинуться дальше зачатия, ибо древние римские императоры менялись столь же быстро, сколь и василевсы Византии. Хорошо хоть успели расчистить, выровнять и устлать плитами подступы к городу на несколько стадий к югу.

Горожане похвалялись вечной незыблемостью своей твердыни. И действительно, ни они, ни их предки почти не знали существенных разрушений и поражений. Поч-

ти. В народных балладах все-таки вспоминалось давнишнее нашествие вестготов, что в союзе с восставшими рабами взяли однажды хваленую крепость, разгромив в пух и прах не менее хваленую армию Валента.

Нынешний владыка Византии был уверен, что с ним не повторится то, что испытал Валент, давно канувший в Лету. Избрав Адрианополь для размещения лучших, отборных своих легионов, Иоанн Цимисхий вовсе не помышлял про оборону, он сам готовился напасть отсюда на россов и болгар. И уже заранее обещал патриарху Полиевкту, что отдаст церкви немало захваченных славянских земель.

Византийцы готовились к предстоящим битвам тщательно. Днем и ночью доставлялись на межу Македонии и Фракии обозы с оружием и продовольствием, табуны лошадей, верблюдов-дромадеров, тяглового и убойного скота. Катились, оглашая окрестности скрежетом колес, чудовищные метательные машины. В разбухавшую армию прибывали все новые и новые ополчения. Гордо шагали бывалые солдаты и уныло брели новобранцы.

Из Эносского залива Эгейского моря поднимались вверх по реке груженные флотилии. (Заметим, кстати, что в пору средневековья Марица, эта чудесная речка, омывающая подножие города, была несколько шире, но менее глубокая, чем в наши дни. И судоходна была, как и сейчас, лишь до того места, где соединялась с уже упомянутым нами притоком, то есть только до пристани Адрианополя, который, опять же между прочим, ныне известен как Эдирне в современной Турции.)

Итак, византийцы сгоняли в единый гурт многие тысячи воев. Обреченные на кровопролития, покорно шли они по приказу кучки жестоких власть имущих аристократов.

Адрианополь уже не в состоянии был вместить всех. Солдаты, которым не досталось пристанище внутри крепости, обложили город, как муравьи кусок лакомства. Повсюду полыхали костры привалов, слышались перебранки, бряцало железо, стучали игорные костяшки, сновали в заторах колесниц и повозок продажные жрицы любви и всевозможный сброд, вечно слоняющийся вблизи сидящей армии.

На берегу реки сравнительно спокойно, не таклюдно, не слишком светло. Роскошные кварталы с безупречными зданиями, каждое из которых могло бы служить

образцом изысканного зодчества тех времен, спускались к воде.

Именно со стороны реки проникли в расположение гарнизона Улеб и Велко. В темных накидках, предусмотрительно прихваченных в лесном лагере, они незаметно смешались с толпой торговцев и попрошайек. Пробирались на противоположную окраину, к возвышавшемуся над садами и цветниками холму с Орлиным гнездом на макушке.

Конюшни и казармы чередовались с огромными складами кандалов для будущих пленников, с хранилищами древесной смолы, из которой изготавливался фиам, нефти, селитры, серы и прочих веществ, входивших в состав мидийского огня, который изготовлялся только в Константинополе. Прямо под открытым небом, сидя на корточках, женщины варили в чанах молодые ветки священного кустарника, готовили ароматный целебный меккский бальзам, шили мешки для добычи, палатки, покрывала на случай дождя и попоны для лошадей.

Акакий утверждал, что дворец стерегли десять оплитов. Скрываясь в густой тени сада, Улеб и Велко разглядели только двоих.

Один сидел на траве возле сигнального колокола неподалеку от входа, слегка раскачиваясь, обхватив поставленное торчком копьё. Он не дремал, как могло показаться на первый взгляд, поскольку явственно слышалось его монотонное пение и покашливание.

Другой разгуливал по склону холма, положив копьё на плечи наподобие коромысла и запрокинув за оба его конца руки так, что кисти расслабленно свисали и болтались при ходьбе.

Оба вели себя крайне беспечно, непозволительно для часовых. Подобное поведение можно было объяснить лишь долгим отсутствием не только самого хозяина, но вообще старших по чину. Эту догадку подтверждали абсолютно темные окна дворца и слишком обильное внешнее освещение, позволявшее вполне удовлетворительно просматривать все пространство между Орлиным гнездом и верхними деревьями, за которыми притаились наши герои.

Что касается Улеба и Велко, то они, понятно, несколько не осудили беспечность стражников.

Велко шепнул:

— Важно их не вспугнуть, а то затрезвонят.

— Давай так. Я подкрадусь к ближнему, а ты уложишь стрелой сидящего, — предложил Улеб.

— Лучше предоставь мне обоих. Сначала стрела тому, что у входа, затем этому. Не убежит. Я и ночью не промахнусь.

— Не убежит, так поднимет крик между стрелами.

— Хорошо. Придержи своего, когда рухнет, — сказал Велко, — на нем столько железа, что и звонницы не надо.

— Кабы пропустили подобру, и бить не обязательно...

— Не иначе, захворал ты, братец, — проворчал Велко и легонько стукнул Улебу согнутым пальцем по лбу. — Только свистни, они тебе вынесут Улию на руках.

Улеб сбросил накидку, отстегнул меч, снял даже огниво, чтобы не звякнуло предательски, и бесшумно пополз вверх по склону. Велко несколько мгновений следил за ним, потом собрал лук и глянул на дальнего стража, все еще тянувшего песню в обнимку с копьем.

Твердая Рука поднялся за спиной оплита, как воспрянувшая его тень, тихонько окликнул. Тот обернулся и тут же грохнулся оземь. Увы, Улеб забыл придерживать всю эту груду металла, как просил Велко, и громкое падение поверженного подбросило на ноги второго стражника. Стрела Меткого Лучника была уже в полете, когда он вскакивал, и поэтому лишь чиркнула по его бедру. Воин прыгнул к билу, и короткий тревожный звон огласил тишину. Улеб сокрушил его кулаком прежде, чем раздался повторный сигнал, однако и одного оказалось достаточно, чтобы откуда ни возмись выпали ромей. Их было восемь. Акакий не обманул. Слепо озираясь, толкаясь впопыхах, они не сразу разобрались, в чем дело.

Замешательство оплитов позволило Велко подбежать к площадке перед дворцом. Он бросил Улебу меч, сам же натянул лук, с ходу поразил третьего, подхватил с земли чужое копьё и с силой метнул его в самую гущу оцепеневших врагов. Ай да Велко чеканщик! Даже Улеб оторопел при виде такой ловкости молодого булгарина. Всего несколько мгновений — четверых из десятка как не бывало.

Вот тут-то и очнулись оплиты. Как по команде,

оставшиеся шестеро разомкнулись цепью, затем сдвоили ряд. Трое задних выставили копья над плечами передних, которые, в свою очередь, разом обнажили клинки и двинулись на неожиданных противников четким строем, оценив, вероятно, их по достоинству.

— Ах греки! — вырвался невольный возглас восхищения у Твердой Руки. — Это тебе не огузы! Держись, Велко, будет жарко! Худо нам без щитов.

Улеб ринулся им навстречу, единым махом обрубил наконечник крайнего копья, отпрыгнув в сторону, едва увернувшись от ответных ударов, снова сделал головокружительный скачок, рассек в щепы еще два древка. Между тем пятый воин упал от стрелы булгарина.

— Оставь и мне! — крикнул Улеб побратиму, распаляясь бойцовским азартом. — Этак я за тобой не поспею!

Обозлясь и ломая строй, ромеи накинулись на них со всех сторон. Велко с мечом только что сраженного стал спиной к спине Улеба, и оба «заплясали», размахивая оружием, в центре круга, разя и отбиваясь, отбиваясь и разя. Привлеченная шумом сражения прислуга дина та зажгла огни на обоих этажах пробудившегося дворца.

Когда оплитов осталось лишь двое, самых упорных и отчаянных, росич крикнул булгарину:

— Скорей к двери! Не выпускай челядь! Я уже справлюсь сам!

Велко не заставил себя упрашивать. Захлопнул массивные створы входа, громыхнул задвижкой, обернулся на площадку, недоумевая, отчего прекратился звон мечей, и увидел такую картину: Улеб, тяжело дыша, в упор разглядывал единственного противника, который стоял перед ним обезоруженным, без шлема, со сложенными на затылке ладонями, сдавался, значит, на милость победителей.

— Что с тобой?! — Велко различил черневшую на щеке побратима кровь.

— Задели маленько старый рубец. Что нам с этим-то красавцем сотворить?

— Связать! Торопись!

— Подсоби!

Они содрали с оплита ремни, стянули ему руки и затолкали его в погребок. Крышку придавили колодой. Бросились в Орлиное гнездо.

— Сестрица! — призывно воскликнул Улеб, и гулкое эхо забилося под сводами. — Улия! Кровинушка-а-а!

— Где Мария? — Велко разметал оцепеневших слуг, взбегая по лестнице. — Голубка моя!

Озаренный беспокойным пламенем настенных факелов, Твердая Рука замер внизу с поднятым напряженным лицом, заслонив собой выход. Дрожащая тень от него падала на площадку перед дворцом. За спиной его городская звонница времени отбила полночь.

Вот он, долгожданный час. Вот он каким оказался, этот час, вымученный в тяжких думах, чудившийся в мечтах солнечным, светлым, большим, как день Купалы, искрившийся в грезах, что пронесены через моря и реки, города и веси, сражения и праздники, годы и расстояния.

В глазах у Улеба все помутилось, торжествующий крик повис на его устах, едва он увидел бесчувственную сестру на руках счастливого Велко, который сбегал по мраморным ступеням, бережно и нежно прижимая к груди драгоценную свою ношу.

Улеб сразу узнал ее милые черты, хоть и была она в чужеземной желтой, как золотистая паутина, длиннополой хламиде, уже не такой тонкостанной, как прежде, не с косой-красой, а с распущенными волосами, что колыхались льняным потоком, доставая едва ли не до самого пола и застилая ее бледное лицо, еще хранившее следы недавнего сна.

Быть может, происходящее воспринималось ею как продолжающееся сновидение, кто знает. Онемевшая, изумленная, цепко обхватив шею Велко, вскинув ресницы и полуоткрыв алый рот, словно сдерживая дыхание, она глядела на Улеба, как на внезапно и ярко вспыхнувший свет, точно не могла поверить, что этот стоявший у подножия лестницы мужественный витязь и есть ее младшенький братец, незабвенный, любимый, много раз уже ею оплаканный.

А он подхватил ее из рук смеющегося болгарина, закружил, как былинку ветер, сам трепетал сорвавшимся с ветки листом, уговаривал дрожащим голосом:

— Слезы утри, никогда не прольешь их отныне, родная, никогда...

— Явь ли это? — шептала и плакала.

Велко крикнул:

— Скорее отсюда!

Калокирова челядь застонала, дескать, что с нею будет, когда воротится хозяин поутру и обнаружит такую пропажу. Но никто не осмелился заступить дорогу беглецам.

Беспрепятственно и поспешно оставили наши герои ненавистное логово Калокира, предварительно заперев хорошенько все большие и малые двери, чтобы ни один из его обитателей не выскользнул наружу и не поднял тревогу в городе.

— Улия, возможно ли освободить остальных наших? Где они, бедолажные? — спрашивал Улеб.

— Давно по миру рассеяны. И Улии больше нет, есть Мария...

В крытом каменном загоне для скаковых лошадей и рабочих буйволов отобрали и оседлали трех жеребцов и, ведя их на поводу, спустились к саду по песчаной тропинке.

— Куда? Зачем? — ошеломленно шептала она, но они не слышали ее.

До чего все-таки непостижим и забавен человеческий нрав! И в такую-то минуту Улеб с Велко умудрились затеять свару из-за того, что каждый настаивал, чтобы Улия укуталась именно в его накидку.

— Сама поскачешь или сядешь за спину кому-то из нас?

— Куда? Зачем? — все шептала, как в забытьи.

— Ох, голубка, мы и в крепости Калокира побывали, да уже не застали тебя. Сколько воды утекло с тех пор! Где только не были. — Велко просто не мог оторвать от нее восхищенного взора, заикался от волнения и от избытка чувств, лихорадочно поглаживал гриву коня.

— А я с Кифой, женкой своей, хаживал за тобой к печенегам. Ты же вот где, сестрица. Будет улада Радогощу! — взახлеб вторил Улеб.

— Говорите, говорите, ангелы, век бы слушала вас... — шептала она, словно молитву. — И не снится мне... Как узнали, где я?

— То после, после, — сказал Велко.

— Верно. — Улеб нетерпеливо и осторожно подталкивал ее к коню. — Тебя вызволить из дворца — полдела. Впереди еще битком набитый Адрианов град.

За околицей, сколько хватал глаз, сплошным роєм огней протянулись становища византийской армии. Да и

улицы переполнены войском. Клокотал, кипел Адрианополь, не город, а судорожный и многоликий сомнамбул. Надо было торопиться.

— Не медли, сестрица! Что же ты!

Скользя ладонями по запыленной грубой одежде на груди и руках Улеба, обратив лицо к Велко, она медленно опустилась на колени и, задыхаясь от слез, заговорила, точно в мольбе и отчаянии. Оба воина отказывались верить ушам своим, не могли постичь чудовищный смысл ее слов. А голос ее, поначалу чуть слышный, становился все тверже и тверже.

— Окрещена и повенчана, я жду дитя. Не оставляю мужа моего, не преступлю клятвы, не оскверню святого креста. Идите с богом, вечно буду молиться за вас.

— Улия! — закричал потрясенный Улеб.

— Мария! — Велко судорожно пытался поднять ее с земли.

Сказала она:

— Волею господя нашего Иисуса Христа, я остаюсь. Я жду дитя...

Глава XXVIII



егкий дырявый туман уползал медленно и лениво, нехотя очищал земную впадину с широким и плоским дном. Тихо было внизу, где змеился скудный ручей. Царило безмолвие на обращенных друг к другу склонах двух холмов, на которых застыли в готовности два пришедших на битву воинства.

— Совсем развиднелось, — сказал Святослав. Нетерпеливым жестом призвал паробка, повелел: — Скажи к грекам с толмачом, передайте, что хочу сойтись с главным воеводой их цесаря на поединок перед великой бранью.

В брызгах росы понеслись посыльные через низину, скинув оружие и подняв правые ладони с растопыренными пальцами, и от первого стука конских копыт, разорвавших гнетущую тишину, всколыхнулись, зашевелились, ожили обе внутренние щеки противостоящих холмов, прокатился гул по рядам воинов, тех и этих.

Еще накануне уведомили Святослава, что Цимисхий внезапно отбыл на Босфор и прихватил с собой верно-подданных Склира и Петра подавлять очередное восстание в Азии. В европейской же армии василевс оставил магистра Куркуаса, полководца прославленного.

В самом центре блистательной армии Византии возвышался шатер, над которым реял гигантский прапор с латинской надписью: «Спаси, господи, люди твоя». Окоченевшие под панцирями от долгого пребывания на свежем воздухе «люди господа» чертыхались украдкой и поглядывали на священный шатер, откуда должен был вскоре показаться наместник Божественного, чтобы благословить их на битву.

Куркуас вышел из шатра. Солдаты восторженно заколотили оружием по щитам, попы осеяли их крестами. Еще раз оглядел полководец ложбину, кивком головы поощрил мензураторов за удачно выбранное место для сражения.

Тут по цепочке и донесли Куркуасу о вызове русского князя. Насупился Куркуас и спросил у свиты:

— Кто из вас готов обнажить меч против первого варвара?

— О славный! — вскричали в ответ. — В поединках нет искуснее патрикия Калокира!

— Пусть спускается к ручью.

Посыльные Святослава помчались обратно, сообщили ему:

— Княжич, их вождь не хочет с тобою мериться, отрядил простого воеводу.

— Куркуас не из робких, знаю. Стало быть, пренебрег. Коли так, и от нас сойдет кто попроще.

Князь не успел решить, кого послать, как у его коня, отстранив прочих, оказались Улеб и Велко.

— Позволь мне! — требовал один.

— Нет, мне! — настаивал второй.

— Я не против, — сказал Святослав, — только нужно ли так горячиться?

— Тот ромей у ручья лютый враг мне! — вне себя кричал Улеб. — Я давно ищу с ним встречи! Дозволь, княжич, сделай милость!

— Мне он принес не меньше лиха! — кипятился Велко. — Обращаюсь к твоей справедливости, господарь!

Но Улеб воскликнул:

— Не ты ли, князь, обещал еще в Киеве, что исполнишь любое мое желание! Я сдержался тогда, а теперь прошу!

Святослав объявил войску:

— Отдаю свое седло и меч отважному уличу из Радогоща! Признаю его право!

Воля князя — закон. Велко сам заботливо поправил кольчугу на побратиме, сам пристегнул к его поясу новые ножны да помог подогнать ремни-петли щита по его руке, ибо мускулы Улеба были покруче княжеских.

Между тем польщенный динат уже гарцевал в котловине.

Улеб был уже рядом с Калокиром, молвил, обращаясь к нему:

— Приглядишься-ка ко мне.

— Заклевали б всех вас вороны!..

— То успеется. Поначалу давай померяемся, вон ведь сколько народу замаялось, ожидаючи поединка. А чтобы придать тебе прыти, скажу: это я и чеканщик из Расы как-то ночью наведались в гнездовище на горе Адрианова града, чтобы отнять у тебя нашу Улию.

— Вы?! Это были вы? Боже милостивый, ты послал мне утешение сегодня!

И, к всеобщему недоумению, Калокир поскакал к своему обозу, чтобы тут же вернуться, саркастически хохоча и размахивая ветхим от времени скомканным женским платьем со славянскими узорами. Он кричал, ворочая головой во все стороны и тыча в Улеба пальцем:

— Знайте все! Это раб! Беглый раб! Червь ничтожный! Он скрывает клеймо на плечах под броней воина! Вот одеяние, подобающее его мечу! — Динат швырнул платье в Улеба. На холме Куркуаса загоготали. На холме Святослава застонали от неслыханного оскорбления. Калокир шипел: — Надень его, надень, антихрист. Бергла его Мария, да выбросила.

— Довольно. — Улеб хоть и потемнел лицом, но не уронил достоинства, молвил сдержанно: — Мы не в кругу арены, а на пороге великой сечи.

— Изрублю на куски! — иступленно грозился динат. — На мельчайшие крохи! Чтобы вороны истребляли!

Голос Меткого Лучника покрыл общий шум:

— Что же медлишь, брат мой! Начинай!

— Это можно, — сказал Твердая Рука и ударил коня каблуками.

Зараженные враждой седоков, сшиблись кони с громким ржанием, прижав уши, оскалив зубы, норовя укусить, разорвать, растоптать. Разметались украшенные лентами гривы и пышные хвосты. Обученные и резвые, они мгновенно подчинялись малейшим требованиям уздечек, то припадали, то взвивались на дыбы, быстро-быстро перебирая в воздухе передними копытами, то вмиг отскакивали в сторону.

Пеший бой был бы более приемлемым для Улеба. Никогда и никто не сбивал его с ног ни в поединках, ни в общей схватке. Велко чеканщик, бывало, с гордостью похвалялся на ратных привалах: «Мой побратим, други, человек, как вы. Обычный во всем, кроме одного. Он в огне горит, в воде тонет, и голод его одолеет, и жажда. Зато не родился еще на свете такой, чтобы изловчился свалить его с ног рукою!»

Калокиру в седле вольготней, он привычен к нему еще с давних набегов на болгарские и армянские веси. Закусив губу, динат поигрывал острой сталью с завидной сноровкой, редко прибегал к щиту.

Улеб не сразу приспособился к оружию княжича. По этой причине Калокир сперва потеснил его. Но затем начал уступать все заметнее и заметнее. Уже не так стремительны были движения дината, уже прятался он за щит и конь его пятился.

Вскоре выронил меч Калокир, сын стратига Херсона, палатийский пресвевт и советник Власти. Петрин сын с ходу ахнул щитом о щит, и динат полетел с вороного в ручей. Улеб спешил, поднял меч поверженного, за шиворот выволок его на сушу, протянул ему оружие снова.

— Продолжим!

Оглушенный и пристыженный Калокир отряхивался, отплевывался и лепетал:

— Не могу. Ненавижу тебя, но прошу: пощади. Вспомни, я не отрезал тебе язык, а целехоньким передал. Непобедимому. Я сестру твою выкупил у нещадного Кури. Я лелеял и холил ее. И Лиса я убил, и Блуда. Что тебе в моей гибели? После такого стыда жизнь моя хуже смерти.

На обоих холмах разворачивались войска. Ветер

рвал и трепал стяги. Принимала свой строй византийская армия. Выравнивались славянские полки.

— Будь ты проклят, — сказал Улеб и поднял меч Калокира, сжал его на концах боевыми перчатками, что есть силы взмахнул и сломил о колено как щепку. — Будь ты проклят, мучитель невинных, убирайся! — Он презрительно отвернулся от Калокира, подошел к своему коню и взялся за луку.

Протрубили сигнальные трубы. Час настал. Одни сотворили молитву Христу и завершили ее целованием креста. Другие помянули Перуна и поклялись мечом.

И сказал магистр Куркуас, обращаясь к армии с вершины своего холма:

— Нынешний день для вас, христиане, будет истом многих благ! Вооружите души прежде, чем вооружите тела! Победа предрешена всевышним! Покажите ничтожной толпе варваров вашу бессмертную отвагу! Пусть свидетелем вашей незыблемой доблести будут павшие враги! Возьмите добычу священным оружием! Идите в бой, не забывая о достоинстве вашего звания. Будьте в бою похожи на спартанцев! Пусть каждый из вас уподобится Кинегиру! Взгляните на себя — это войско без малейшего изъяна; в этом честь и слава василевса Божественного! Вперед! Во имя Предвечного и с десницей его!

И сказал князь Святослав Игоревич, обращаясь к дружине с вершины своего холма:

— Погибнет слава, спутница оружия россов, без труда побеждавшего целые страны, если мы нунь постыдно уступим ромеям. Итак, с храбростью предков и сознанием, что русская сила была до сего времени неодолимой, сразимся мужественно за жизнь нашу, за жизнь братьев. У нас нет обычая бегством спастись в отечество, но или жить победителями, или, совершив знаменитые подвиги, умереть со славой. Я же пред вами пойду. Если голова моя ляжет, то промыслите собой.

Зазвучали византийские флейты из ослиных костей, загремели медные тарелки кимвалов. Наши дунули в кленовые дудки и ударили в бубны. С обеих сторон налетели легкие конные стрельцы, обменялись тучами стрел, откатились назад, уступая пространство тяжелым копьям.

Святослав повел свой клин. Полк на левом крыле возглавлял воевода Асмуд, а на правом Свенельд. Там двигались булгары и росичи. Гриди в седлах, сверкая мечами и алея щитами, составляли основу всей конницы, что сомкнулась единой лавой в самом центре общего построения.

Выждал Куркуас, пока противники спустятся пониже, и послал сверху свою армаду. Шли фалангами, плотно, уверенно. Легкие воины раскачивали в каждой руке по дротику. Пращники на ходу закладывали камни в ремни пращей. Над головами пехоты пролетали ядра фрондибол. Хрипели покрытые металлом кони катафрактов. Тяжелую кавалерию замыкали дромадеры — быстроходные верблюды, на которых восседали лучники в панцирях. И снова шагали пешие: оплиты, меченосцы, стрелки, оруженосцы, санитары... Нет им конца.

Стена рубила стену. Люди, ослепленные кровью, брызгавшей им в лицо, разили друг друга, кололи ноздри лошадей, и те опрокидывались, давя своих седоков. Стоны и ликование витали рядом. С треском ломалось оружие, в клочья рвалась матерчатая и кольчужная ткань одежды, вылетали клепки у шлемов, и они раскалывались по клиньям.

Стал красным и полноводным ручей под тысячами ног и копыт, месивших его. Стал жарким, удушливым воздух истерзанной впадины меж взрыхлившимися холмами. Обида и боль захлестнули людскую землю, измученную жестоким, жестоким, жестоким средневековьем...

Что есть война?
Взаимное убийство многих.
Убийство — это смерть.
Она ужасна.
И не сыскать среди всего живого
Хоть что-нибудь чудовищней ее.
Страшна смерть и одна.
А тысяча смертей страшнее в тыщу раз.

Есть смерть постыдная.
Ее находят люди,
Чьи помыслы и меч
Покрыты скверной алчности, бесчестья,
И нету гордости, одна гордыня.
То смерть мошенников,
Обманутых своими же лгунами.
Всем им — проклятье и забвенье!

Есть смерть бессмертных.
Тех, павших на открытом поле,
Кто отдал жизнь во имя чести Рода,
За волю братьев и за справедливость.
Такая смерть дороже жизни без прозренья.
Таких людей оставшиеся жить
Не выбросят из сердца поколений.
Им — слава вечная!

Что есть война?

Великий ратный бой.

И если с верой-правдой

И с пониманьем долга,

Мужчина Родины, ты вдруг ступил в него,

Смерть не страшна тебе.

Нет, не страшна!



ЭПИЛОГ

После нескольких битв дружины Святослава с войсками василевса Цимисхия, в которых успех сопутствовал то одной, то другой стороне, оба владыки с готовностью пошли на установление мира, возобновив тем самым торговые отношения между Русью и Византией.

По пути в Киев Святослав с малой дружиной попал в засаду печенегов и погиб. Куря получил свою вожденную чашу для питья из черепа прославленного вождя россов.

Улеб пригласил Велко к себе на родину. Они еще не знали о гибели великого киевского князя, поскольку отправились другой дорогой.

Уходящее лето улаждало взор путников мягким разноцветьем красок на лесистых горных отрогах. Потянулись с далекого севера караваны ранних птичьих перелетов. Чуя близкую осень, смелее шуршал в буйных зарослях прыскачий зверь. Пахло созревшими плодами, а предчувствие скорых дождей заявляло о себе все настойчивей и настойчивей.

С каждой очередной верстой, приближавшей к родине, возрастало волнение молодого улича. Велко тоже чуточку приумолк, нет-нет да и замыслится: «Каково будет в новых краях?»

— Заждалась, поди, Кифушка, женка моя... — невольно обронил Улеб, но, тут же взглянув на друга, осекся.

— Ах, Мария, Мария... — Велко тяжело вздохнул.

— Что Улия, целые народы склоняют ромей своим богом...

Чистое небо покоилось на бурых вершинах. Склоны гор бороздили молочно-пенистые речушки, по петляющим их стремнинам проносились узкие сосновые плоты. В голубых ущельях курился пар. Пахло хвоей,

и лежали обильные росы, превращавшие траву в серебро.

Зачарованный непуганой первозданностью природы, Велко спросил:

— Далеко еще до Рось-страны?

— Нет, теперь близко.

— А какая она? Столь же прекрасна, как эти горы?

— Много лучше, — сказал Улеб. — Немало я узнал диковинных стран, да не встретил желаннее нашей. Потому что родина.

— Хорошо тебе, Улеб, не одну-две страны повидал, а множество, будет что вспомнить. Что же, все меч забросишь? А коли нападут недруги, как тогда?

— Родину всегда заслоним, не дрогнем.

Скачут день, скачут второй, торопятся.

Горы канули за спину. Запестрели луга. В кленовых перелесках соловьиные трели под перестук дятлов. Разомлели в медовой истоме свежие засеки. Поля точно гребешками расчесаны, в бороздах суетятся жаворонки и воробьи, подбирают житные зернышки.

Нет-нет да и покажется где-нибудь побоку сизый дымок жилья. Только с дороги столбовой сворачивать недосуг. Надо мчаться вперед и вперед. Ветер дышит в лицо. Вьется пыль из-под drobных копыт. Отдается в висках, трепещет, колотится сердце, предчувствуя близость отечества.

Вот однажды за старым курганом, опоясанным лохматым кустарником, развернулась нива. Мужичок за лошадкой бредет, давит плуг. Босой пахарь, рубаха темна от соленого пота, чуб всклокочен. Бредет и кряхтит мужичок-то, нелегко рыхлить кормилицу.

Осадили всадники взмыленных коней. Улеб поводья передал Велко, сам зашагал поспрошать, чья земля. Подошел сзади, хлопнул рукой по мокрому плечу крестьянина. А тот и не слышал чужих шагов. Кряхтит ведь, и все такое. Работой занят.

Вздрогнул мужичок от неожиданности, обернулся, глядь — рядом самый что ни на есть натуральный немец: длинные волосы ремешком перехвачены, одежонка из кожи заморского зверя крокодила, на бедре меч до

пят, кривой рубец через всю щеку и бровь. Икнул мужичок от растерянности да на всякий случай ка-а-а-ахнет чужака пятерней. Рыцарь и отлетел шагов на пять, грохнулся на меже вверх ногами.

— Мы дома! — с трудом очнувшись, радостно закричал Улеб Твердая Рука. — Мы на Руси!

1970—1973,

1976—1977



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Историко-приключенческий роман «Улеб Твердая Рука» молодого украинского писателя И. В. Коваленко посвящен периоду правления на Руси киевского князя Святослава, когда древнерусское государство расширяло свои границы, крепло, выходя на широкую международную арену. Накопленные историками факты о том времени дали автору возможность выбора острого сюжета. Роман прослеживает удивительные судьбы кузнеца Улеба из приднестровского села Радогоща и его сестры Улии, захваченных в плен и увезенных византийскими воинами в Константинополь. Действие разворачивается то в Византии, то в печенежском Поле, то в гриднице Святослава...

В романе действуют известные исторические лица — Святослав и княгиня Ольга, печенежский князь Куря, русские воеводы, константинопольские василевсы — императоры Роман, Никифор Фока, Иоанн Цимисхий, а также византийский посланник Калокир, приехавший в Киев спровоцировать войну между русскими и булгарами.

Автору удалось нарисовать масштабное полотно, показать быт, ремесла, торговлю, нравы Константинополя и Киева, изобразить батальные сцены. Повествование воссоздает сложные взаимоотношения крепнущей, еще языческой Руси с богатой, но уже дряхлеющей ромейской империей, пытающейся навязать соседним народам свою религию, используя христианство как средство подчинения других государств своей политике. Но ни попытки породниться Константинопольского двора с Киевским, ни принятие княгиней Ольгой христианства, ни постройка в Киеве храма, ни торговые и дипломатические связи между Византией и Русью не дали константинопольским императорам желаемого результата: Древняя Русь, перенимая высокую культуру Византии, отстаивала право на развитие своей самобытной культуры, вела свою независимую политику.

История развивалась не только через замыслы и интриги правящих дворов. Раб Улеб, находясь в Константинополе, женится на византийской девушке Кифе, а византийский патрикий Калокир берет себе в жены пленницу из Руси Улию; в чужих краях Улеб находит себе верных друзей. Контакты простолюдинов вели к взаимопониманию между враждующими народами не меньше, чем официальные встречи государственных дипломатов.

Опираясь на исторические факты, писатель стремился воссоздать живое течение времени. Он увидел в той эпохе много героического и, увлеченный удивительными событиями, подвигами воинов, крестьян и князей, создал образы смелых, честных и красивых героев. Этим он отдал дань не только приключенческому жанру, но также

и дань любви к прошлому своего народа, который ныне вновь соединился тремя ветвями — русской, украинской, белорусской — в единый братский союз советских народов. Любовь к своему народу не помешала автору показать талант, мужество, благородство византийцев, болгар, печенегов. «Нет злых народов, есть злые люди», — утверждает он устами одного из персонажей произведения.

Пластом в десять веков закрыты от нас события, о которых рассказывается в романе. Но история — живой корень, который питает современность, она, как говорил великий русский историк, автор многотомной «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин, «в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, разъяснение настоящего и пример будущего». Приобщение читательского интереса к истокам народов, к раздумьям о прошлом, пробуждение любви к Родине, к ее природе, восхищение поступками героев и возмущение предательством, вероломством и подлостью — в этом четко прослеживается авторская позиция.

Большую помощь в подготовке романа к изданию оказали автору и редакции специалисты по древней истории, особенно доктор исторических наук Геннадий Григорьевич Литаврин. Автор и редакция приносят ему свою благодарность.



СОДЕРЖАНИЕ

Сказание первое ДИНАТ И КУЗНЕЦ	5
Сказание второе ЛИКИ ВО ТЬМЕ	117
Сказание третье И НАСТАНЕТ УТРО...	221
Эпилог	346
Послесловие	349

Коваленко И. В.
К56 Улеб Твердая Рука. (Историко-приключенче-
ский роман.) М., «Молодая гвардия», 1978.

352 с. с ил.

Роман посвящен эпохе правления на Руси князя Свято-
слава — эпохе упрочения древнерусского государства и вы-
хода его на широкую международную арену. В центре по-
вестования — образ юного богатыря Улеба.

К $\frac{70302-109}{078(02)-78}$ 243—78

P2

ИБ № 732

Игорь Васильевич Коваленко
УЛЕБ ТВЕРДАЯ РУКА

Редактор **В. Фалеев**
Художники **Ю. Иванов, В. Соловьев**
Художественный редактор **Б. Федотов**
Технический редактор **Н. Носова**
Корректор **Г. Трибунская**

Сдано в набор 16/XI 1977 г. Подписано к печати 12/IV 1978 г.
А06158. Формат 84×108¹/₃₂. Печ. л. 11 (усл. 18,48). Уч.-изд.
л. 19,2. Тираж 100 000 экз. Цена 1 р. 40 к. Т. П. 1978 г., № 243.
Заказ 2049.

Типография ордена Трудового Красного Знамени изд-ва
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

Scan, DJVU: Tiger, 2013

1 р. 40 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ